КРАСНАЯ НОВЬ

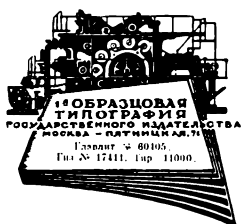
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 8

АВГУСТ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит № 60105.
Гиз № 17411. Тир. 11000.

Рассказы.

Михаил Пришвин.

I.

Дрова.

Ложится пороша, другая, третья. Санный путь установился. Является с возом старенький, престаренький мужичок, складывает себе потихоньку полено за поленом на дворе, а хозяйка моя, славная, такая сердобольная женщина, жалеет старика, что далеко ему возить, что зябнет он. Поставила хозяйка самовар, все выложила на стол: сахар, булки, студень, огурцы.

Пришел старик к нам в дом. Уж он молился, молился в угол, потом стал отговариваться от угощения, как это уж всегда полагается у крестьян. Ссылался и на дальний-то путь и на волков, что какие-то волки особенные у них в Голоперовских лесах, с гривами, и на людей бросаются: одну старуху прошлый год в клочки разорвали, и сказывала старуха, что волки эти были сибирские.

— Как же так она могла сказывать, — спросил я, — когда они ее в клочки разорвали?

Старик принялся смеяться и грозить мне, насмешнику, пальцем: само собой, это уж другая старуха сказывала, самовидцем была.

После этого смеха хозяйка сказала:

— Ну, садись, дедушка, будем чай пить.

Старик сел и такой оказался речистый, насказистый. Сел он за чай надолго, пока весь самовар не выпил, и потом студень ел с хлебом потихоньку. Рассказывал же он больше все про божественное: что будто бы там у них в Голоперовских лесах есть гора и на той горе дивное место: ступит лошадь копытом, и сразу же начинает из-под копытины выступать вода, а ведь высокая гора и никак нельзя и думать бы о воде на таком нагорьи. Вот на этой удивительной горе есть у них святой ключ, вокруг колодца березки, на каждом сучке у берез рубашки висят: это значит — у кого больное дитя бывает, приносят, окунают в холодную воду, а рубашонку его оставляют на березке и с рубашкой болезнь. Много чудес бывает...

Старик все и рассказывает про чудеса, а хозяйка моя натерпелась за революцию безбожия и вот как рада повидать и послушать настоящего православного человека.

Так и пошло у нас через день, потому что далеко старику, день лошадь отдыхает и на другой уж старик везет свою четвертинку. Уж он складывает, складывает, а хозяйка непременно ставит самовар и обед ему готовит. Так и пошло у нас через день, с утра сидит за чаем старик и рассказывает про чудеса ихнего нагорья. Мне даже скучно стало, когда старик кончил возку: все, бывало, будто сытый кот мурчит.

— Ну, — сказала хозяйка, — теперь мы обеспечены на всю зиму, при такой кладке не меньше, как два сажня, уложил старик лишнего.

— Не лишнего, — заметил я, — ведь он одного студню-то сколько поел!

Хозяйка на меня и рукой замахала, вроде как на безбожника.

— Не простой это старичок, — сказала она, — мне от него стало вроде как наш дом Господь посетил.

Ноябрь месяц морозы были несильные, мы топились старым летним запасом осиновых легких дров, и дом не выдувало. Стариковы березовые дрова хозяйка берегла на лютое время. И она была права, в декабре, когда начались настоящие морозы, как мы ни топили осиновыми дровами, проходило дом сразу.

— Ну, — сказала однажды хозяйка, — с завтрашнего дня принимаемся за березовые дрова, эти уж не подведут, а осина — не дрова, осина — прах.

Утром я залежался в кровати: страшно было вставать, дожидался, пока хозяйка затопит печку новыми березовыми дровами. И вот слышу крик, вот шум, вот брань великая. Подумал, — не сцепилась ли моя хозяйка с соседкой. Прислушался, — нет, и соседка в один голос с моей хозяйкой, обе кого-то отделывают.

Я поскорее оделся и вышел на помощь женщинам. Тут все сразу и оказалось, почему старичок тогда при кладке так долго всегда возился: дрова то были осиновые, а он их снежком притрушивал, от этого дрова становились белыми и по белому старик тыкал мошок, убирал снегом и мохом поленце к поленцу под березовые, и глазом бы ни за что не узнать, а как взял в руки, снег осыпается и сразу береза становится осиной. И так благочестивый старик целых пять саженей осиновых дров расписал под березовые.

II.

Книга хорошего обращения.

Однажды я шел вечером из города к себе в деревню и слышу сзади меня едет мужик и ругается на кого-то самыми скверными русскими словами. Я оглянулся, — никого не было кругом.

— Ты не меня это ругаешь? — спросил я.

Мужик был выпивши.

— Милый ты мой, — заговорил он, — за что же мне тебя ругать? Садись — я тебя подвезу.

Я сел и спросил:

— Кого же это все-таки ты ругал?

Мужик удивился.

— Я, — говорит, — никого не ругал, я доволен.

И стал мне рассказывать свою жизнь: о бабе своей, о сыновьях, о скотине — все было у него будто бы не хуже, чем у людей, и жаловаться ему не на что.

— А все-таки, — сказал я, — ты на кого-то ругался, это я слышал.

— Без этого, друг, в нашей жизни нельзя: кого-нибудь надо ругать.

Он был из дальней деревни. Я жил близко от города. Прощаясь с мужиком, я не скрыл от него, что я сочинитель, книжки пишу, и за это мне платят. С тем и расстались. Прошло много времени. Я успел забыть того мужика, и, когда он пришел ко мне, не узнал. Но он напомнил о себе и сразу мне представилось, как иду я под вечер из города и слышу, ругается кто-то сзади меня...

— Ты, — спрашиваю, — по делу ко мне?

— По дельцу, — робко ответил он, — по небольшому дельцу.

Мы вошли в комнату.

— Вот вы книжки сочиняете, — сказал мой гость, — я подожду немного, а вы мне сочините.

— Это, — отвечаю, — не так просто. Наверно, хочешь, чтобы я твою жизнь описал?

— Жизнь моя обыкновенная, мужицкая, чего ее описывать... какая тут жизть. Нет, я хочу попросить вас сочинить мне книжку хорошего обращения. Можно это?

— Можно, — говорю, — только зачем это тебе нужно?

— Как зачем... стало трудно в городах обходиться: жизнь меняется. Понятие в уме есть, а к человеку городскому подойти боишься. В деревне сидишь, как в берлоге — все ничего, а в городе совестно.

— Знаешь, — сказал я, — книжка моя тебе не поможет, этому надо не по книжке учиться. Вот я слышал, ты ругаешься здорово, отвыкни от матерного слова, а потом приходи ко мне, и я тебе сочиню книжку хорошего обращения. Задачу даю тебе.

— Правильно, — ответил мужик, — буду стараться.

С тех пор прошел год. Я вышел под Троицу в поле. Слышу вечером в тишине: то железо о железо звенит, то стекло о стекло звякнет. Стал я глядеть в ту сторону и вот вижу: на дороге прохожий, у него в руке было два противня — позванивало, из каждого кармана выглядывало по два горлышка — позвякивало. Узнал я сразу приятеля: это был тот самый, кто просил меня сочинить ему книжку хорошего обращения. Шел он, конечно, из города к годовому празднику в свою деревню, противни нес — пироги печь, а бутылки — родню принять.

— Что же ты, — спрашиваю, — не приходишь ко мне? Я тебе готовлю книгу о хорошем обращении.

— Совестно, — ответил он, — бился я, бился, ну, никак не могу, чтобы не ругаться, а это правильно ты сказал: с матерным словом не может быть хорошего обращения.

III.

Книга слепого Онуфрия.

Сидели у меня в гостях церковный староста Семен Иваныч, старинных взглядов мужик, большой однако работник, отличный хозяин. В гостях на досуге Семен Иваныч любит поговорить про божественное.

Другой мой гость Мирон Иваныч тоже по хозяйству крепкий человек, но только религию он сводил на дело попов и очень их не любил. На досуге Мирон Иваныч всегда рассказывал, как он жил в германском плену три года и чему там хорошему у немцев научился.

Пришли ко мне эти хозяева в гости, оба стали осуждать жизнь отделенных молодых людей и хвалиться своими семействами и хозяйством.

— Я — сказал Семен Иваныч, — когда о жизни раздумываю, то всегда беру себе в пример жизнь нашего слепого Онуфрия.

И правда, удивительную историю жизни рассказал Семен Иваныч. Я перескажу тут самое только главное из жизни этого слепого. Онуфрий, сын бедных родителей здешнего села, слеп от рождения. Был он еще отроком, когда умерла у него мать, потом отец, и хозяином в доме остался один только этот слепой отрок. Но мальчик был замечательного ума и даже как бы проникновенный. Слепой от рождения, а советы зрячим давал, и как лучше пахать, и когда сеять, и чем полечиться. Казалось, этот слепой раньше себя самого провел умную дельную жизнь, и теперь, вспоминая ее, пересказывал. Все дивились ему и подавали. Поводырем у него был один грамотный мальчик.

Бывало, дня два по близким деревням мальчик поводит слепого и потом всю неделю сидят и читают божественные книги: мальчик читает, слепой слушает. Вот однажды каким-то случаем в руки слепому попалась пивная бутылка, и стал он пальцами своими нащупывать на ней обыкновенные на пивных бутылках, стеклянные, выпуклые буквы и спрашивать мальчика, как называется одна и как другая и третья. Потом эти буквы слепой стал вышивать ниткой на бумаге, складывать. Научился языком нащупывать мочку, нитку и с такой быстротой вдевать, что зрячему никак за ним не поспеть. Мало-по-малу приладился тоже скоро со слуху вышивать слова и так начал он свой подвиг: вышить в короткую человеческую жизнь все божественные книги.

Прошло много лет. Слепой вышил все евангелие, всего апостола, и у него получилась книга в пуд весом. Вышивая, конечно, слепой запоминал слова и под конец знал все наизусть.

Прошло еще много лет. Слепой уж стал человек под годами, и многие называли его святым. Теперь ни одна церковная служба без него не обходилась, пел, читал по памяти и часто поправлял попа.

— Я удивляюсь этой жизни, — сказал Семен Иваныч, церковный староста, — чего, значит, может достигнуть человек, если только ему захочется.

Мирон Иваныч молчал и хмурился, как будто жизнь слепого Онуфрия была ему не по душе.

— Удивительная жизнь, — подзадорил я Мирона Иваныча, — у нас обыкновенно мужики начинают молитвой, а кончают бутылкой, этот же от пивной бутылки научился читать евангелие.

— Семен Иваныч не досказал, — ответил Мирон Иваныч, — этот человек тоже кончил бутылкой.

И досказал Мирон Иваныч все последнее из жития слепого Онуфрия. Однажды пришла на деревню побирушка похабная баба Секлетинья и взялась водить слепого. Ушли они и пропадали три дня. Вернулись оба веселые: она песни поет, а он приплясывает. И так у них пошло каждый день. Потом им и подавать перестали и Секлетинья ушла. А он как-то под вечер вышел один и утром нашли его на дороге. Кто-то ударил его по затылку камнем и так просто, что даже и камня не отшвырнул, убит, как собака, лежит лицом в пыль и рядом камень.

— Вот, — сказал Мирон Иваныч, — я смотрю на эту жизнь хуже чем на самую простую, в этой жизни нам нет ничего, никакого примера.

— А книга-то, — спросил я, — книга в пуд весом цела?

Очень обрадовался моему вопросу Семен Иваныч, церковный староста, и схватился за это.

— У меня книга сохраняется, — сказал он, — я нарочно промолчал о конце Онуфрия, потому что не концом книга написана, а вышита с верой и молитвой, нам не конец жизни, а сама книга пример.

Мрачно нахмурившись, ответил Мирон Иваныч:

— Мы же с тобой не слепые, нет? И книга нам не пример, на что нам держать в руках пуд? Да и слепые-то, я слышал, тоже читают теперь легкие книги.

IV.

Обоз.

С осени лежала на лугах паутина, по народному календарю к урожаю, все рождество на деревьях был иней — опять к урожаю, и что снегу навалило порядочно, тоже все к хорошему, а вот что на Евдокию петух не напился — это к трудной весне: метель на Евдокию у мужика все выметает из закрома. Солома, сено, овес, — все вздорожало.

Но в нашем лесном краю, где зимой возят на станцию лес, задержка в ходе весны идет на добро: лишних недели две санного пути — все дай сюда. Я тоже люблю, когда снег задержится и весна света разгорится над снегами до того, что настоящие летние громады кучевых облаков перемещаются по небу и оставляют на снегу переходящие голубые пятна.

Когда весна света перестоится, то и радость ожидания до того доходит, что трудно ее выносить.

Мне ли не знать, как много беды на земле, как нечеловечески жестоко иногда говорить о радости жизни, но сейчас мне кажется: если бы суметь с большой осторожностью высказать свою радость и как-нибудь обмануть слабых, то это и было бы как раз то, что надо.

Под вечер стало сильно морозить, но громадное летнее облако держалось до темноты. Наклонился месяц и между звездами одна особенно мерцает, непрерывно меняя синие, зеленые и красные рубашки.

Зачем же мне скрывать эту минуту: душа моя переполнена счастьем, и впереди я ничего не боюсь.

Вы думаете, я говорю это, как русские писатели, чтобы потом по контрасту сильнее показать какие-нибудь ужасы жизни? Положа руку на сердце говорю: н и ч е г о п о д о б н о г о. Я хотел бы написать повесть с хорошим концом, чтобы все закончилось свадьбой.

Скрипят по морозу подсанки огромного обоза. По глубокому снегу нельзя его обойти, и волей-неволей я должен итти за ним, умеряя свой шаг.

Лес везут счастливые мужики, сильные люди, у кого лошадь хорошая и может выдерживать эту большую работу. Слабые люди всю зиму сидят на печке. Зимой, пройдя по деревне, сразу можно узнать дворы, где ворота занесены, и на сугробах нет следа даже кошачьего. Очень редко встретишь среди этих людей, кого можно пожалеть, кому в жизни не повелось. Огромное большинство из них виновато в своей слабости, питающей мечты о легком труде. Противно было видеть сегодня, как трое здоровых сыновей следовали на базар за отцом, все четверо шли продавать корову, значит, не доверяли друг другу.

Обоз идет в глубоком молчании и только иногда слышатся рабочие слова, понукающие лошадей. Каждый из этих людей, шагающих ночью десятки верст рядом с подсанками, сосредоточил в себе в меру своего чувства и разума жизнь огромного народа, перенесшего небывалый в истории опыт.

— Мирон Иваныч, — говорю я, — расскажи мне, пожалуйста, как ты воевал, что видел в плену?

Подумав немного, он начинает:

— В каком это было государстве, в каком городе, не знаю. В Германии? Нет, не в Германии. В Австрии? Нет, не в Австрии. Лагерь наш был в церкви, начальство и жизнь были германские.

Мирон Иваныч начинает свой рассказ из новой жизни совершенно так же, как старые люди сказки рассказывали: в некотором царстве, в некотором государстве.

— А когда это было, в каком году?

— В каком году, теперь не запомню; было это, конечно, при царе Николае.

Это значит, как при царе Горохе. Так создается сказка: устраняется место, время и от этого самая обыкновенная жизнь становится волшебной.

Жили-были в лагере русские военнопленные, триста шестьдесят человек, ходили на работы, ели суп из тюленей, очень жирный. Не плохо. Бывал суп из какого-то красного мяса, будто бы из морской собаки, потому что немец-повар, давая такой суп, лаял собачкой. Случалось, давали консервы из устриц, но Мирон Иваныч устриц не ел и менял их на папиросы. Однажды приводят в лагерь нового военнопленного, человек оказывается умственный, с деньгами. Этот человек и на работу не ходит. Перешептался он с нашими, денег дает и просит, во что бы ни стало, купить ему ножевку. Был один такой ц и в и л ь н ы й человек, заказали ему ножевку, принесли. Тогда этот военнопленный потихонечку под нарами стал выпиливать дырку и обещается: «Я вас всех выведу». Так он выпилил кусок половицы аккуратно, подымет — дыра, закроет — ничуть незаметно. Первый раз согласились десять человек, звали и Мирона Иваныча, но он не пошел и сказал им: «Посмотрю, как вы дойдете, пришлите письмо». Вот эти смельчаки ночью опустились в дыру и след их скоро простыл. Через несколько времени получается письмо: дошли благополучно. Позавидовал Мирон Иваныч, но все-таки, когда и вторая партия собралась, не решился. Потом стали пропадать по двое, по трое. Немцы дивятся, усилили караул на работах и никак не могут дознаться: пропадает народ на глазах, а как — неизвестно. Рано ли, поздно ли, конечно, все-таки догадались бы, но тут у самих немцев случилась революция, заиграл красный флаг. Теперь уж и сам офицер намекает, чтобы уходили, часовой, мол, будет грозиться, не боялись бы, не стрельнет. И уходили, а Мирон Иваныч все сидит с рассуждением; раз уж у них революция, то недолго ему дожидаться конца всему. Офицер теперь прямо говорит: «Уходи!». Нет, Мирон Иваныч просит записку от офицера. Тот смеется: «Так, — говорит — иди себе, никто тебя не тронет, а записки дать никак не могу». День проходит, другой, третий: из-за одного только Мирона Иваныча содержится караул. Надоело офицеру, «Ну — говорит — на тебе записку». Но и тут Мирон Иваныч не совсем поверил. Показал другому офицеру. Тот одобрил. Показал часовому. Пропустил. И зашагал Мирон Иваныч в Россию.

— Почему же ты, — спросил я, — добивался записки, когда все ушли?

— Потому что думаю, какая же наша сила, ежели германский офицер с побегом согласен. А кроме того я в плену очень даже хорошо понял, отчего немцам жить хорошо и сами они люди хорошие и все у них по честности. Оттого, что у них все по закону делается. Немец ничего не сделает беззаконно, и даже ежели придется пожалеть слабого человека, то без закона и помогать нельзя. А мы живем, мужики, по родне: человеком я только своего считаю. Живем родней, помогаем родней, деремся родней, мы, мужики, как волки, живем стаями, как воронье: мужик, волк и ворон товарищи. Ну, а у немцев закон почитается для пользы всех человеков. Я это хорошо понял.

Эти слова Мирона Иваныча меня надолго остановили, я сам часто думал о силе деревенского родства.

— Но интеллигенция, — сказал я, думая о Чацком, — у нас много значила интеллигенция, она не по родству жила, как в деревне.

Тогда Мирон Иваныч стал очень хвалить интеллигенцию и уверять меня, что не будь у нас интеллигенции, то и он бы пропал, когда вернулся из плена домой. Думал, в рай идет к себе на родину, а вернулся: семья побирается и сам ничего не может понять. Пошел в город посоветоваться с богатой купчихой Василисой Петровной. — «Не мне тебе теперь помогать, — сказала Василиса Петровна, — а ты мне помоги». — И надавала ему всяких своих вещей, больших и маленьких и даже серебряных, чтобы спрятал куда-нибудь и поберег. — «В долгу не останусь», — уверила Василиса Петровна.

Во время этого длинного рассказа о Василисе Петровне я потерял волнующую меня мысль и, с трудом, наконец, вспомнив ее, сказал:

— Мы ведь, кажется, заговорили о русской интеллигенции, Мирон Иваныч, каким же образом вышел у тебя рассказ о купчихе Василисе Петровне?

— Вот именно, — ответил Мирон Иваныч, — не будь Василисы Петровны, пришлось бы итти по миру. А тут я сразу стал на ноги, теперь дом у меня новый, лошадь хоть и одна, да, вон посмотри, за две везет, корова, хоть и одна, да круглый год с молоком и овец полон двор.

Закончив рассказ, Мирон Иваныч захотел помочиться и отстал от обоза. Я спросил его здоровенного сына:

— Петруша, почему ты не идешь в комсомол?

— Не хочу старика обижать, не будь его, я давно бы уж был в комсомоле.

— А что тебе там?

— Как что, комсомольцев на фабрику берут в первую очередь, не будь старика, я бы теперь в месяц шестьдесят рублей получал и не возил в ночь и в полночь двенашник на станцию.

Так понимал сын комсомол.

Отец же, догнав обоз, говорил:

— Спасиба, спасиба и много раз спасиба интеллигенции.

Так понимал отец интеллигенцию.

Потом мы шли молча, и я думал о повести с хорошим концом.

Разин Степан.

Роман.

А. Чапыгин.

(Продолжение).

XII. Толмач.

Много дней Разин хмур, неохотно выходил на палубу струга, а выйдя, глядел в даль на берег. Княжна жила на корабле Гилянского хана. Атаман редко навещал девушку и всегда принуждал ее к ласке. Жила она, окруженная ясырками персианками. Разин, видя, что она чахнет в неволе, приказывал потешать княжну, но отпустить не думал. На корабле в трюме, запертый под караулом стрельцов, жил также пленный сын Гилянского хана — его по ночам выпускали гулять по палубе. На носу корабля, где убили хана, сын садился и пел заунывную песню, всегда одну и ту же. Никто не подходил к атаману, один Лазунка заботился о нем, приносил еду и вино. Разин последние дни больше пил, чем ел. Спал мало. Погрузясь в свои думы, казалось, бредил. Утром, только лишь взошло солнце, Лазунка сказал атаману.

— Батько! вывез я на струг дедку сказочника — пущай песню тебе сыграет или сказкой потешит.

— Лазунка! не до потехи мне, да пущай придет.

Вошел к атаману скоро подслеповатый старик с домрой под пазухой, в бараньей, серой шапке, поясно поклонился. Подняв опущенную голову, Разин вскинул хмурые глаза, сказал:

— Супротив того, как дьяк бьешь поклоны! низкопоклонных чту завсе хитрыми.

— Сызмала обучили, батюшко атаманушко...

— Сами бояра гнут башку царю до земли и весь народ головой к земле пригнули! эх, задасца ли мне разогнуть народ?

— Сказку я вот хочу тебе путать...

— Не тем сердце горит, дидо! и свои от меня ушли, глаз боятся, един Лазунка, да говор его прискучил — знаешь ли — сказывай про бога, только чтоб похабно было...

— Ругливых много про божество. Боюсь путать... ин помыслю... что подберу. Да вот, атаманушко: «жил, вишь, был на белу свету

хитрой мужиченко, работать ленился, все на бога надею клал... и куда ба ни шол, завсе к часовне Миколы тот мужик приворачивал, на последние гроши свечу лепил, а молился тако: «Микола, свет! пошли мне богачество».

Микола ино и к богу пристает:

— «Дай ему чого просит, не отвяжется!»

Прилучилось так — оно и без молитвы случаетца — кто обронил неведомо, только мужик потеряху подобрал; а была то не малая казна, и перестало с тех пор вонять в часовне мужичьей свечкой.

Говорит единожды бог Миколе: «дай-кось глянем, как тот мужик живет?».

Обрядились они странниками, пришли в село. Было тогда шлякотно, да осенне в сутемках. Колотится божество к мужику, мужик уж избу двужирную справил с резьбой с красками в узорах. На купчихе женился, товар ее разной закупать послал и на копейку рупь зачал наколачивать.

— «Доброй мужичек, пусти нас».

Глянул мужик в окно, рыкнул:

— «Пущу, черти нищие, только чтоб хлеб свой, вода моя — ушат дам, с берега принесете, а за тепло — овин молотить!»

— «Пусти лишь, идем молотить!»

Зашли в избу. Сидит мужик под образами в углу, кричит:

— «Эй, нищие! чего это иконам не кланяетесь? нехристи».

— «Мы сами образы, а ты не свеча в углу — мертвец!»

Старики кое с собой принесли, того поели, спать легли в том, что надели. Чуть о полуночь кочет схлопался, мужик закричал:

— «Эй, нищие черти! овин молотить».

Микола, старик сухонькой, торопкой, наскоро окрутился. Бог лапоть задевал куды, сыскать не сыщет, а сыскал, то оборки запутались... мужику невмоготу стало, скок-поскок и хлоп бога по уху.

— «Мать твою — матерой! должно из купцов будешь? раздобрел на мирских кусках».

— «Мирским-таки кормимся, да твоего хлеба не ели!»

— Смолчи, дидо! Чую я дально, будто челн плещет? давай вино пить! должно есаулы от шаха едут... али кто — доведут ужо...

— От винца с хлебцем век не прочь...

На струг казаки привезли толмача одного без послов есаулов. Лазунка встретил его.

— Здоров ли, Лазун? Де атаман? Петру шах дал псам, Иван — казнил!

— Пожди с такой вестью к атаману — грозен он, жаль тебя... ты меня перскому сказу учишь и парень ладной, верной.

Толмач тряхнул упрямо головой в запорожской шапке.

— Не можно ждать, Лазун! Иван шла к майдан померать, указал мне — «атаману скоро»!

— Берегись, сказываю! спрячься, я же доведу, коль спросит, что казаки воды добыли... потом уляжется, все обскажешь.

— Не, не можно! и кажу я ему ихтият кон султанэ козак! [1]), шах войск сбираег, на атаман... Иван казала — «скоро доведи»!

— Жди на палубе... выйдет, скажешь.

Лазунка не пошел к атаману и решил, что Разин не спросит, кто приплыл на струг, ушел к старику Рудакову на корму, туда же пришел Сережка, подсел к Рудакову.

— Посыпь, дидо, огню в люльку!

Рудаков высыпал часть горящего пепла Сережке в трубку, тот, раскуривая крошеный табак, сопел и плевался.

— На пусто ждать Мокеева с Иваном! занапрасно, Сергей, томим мы атамана — може шах послал их на Куру место прибрать — эй, Лазунка! скажи-кось — верно я сказываю?

— Верно, дидо! прибрали место.

— Ну, вот — ты говорил с толмачем, что есаулы?

Лазунка ответил уклончиво.

— Атаман не любит, когда вести не ему первому сказывают! молчит толмач.

— То правда — и пытать нечего! — прибавил Сережка.

Рудаков, поглядывая на далекие берега, думал свое.

— Тошно без делов крутиться по Кюльзюму... Кизылбаш стал нахрапист, сам лезет в бой.

— Ты, дидо, спал, не чул вчера ночью, а я углядел — две бусы шли к нам с огнянным боем — да вышел на мой зов атаман, подал голос и от бус кизылбашских щепы пошли по Хвалынскому морю...

— Учул я то, когда все прибрано было, к атаману подступил, просил на Фарабат грянуть...

— Ну и что?

— Да что! грозен и несговорен, сказал так: «Не гоже де худое тезикам чинить без худой вести о послах». А чего чинить, коли они сами лезут?

— Эх, дидо! я бы тож ударил, только тебе Фарабат, мне люб Ряш город... шолку много, ковров... арменя живет — вино есть.

— Чуй, Сергей! зверьем Фарабат люб мне... в Фарабате шаховы потешны дворы, в тых дворах золота скрыни я ведаю и все золотое — чего краше — ердань шахова и та слажена вся из дорогого каменья... издавна ведаю Фарабат с Иваном Кондырем веком его шарпали, а нынче, знаю, ен вдвое возрос... бабра[2]) там в шаховых дворах убью — из бабровой шкуры слажу себе тулуп, с Сукниным на Яйк уйду — будет тот тулуп память мне, что вот на старости древней был у лихого дела, там хоть в гроб... Бабр, Сергей, изо всех животин мне краше...

— Ты ба, дидо, атаману довел эти свои думы.

---

[1]) Опасайся, повелитель козаков.

[2]) Барса.

— Ждать поры надо! Я, Сергеюшко, познал людей — тых, что подо мной были, и тых, кто надо мной стоял — грозен атаман — пожду.

Разин оттолкнул ковш вина, сказал старику:

— Ну, сказочник, дид! пей вино един ты — мне в нутро не идет... пойду гляну — где мои люди? — Лазунка и тот сбег куды.

Стал одеваться. Старик помогал надеть атаману кафтан.

— Зарбафной тебе боле к лицу, атаманушко, а ты черной вздел...

— Черной, черной, черной! ты молчи и пей — я же наверех...

Наверху у трюма толмач.

— Ты-ы?!

— Я, атаман!

— Где Петра? Иван где?

— Атаман! Петру шах дал псу, Иван казнил... тебе грозил и сказал вести на берег дочь Абдуллаха бека — то много тебе грозил...

— Чего ж ты как виноватой лицом бел стал и дрожишь? ты худо говорил шаху, по твоей вине мои есаулы кончены, пес?

— Атаман я, бис иор хуб[1]) казал... казал шах худа лазутчик царска, московит...

— Ты не мог отговорить шаха? ты струсил шаха, как и меня?

Толмач бледнел все больше, что-то хотел сказать, не мог подобрать слов. Разин шагнул мимо его, проходя, полуобернулся, сверкнула атаманская сабля, голова толмача упала в трюм, тело, подтекая на срезе шеи, инстинктивно подержалось минуту, мотаясь на ногах, и рухнуло вслед за головой. Разин, не оглянувшись, прошел до половины палубы, крикнул:

— Гей, плавь струги на Фарабат!

На его голос никто не отозвался, только седой без шапки Рудаков перекрестился:

— Слава-ти! дождался потехи...

— На Фарабат! — повторил атаман, прыгая в челн.

— Чуем, батько-о!

Два казака, не глядя в лицо Разину, взялись за весла.

— Соколы! к ханскому кораблю...

XIII. Ряш город.

— Гей, браты, кинь якорь! — крикнул казакам Сережка.

Гремя цепями, якоря булькнули в море. Струги встали. На берегу большой город, улицы узки, извилисто проложенные от площади к горам. У гор с песчаными осыпями на каменистой террасе голубая мечеть, видная далеко. Справа от моря на площади шумит базар с дырьями в кровле, среди базара невысокая башня с граненой отливающей свинцом крышей. К берегу ближе каменные вросшие в землю амбары.

— Батько! вот-те и Ряш.

---

[1]) Очень хорошо.

— Иду, Сергей.

На палубу атаманского струга вышел Разин в парчевом сияющем на солнце золотым шитьем кафтане. Кафтан распахнут, под ним алый атласный зипун.

— Здесь, брат мой, справим поминки Серебрякову с Петрой!

— Дедке Рудакову тож, а там в шахов заповедник к Сукнину...

— Узрим куда!

— Чую нюхом — в анбарах вино?

— Без вина не поминки — душа стосковалась по храбрым — эх, чорт!

Еще издали, заметив близко приплывшие струги казаков, в городе тревожно кричали:

— Базар ра бэбждид! [1])

Кто-то из торговцев увозил на быках товары, иные вешали тюки на верблюдов.

— Хабардо̀р! [2])

— Сполошили крашеных?

Лазунка вглядывался в сутолоку базара.

— Гой, Лазунка! что молвят персы?

— Чую два слова, батько! «закрывай базар», «берегись»! пошто кизылбаша моего посек — обучился б перскому сказу.

— К сатоне! не торг вести с ними... казаки, в челны запаси оружие.

— Батько! просится на берег княжна.

— Го, Шемаханская царевна? сажай в челн, Лазунка — пущай дохнет родным... добро ей!

Челны казаков пристали, немедля на берегу собрались седые бородатые персы в зеленых и голубых чалмах. Поклонились Разину, сторонясь, пропустили для переговоров горца с седой косой на желтом черепе. Пряча в землю недобрые глаза, горец сказал:

— Козак и горец издавна браты!

— И враги! — прибавил Разин.

— Смелые на грабеж и бой не могут дружить всегда, атаман! здесь же не будем проливать крови — мы без спору принесем вам, гостям нашим, вино, дадим тюки шелка, все, чем богат и славен Решт и будем в дружбе — иншалла [3])...

— Добро! будем пировать без крови. Тот, кто не идет с боем на нас, мы того щадим... прикажи дать вино, только без отравы.

— Гостей не травят, а потчуют с честью.

— Скажи мне — где я зрел до нынешнего дня тебя?

Горец повел усами, изображая усмешку.

— Атаман! в Кюльзюм море, когда ты крепко побил бусы Гилянского хана, я бежал от тебя, спасая своих горцев.

---

[1]) Закрывайте базар.

[2]) Берегись.

[3]) Если захочет бог.

— То правда!

Казаки и стрельцы по приказу Сережки разбивали двери каменных амбаров. Слышался звон и грохот.

— Козаки-и! на пусто труд ваш — вина в погребах нет, оно будет вам — идите за мной! — крикнул горец и, поклонясь Разину, махнув казакам, пошел в город. Двадцать и больше казаков пошли за ним.

Горец, идя, крикнул по-персидски:

— Персы! возьмите у армян вино, пусть дадут лучшее вино. — По-русски прибавил: — да пирует и тешится атаман с козаками, он не тронет город! Шелк добрый тоже дайте безденежно...

Казаки с помощью армян и персов катили на берег бочки с вином, тащили к амбарам тюки шелка. За ними шел горец, повел бурыми усами и саблей ловко сбил с одной бочки верхний обруч.

— Откройте вино! пусть козаки, сколько хотят, пьют во славу города Решта, покажут атаману, что оно без яда змеиного и иного зелья... пусть видит атаман, как мы угощаем тех, кто нас щадит, го, гох! — Открыли бочки, пили, хвалили вино и все были здоровы.

— Будем дружны, атаман! и если не хватит вина, дадим еще... сыщем вино... иншалла.

Так же, не подавая руки, Разин сказал:

— Должно статься, будем дружны, старик! слово мое крепко — не тронете нас, не трону город!

— Бис иор хуб [1]. — Горец ушел.

На берегу у амбаров на песок расстилали ковры, кидали подушки, атаман сел. Недалеко на коврах легла княжна. Разин махнул рукой: с одного узла сорвали веревки, голубой шелк, поблескивая, как волны моря, покрыл кругом персианки землю.

— Дыхай, царевна, теплом, мене хрыпать зачнешь и с Персией прощайся — не долог век, Волгу узришь!

Атаман выпил ковш вина.

— Доброе вино, пей, Сергейко!

— Пью!

— Казаки, пей! не жалей — мало станет — дадут вина.

Казаки, открыв бочки, черпали вино ковшами дареными — ковши принесли армяне, — персы подарили много серебряных кувшинов. Стрельцы пили шумливее казаков, кричали:

— Ну ин место стало проклятущее!

— Да, хлеб с бою, вода с бою.

— От соленой пушит, глаза текут, пресной водушки мало.

— Коя и есть, то гнилая.

— А сей город доброй — вишь, вина хошь обдавайся!

— Цеди-и! и утыхни-и.

— Цежу, брат — эх, от гребли долониросправим!

---

[1] Очень хорошо.

— Батько! пить без дозора не гоже.

Разин крикнул:

— Гой, соколы! учредить дозор от площади до анбаров и всякого имать ко мне, кто дозор перейдет... Лазунка, персы много пугливы — чай видал их в Фарабате?.. я знаю, с боем иные бы накинулись, да многие боятца нас и пожога опасны.

— «У тумы бисовы думы» [1]) хохлачи запорожцы не спуста говорят — чорт и кызылбаша поймег, а горец, тот косатой, хитрой, рожа злая...

— Эх, Лазунка! вот уж много выпил я, а хмель не берет и все вижу, как Петру Мокеева собаки шаховы рвут... пей!

Со стругов все казаки, стрельцы и ярыжки, оставив на борту малый дозор, перешли на берег пить вино. Берег покрылся голубыми и синими кафтанами, забелел полтевскими, московскими накидками с длинными рукавами. Дозор исправно нес службу, хотя часто менялся.

Опустив голову в черной высокой шапке, к берегу моря на казаков шел старый еврей. Еврей бормотал непонятное, когда его схватили, привели к Разину.

— Жид, батько, сказывает — «Пустите к вашему пану!» — Пинками подтолкнули ближе бородатого старика в вишневой длиннополой шали.

— Не бейте, браты! эй, ты! скажи «Христос».

Еврей дрожал, но лицо его было спокойно, глаза угрюмо глядели из-под серых клочков бровей. Он бормотал все громче:

— Адонай! Адонай!

— Слушь, батько! должно собака с наших мест — Дунай поминает?

— Не те слова, соколы! ну, что ж ты?

— Пан атаман! не мне говорить имя изгоя, не мне сквернить язык.

— Добро! махну рукой, с тебя живого сдерут кожу.

Казаки ближе подступили, толкая еврея, ждали, когда атаман двинет шапкой. Разин, отбросив ковш, пил вино из кувшина и не торопился кончить еврея.

— За то велю тебе, что сам не говорю никогда этого имени... ну!

— Пан-атаман! пришел я жалобить: твои хлопы изнасиловали в Дербенте мою единственную дочь, убили двух моих сынов, что одинокому старому делать на свете среди злых — убей и меня!

— Пожди! дочь ты не дал замуж пошто? муж защищает жену... сыны твои бились с казаками, чинили помочь кизылбашам — нас не щадят, мы тож не щадить пришли... нас вешают на дыбу, на ворота города — мы вешаем на мачту струга за ноги.

— Пан-атаман! сказать лишь пришел я — не в бой с вами...

— Без зла шел — тебе зла не учиню, пошлю в обрат: ты скажешь персам так: «нынче атаман наехал пировать, а не громить их город — пусть ведут русских, я же поменяю полон — дам им персов иманных ясырем!

[1]) Тум у казаков — родившийся от пленной турчанки или персиянки.

— Пан Идумей [1]), персы кедары [2])... ты им показал это в горо, где на воротах по камню начертано: «Баб-юб-абваб» [3]), там убили мо детей.

— Сатана! я не пришел зорить персов — они же боязливы... к трус, тот зол, я требую от них — пусть будут добрее и еще пришлю нам вина.

— Вай! мовь пана смыслю — он велит восхвалить себя персам но дети рабыни знают о Дербенте и Ферах-абате.. послушав ложь, кедар побьют камнями старого еврея.

— Хо, хо! ты же молвил, что не боишься смерти?

Пыля сапогами песок, встал Сережка:

— Лжот, собака! батько, дай-ка я кончу жида?

— Сядь! когда душа моя приникла к покою — я люблю споро вати с тем, кто обижен и зол... Город не тронул, какая же корысть убити старика? дуванить с него нечего и крови мало...

— Пан-атаман мыслит ложно — он доверяет тому сказать кедарам, кого ненавидят они... пан лучше скажет свою волю персам тем, что висит у него на бедре!

— Сатана! слово мое крепко — дали вино, шелк — и я не убью их.

— И еще, пан-атаман! некто, придя в дом к злому врагу, скажет: «я не убить тебя пришел, хочу полюбить». Злой помыслит: «так я же убью тебя!» и направит душу понимающего ложно в ворота «Баб-юль-киамет» [4]).

— Батько! рази меня, но жида кончу — глумится собака. — Сережка потянул саблю.

Разин, схватив Сережку за полу кафтана, посадил.

— Жидовины — смышленный народ... за то царь и попы гонят их — они научили турчина лить пушки...

Еврей бормотал:

— Твои, пан-атаман, соотчичи залили кровью дома моего народа на Украине... насиловали жен, дочерей на глазах мужей и братьев. Евреев заставляли пожирать трефное, нечистое, — наругавшись, вешали с освященными тфилн [5])... еврейские вдовы не искали развода — им хелицу [6]) давали саблей... На утренней молитве хватали евреев и, окрутив в талэс [7]), топили...

— Слышь, брат Степан? — жид бредит.

— Не мешай — Сергейко! вот когда мы будем споровати — го! эй, жидовин, не все знаю, что и как чинили запорожцы с твоими, но послушал — казаки при батьке Богдане мешали навоз с кровью еврейской — то знаю...

---

[1]) Идумей — правитель. Римляи древн. евреи называли идумеями.

[2]) Кедары — дети рабыни от Авраама.

[3]) По-персидски — Дербент.

[4]) По-персидски: «Ворота воскресения на кладбище» (Дербент).

[5]) Тфилн — священн. знаки, намот. на лбу и руке во время молитвы.

[6]) Развод по-древне-еврейски.

[7]) Покрывало полосатое, во время молитвы надеваемое.

— Ой, вай! понимаешь меня, пан-атаман, здесь, убивая кедаров, ненавистных мне, ты не разбираешь, кто иудей, кто перс, и тоже не щадишь нас.

— За то секли и жгли гайдамаки, что люди твои имали на откуп церкви — хо! польски панове хитры — они пихнули вас глумиться над чужой верой, вы из жадности к золоту сбежались, не чуя, что то золото кровью воняло... вот я! много здесь золота взял, а если б земля отрыгнула людей моих, что легли тут — все бы в обрат вернул, да не бывает того! Мне же едино, хоть конюшню заводи туда, где молятся, знай лишь — не все таковски... иных не зли, иным это горько. Уйди, хочу пить! убили твоих, моих тож любимых убили — душа горит!

Еврея оттолкнули, но не отпустили.

— А где ж моя царевна?

— Тут, батько!

— Ладно! пусть пляшет, пирует, дайте ей волю тешиться на своей земле! ни в чем не претите.

— Чуем!

С болезненными пятнами на щеках, с глазами, блестевшими жадным огнем, и от того особенно едкой вызывающей красоты, персианка лежала в волнах голубого шелка на подушках, иногда слегка приподнимались глаза под черными ресницами, изредка скользили по лицам пирующих. На атамана персианка боялась глядеть, испугалась, когда он спросил о ней:

— «Умереть лучше, чем ласка его на виду всего города!» — подумала она, изогнулась, будто голубая полосатая змея, оглянулась через голову, увитую многими косами, скрепленными на лбу золотым обручем. Быстро поняла, что захмелел атаман, зажмурилась, когда он толкнул от себя кувшин с вином, сверкнув лезвием сабли.

— Гей, жидовин!

Старик, сгорбившись, подошел, тычась вперед головой, как бы поклонился.

— Пан, еврей готов к смерти!

— Убить тебя? тьфу, дьявол! иди скажи персам: «не ждите худа, ведите полон русский, атаман знает, что он есть в Ряше, я верну им персов и к ночи оставлю город!».

Еврей попятился, остановился.

Разин сказал:

— Он не верит? гей, соколы! отведите без бою старика к площади — спустите.

Два казака подхватили еврея, отвели за амбары:

— Все ж таки кончить-ба?

— Берегись! узрит самовольство — смерть... эх, атаман!

Казак, отпустив еврея, лягнул его в зад сапогом, от тяжелого пинка старик побежал, запутавшись в шаль — упал.

— Вот-те, жених, свадебного киселю!

Старик отряхнул шаль, встав, нагнулся за шапкой в песке, пошел, прихрамывая. Казаки вернулись к вину. Еврей, проходя мимо персов, стоявших густеющей толпой на площади, крикнул:

— Иран, серкешь! [1])

Из толпы тоже крикнули:

— Чугут! [2])

Старик закричал уже издали:

— Серкешь — азер! [3])

Толпа все больше густела. Из голубого в голубом полосатом встала персианка, закинула за голову голые в браслетах руки, в смуглых руках слабо зазвенел бубен. Княжна, медленно раскачиваясь, будто учась танцу, шла вперед. Глаза были устремлены на вершины гор. Княжна наречием Исфагани протяжно говорила, как пела:

«Я дочь убитого серкешем князя Абдуллаха — спасите меня! Отец вез нас с братьями в горы в Шемаху... Туда, где много цветов и шелку... туда, где шум базаров достигает голубых небес — там я не раз гостила с отцом... Ах, там розы пахнут росой и медом!.. не смейтесь! я несчастна. Лицо мое было закрыто... серкешь, ругаясь над заповедью пророка, сдернул с меня чадру — от того душа моя стала, как убитая птица»...

Танец ее не был танцем, он походил на воздушный, едва касаемый земли бег. Дозор часто менялся и был пьян. Два казака, ближних к площади, сидя на крупных камнях, били в ладоши, слушая чужой непонятный голос, глядя на гибкое тело в шелках и танец, совсем непохожий ни на какие танцы.

— Дочь Абдуллаха бека!

— То Зейнеб?

— Да, сам шах приказал ее взять! — перебегало по толпе.

Персианка была уже за цепью дозора, но до площади еще было далеко. Персы не смели подойти к вооруженным казакам, — горец с седой косой, военачальник Гилянского хана, запретил злить разинцев. Девушка, делая вид, что пляшет, подбрасывалась вперед концами атласных зеленых башмаков. Золотой обруч с головы упал в песок, она кинула бубен и громко закричала:

— Серкешь! серкешь! [4])

Сверкнув золотом в ухе, вскочил Сережка. Раздался оглушительный свист. Дремавший Разин вскочил и выдернул саблю. Свист рассеял очарование, казаки, мотаясь на бегу, поймали персианку, подкинув на руках, унесли к пирующим. Девушка извивалась змеей в сильных руках, кричала, но голос ее хрипел, не был слышен персам.

— Трусы! бейте их! пьяны!

---

[1]) Персы — грабитель!

[2]) Жид!

[3]) Грабитель — огонь!

[4]) Грабитель непокорный, неподвластный.

Разин кинул перед собой саблю, сел, и голова его поникла. Сережка крикнул:

— Гей, козаки! пора царевне на струг.

Пленница рвалась, била казаков по шапкам и лицам кулаками, ломались браслеты. Казаки шутили, подставляя лица, пеленали ее в растрепавшийся на ней шелк, будто ребенка. Грубые руки жадно вертели, обнимали бунтующее тело, тонкое и легкое, посмеиваясь передавали тем, кто ближе к челнам, а когда уложили в челн, она ослабела, плакала, вся содрогаясь.

— Ото бис, дивчина!

Белыми и зелеными искрами вспыхнуло море, заскрипели гнезда весел. К Лазунке с Сережкой казаки привели бородатого, курносого перса.

— Вот бисов сын! идет на дозор и молыт — «к атаману».

— Чого надо?

Перс протянул Сережке руку; Лазунке тоже.

— Здоровы ли, земляки? А буду я с Волги — синбирской дьяк был, Аким Митрев... много, вишь, соскучил в Персии живучи по своим, да и упредить вас лажу.

— Сказывай!

— Сбег я от царя — бояр, а вы супротив их идете, и мне то любо! зол я на Москву с царем и мало того, что земляков жаль, еще то довожу — не роните в пусте нужные головы.

— Голову беречь — козаком не быть!

— Вишь, что сказать лажу: давно тут живу — речь тезиков понимаю — подслушал, познал — с боем ударят на вас крашеные головы, так уж вы — либо уйдите, аль-бо готовы будьте, и вино вам дадено крепкое, чтоб с ног сбить... кончали-ба винопитие, земляки?..

— Эх, служилой! должно завидно тебе казацкое винопитие?

— Не, казак! сам бы вас сколь надо употчевал, да время и место не то... опаситесь, сказываю от души.

— Правду молыт человек! — пристал Лазунка, — углядел я оружие и мало говор тезиков смыслю — грозят, чую...

— Да мы из них навоз по каменю пустим?

— Как лучше, земляки — ведайте! меня велите казакам в обрат свести, за цепь толкните к майдану с ругней, а то пытать поди зачнут.

Сережка крикнул:

— Козаки! перса без бою сведите к площади, толкните да в догон ему слово покрепче.

Бывшего дьяка отвели и, ругнув, вытолкнули к площади. Дойдя до площади, дьяк зажимал уши руками, кричал персидские слова. Толпа на площади поубавилась — уходили в переулки. Кто храбрее остались на площади, придвинулись ближе к казакам, кричали:

— Солдаты сели в бест!

— Сядешь! жалованье им с год не плачено.

Лазунка, натаскав ковров и подушек, лег близ атамана. Голубой турецкий кафтан был ему узок — ворот застегнут, полы не сходились, пуговицы-шарики с левого боку были вынуты из петель, да еще под кафтаном кривая татарская сабля, с которой он не расставался, топырила подол. Лежа, высек огня, закурил трубку. Сережка на груде подушек подсел к нему. Иногда Лазунка вставал, брал у пьяного, сонного казака пистолет и, оглянув кремень, кидал на ковер к ногам. Он давно не пил вина, вслушивался. Толпа персов снова росла на площади:

— Чого не пьешь, боярская кость?

— Похмелья жду, Сергей! чую, дьяк довел правду.

— И я, парень, чую!

— На струг бы, — огруз батько?

— У него скоро! не знаешь, что ли? вздремнет мало — дела спросит.

— Много козаки захмелели, а тезиков тьмы-тем... не было бы жарко?

Сережка ухмыльнулся, протянул сухую, жилистую руку, как железо, крепкую.

— Дай-кось люльку, космач! — покуривая, сплюнул, прибавил:— ткачей да шелкопрядов трусишь?

— Ложь! век не дрожу, за то в бою всегда знаю, как быть.

Недалеко, сидя на бочке, будто на коне верхом, покачнулся казак, раз—два и упал в песок лицом. От буйного дыхания из мохнатой бороды сонного разлеталась пыль. Лазунка встал, шагнул к павшему с бочки, подсунув руку, выволок пистолет, кинул к себе.

— Ты это справно делаешь!

— На сабле я слаб, Сергей.

От гор на город и берег моря удлинялись пестрые сине с желтым тени. У берегов поголубело море, лишь вдали у стругов и дальше зеленели гребни волн. Горы быстро закрывали солнце. В наступившей прохладе казаки бормотали песни, ругались ласково, обнимались и, падая, засыпали на теплом песке. Кто еще стоял, пил, тот грозился в сторону площади:

— Хмельны мы! да троньте нас, дьявола?

— Сгоним пожогом!

— Ужо встанет батько, двинет шапкой и замест вашего Ряша, как в Фарабате, будет песок да камень!

В переулки и улицы все еще тек народ. Ширился гул и разом замер. Настала тишина: толпы персов ждали чего-то... На террасе горы из синей в сумраке мечети голые люди вынесли черный гроб, украшенный блестками фольги и хрусталей. В воздухе, сгибаясь, поплыли узкие, длинные полотнища знамен на гибких древках из виноградных лоз. Послышалось многоголосое пение, заунывное и мрачное. Кто не пел, тот кричал:

— Сербаз! педар сухтэ, дервишы поведут народ [1] ..

---

[1] Солдат, — чтоб его отец сгорел.

— Нигагх кон! табут-э хагхэр-э пай гамбер ра миаренд [1]).

— Гуссейна — брата пророка!

— То гроб князя мучеников!

— Нигагх кон! [2])

— Идут те, кто проливает кровь в день десятого мухаррема! [3])

— И черные мальчики!

— Все, все идем!

Толпа за гробом прошла, напевая, до площади, повернула, дервиши унесли гроб обратно в мечеть. Два дервиша, хранители мусульманских реликвий, вышли из мечети, держа в руках по отточенному тяжелому топору, за ними шли мальчики, участники кровавых шествий Байрам Ошур [4]). Оба дервиша — в черных колпаках, всклокоченные, бородатые. Черные овчины, шерстью наружу, были намотаны на дервишах вместо штанов. Они вышли, напевая впереди толпы, повели ее к берегу моря. Толпа вторила пенью дервишей, — иногда кое-кто с угрозой кричал:

— Серкешь — азер! [5])

— Ну, есаул! распахни ворота — свадьба едет.

— Стоим супротив ткачей! сабля не прялка, — резким голосом, слышным в горы, Сережка крикнул: — Гей, козаки! к бою.

Между амбарами среди бочек лежали и сидели казаки, пьяные стрельцы ловили пищаль, падающую из рук. Дальше, чем на полверсты, по берегу там и сям краснели кафтаны, синели, белели накидки. Сережка, вскочив на бочку, издал свой страшный свист. Свист его сильнее голоса поднял на ноги пьяных.

— К бою, соколы!

Атаман встал, но снова лег, еще шире раскинув большие руки. Разин лежал на парчевом кафтане — на золоте зипун ярко алел. Сережка, косясь, сказал:

— Эх, батько! лишь бы голос подал — и конец Ряшу.

— Ищет его душа забвенности, Сергей! тошно ему от тоски по есаулам...

— Да, богатыри были! Серебряков с Петрой — ге-гей козаки-и!

Стрельцы первые взялись за оружие, приложились, дали залп в толпу. Синие и зеленые чалмы, поникнув, завозились, пыля песок. Толпа от выстрелов расстроилась, отхлынула на площадь. На площади появился горец с желтым черепом без чалмы — крикнул, остановил бежавших, построил разрозненных людей клином, в голове поставил дервишей, потряс кривой саблей над толпой идущих персов и снова исчез. В желтом от песку тумане толпа, скрипя, шелестя башмаками, стала обходить амбары, от боя и гика персов стрельцы подались к морю, вспы-

---

[1]) Глядите! несут гроб сестры пророка.

[2]) Глядите!

[3]) День убиения пророка.

[4]) Праздника мухаррема.

[5]) Грабитель — огонь!

хивали беспорядочно огни пищалей. Казаки беспечно собирали сабли, карабины, иные еще тянулись к бочкам с вином.

— Добро гинет! пей, браты...

— Сергей! худо казаки стоят, и нам отступить надо, увесть батьку?

— Козаки! берись ладом! кинем мы, Лазунка — много козаков падет.

— И так сгинут, не уберечь... горсть не горазд хмельны — иные — мертво пьяны...

— Бери-и-сь! — голос Сережки покрыл гул напиравшей толпы. Казаки и стрельцы, сгрудясь, рубились, иные стреляли. Дымом пороха ело глаза, от пыли и гари трудно дышалось. Многие стрельцы за спиной отбивающих готовили челны к отступлению. В толпе нападавшей, катящейся назад, шныряли голые, будто дьяволята, мальчишки, намазанные до волос черной нефтью, с хоросанскими клинками. Они, прыгая, резали спящих на земле казаков. За ними бродили собаки, разрывая заколотых, слетались из гор серые коршуны, садились на кровли амбаров. Один из черных малышей, особенно смелый, подобрался к амбару. Его белеющие на черном лице глаза притягивало золотое, крупное кольцо в ухе есаула. Черный неподвижно прилепился к серому камню стены. Атаман спал, не было силы поднять его на ноги. Великан дервиш, размахивая топором, ломая сабли, разбивая казацкие головы, воя, подпрыгивая, шел вперед. Овчина с него сорвалась, болтались срамные части, воняло потом, кровью, и море дышало порывами горячим асфальтом. Дервиш издали видел сонного повелителя неверных, видел, что двое защищают, охраняя атамана, и на ближнего Сережку шел. Держа саблю готовой для всякого удара, есаул, прищурив глаз с бельмом, сторожил идущего врага. Дервиш гикнул, оскалив крупные зубы, барсовым прыжком подпрыгнул, но сбоку его бухнул выстрел: мелькнули в воздухе осколки голубого хрусталя, висевшего у великана в ухе. От выстрела Лазунки дервиш уронил за спину топор, упал навзничь. Череп его, пачкая мозгом ковер, распался.

— А, я?! — Сережка метнулся в сторону, чекнул белый круг сабли, голова ближнего перса, срезанная, подхваченная на лету ловкой саблей, мотая зеленым, проплясала через кровлю амбара. Туловище перса с красным по штанам широким кушаком, в чулках, встало на колени, безголовое поклонилось в землю.

— Ихтият кон! [1]). — Толпа отхлынула.

Запел второй дервиш, он был широкоплечий, ниже ростом. Повел толпу, крича ей:

— Бисмилляхи рахмани рахим! [2]).

Толпа наскакивала и пятилась от выстрелов. Кто, задорный, выбегал вперед, того пулей в лицо бил Лазунка:

— Сэг! [3]).

— Голубой чорт!

---

[1]) Опасайся!

[2]) Во имя бога милостивого и милосердного!

[3]) Сукин сын!

— Педар сухтэ! [1]).— Но от выстрелов Лазунки прятались за амбары или отбегали далеко. Лазунка видел, что дервиш удерживает толпу.

— А, ну, сотона — иди!

Дервиш, гудя священное, припрыгнул. Толпа с криком шатнулась за ним, махая саблями.

— Остойся мало! — Лазунка выстрелил: лицо дервиша перекосилось, пулей выбило зубы, разворотило подбородок и щеку. Пустив столб песку, дервиш тяпнул, сидя.

— Ихтият кон! [2])

— Голубой чорт!

Толпа, расстроившись, отступила. Сережка прыгнул за толпой,— два круга сделала сабля, два трупа, кровяня песок, поклонились без голов в землю.

— Вместях ладнее, Сергей! не забегай...

— Эх, Лазунка! силу я чую в себе такую, что готов один итти на шелкопрядов!

— Много их... когда бусурменин поет суру, то головой не дорожит.

— Не то видишь ты! К батьку лезут... с Лавреем бери атамана в челн, узришь, бой полегчает!

— Ой, ужли впрямь один хошь побить тезиков? мотри, жарко зачнет тебе... худо казаки дерутся — стрельцы и лучше, да трусят.

— Голова атамана дороже моей! велю — бери! свезешь, вернись, и мы их, я б их родню, загоним в горы!

— Мотри, Сергей! жаль тебя.

— Бери! устою с козаками.

Лазунка, держа саблю в зубах, с другим ближним казаком, завернув в кафтан, унесли атамана, остались на ковре шапка и сабля Разина. Как только ушел Лазунка и плеск воды послышался Сережке, он понял, что напрасно отпустил товарища. Не понимая слов, услыхал радостные голоса персов:

— Бежал голубой чорт!

— Бежал!

— Бис йор хуб! [3])

Персы решили покончить с казаками. С десяток или полтора казаков рубились по бокам, но есаул, не оглядываясь, знал, что тот убит, а этот ранен. Стрельцы мало бились на саблях, стреляя, пятились к челнам, и некоторые вскочили к Лазунке в челн, не просясь, сели в греби. Сережка легко бы мог пробиться, уйти, но покинуть беспомощно пьяных на смерть не хотелось, он крикнул·

— Лазунка! скорей вертайся!

— Скоро-о я-а!..

— А, дьяволы! не един раз бывал в зубах у смерти — стою!..

---

[1]) Чтоб его отец сгорел!

[2]) Опасайся!

[3]) Очень хорошо.

Персы нападали больше на казаков, Сережки боялись, перед ним росли трупы, и куда бросался он, там его сабля, играючи, снимала головы. В него стреляли, промахнулись. Есаул, забыв опасность, упрямо сдерживал разгром разинцев. Видя в есауле помеху, высокий перс с желтым, как дубленая кожа, лицом что-то закричал: отстранив толпу армян и персов, схватив топор дервиша. выступил на Сережку. Перс уж был в бою, с его длинной бороды капала кровь. Сережка сделал шаг назад, перс, поспешно шагнув, занес топор, сверкнула с визгом сабля. Перс зашатался от удара, но клинок сабли есаула, ударив по топору, отлетел прочь.

— Сотона-а! — Есаул прыгнул, хрястнули кости, перс, воя, осел. Сережка рукояткой сабли сломал ему череп.

— Сэг! [1].— Толпа, рыча, напирала, увидав, что есаул безоружен. Сережка, скользя глазом по земле, быстро припал на колено, хватая атаманскую саблю, но из торопливой руки рукоятка вывернулась, ловя саблю, Сережка еще ниже нагнулся. От амбара черной кошкой мелькнул малыш, сунул есаулу меж лопаток острый клинок, по-обезьяньи скоро, сверкнув сталью, мазнул по уху, и, зажав в кулаченко золото с куском уха, исчез за амбаром. С огнем во всем теле, рыгнув кровью, есаул хотел встать и не мог. Сильные руки все глубже зарывались в песке, тяжелело тело, никло к земле. Бородатый армянин в высокой, как клобук черной, шапке шагнул к Сережке, с злорадным торжеством крикнул:

— Вай, шун шан воты! [2] — неслышно двинул кривым ножем и, подняв за волосы голову удалого казака, кинул к ногам идущих вооруженных персов.

— Бис йор хуб [3].

— Сергея кончили, — браты!

— Уноси ноги!

Казаки и стрельцы, отбиваясь, вскакивали в челны, из челнов стреляли, давая ход тем из своих, кто мог отступить. Синее быстро становилось черным. Черные тени, сбрасывая чалмы, встали на берегу в ряд.

— Бисмилляхи рахмани рахим! [4]

Персы натирали грудь, голову и руки песком, делая намаз.

XIV. Миян-Кале.

Порывами, как бред буйно помешанных... то все утихнет, и мертво кругом атаманской палатки. Стон, пьяные голоса вперемежку...

Разин сидит у огня. Лазунка кидает в огонь траву, прутья кустов. Дым прогоняет комаров, тучей подступающих из болота, разделившего на два куска полуостров Миян-Кале, шахов заповедник. Лекарь еврей, лечивший Мокеева, отпущен. Он привез от атамана записку, где было указано:

[1] Сукин сын!
[2] Ах, собачий сын! (армянск.)
[3] Очень хорошо! (персидск.)
[4] Во имя бога милостивого и милосердного!

«А минет в жидовине нужда, то спустить его на берег — в путь ему дать три тумана перскими деньгами, хлеба дать на день, сухарей. Сей человек честно служил мне, и не чинить ему кроме ласки иного...

Разин Степан».

Еврей сказал Сукнину:

— Лечить, атаман, тут некого. Пущай лишь козаки не пьют соленой воды, да огни беспристани жгут, очищая от мух воздух. Мухи заражают ядом болота воздух, воздух порождает лихорадку, что и зовете вы трясцой.

— Мух нет, лекарь, то комары многих величин...

— Вай! я ж зову их мухой... здесь туманы часты, но лечить некого — надо переменить место. Парши на людях, — еда скудна, оттого. Солнце жарко, мухи бередят парши, и человек болеет проказой, того в этих местах много... гораздо шелудивых удалить надо!

Кроме Разина у огня сидят и двигаются Федор Сукнин с желтым лицом, он кутается в шубу, дрожит. Лазунка неустанно возится с огнем, да новые есаулы Черноусенко и Степан Наумов — крепкий широкоплечий казак, похожий на самого Разина. Разин глубоко вздохнул, поднял голову, обвел всех глазами и снова поник.

— Сказывай, Федор! не крась словом, — про все говори, про себя тоже не таи, не лги... я же про себя скажу всю правду.

— А давно ты знаешь, Степан Тимофеевич, словом я прям!.. Начну с того, что зиму тут жить можно, зима здесь наше лето, лето же в энтих местах чорту по шкуре, человеку нашему тут летом живу-здраву не быть... из болот злой туман падет и как довел жидовин — все правда — комары воздух травят... туманы ж несут лихоманку... Вишь, избило меня до костей и ведаешь ты — крепок я был... другое: кизылбаш збесился, что ни ночь — вылазка, пришлось нам засеку, бурдюги [1]) кинуть, уплыть к морю за болото... и еще до тебя дни четыре-пять горец объявился, что сатану из земли отрыгнуло... череп голый, едина коса будто у запорожца, усы не то седы, не то буры, ходит в огне солнца без шапки и челмы... козаки лишь за пресной водой — горец тут и войско ведет... бой, смерть!

— Знаю того горца! в Ряше обвел нас — за Гилянского хана отмщает — визирь его...

— И вот, как в Миян-Кале ты наехал — горца не стало, ушел в горы, войско увел! Мяса нам было много — били кабанов, хлеба нет, соли, воды нет... ясырь сплошь мереть зачал и свез я тот робячий да бабий ясырь до единой головы на берег — от них ходит к казакам черная немочь. Казаки, стрельцы вздыбились, в обрат домой заговорили, к команде стали упрямы... почали хватать струги, как на Дону походного атамана, приберут и на берег за вином, воды нет — пьют вино, иные, не чуя моего заказа — пьют морскую воду — чревом жалобят, потом и болести шире пошли.

— Что ж лекарь?

[1]) Бурдюга — землянка.

— В твоей цедуле указано было дать ему денег, хлеба — спустить!

— Оно так... сказано слово.

— И лечить он не стал — указал переменить место.

— Делать тут нече — смерти что ль ждать? Эх, Федор! удалые головушки засеяли проклятую землю... и не мудрой я был, что после Гилянского хана бою пошел вперед...

— Не одному тебе, батько Степан, — всем хотелось вперед.

— Вот то оно — силу размыкать впусте!

— Итак, Степан Тимофеевич, ежедень стало прилучаться: уплавят головушки за вином ли, хлебом ли, водой пресной, а горец на них засады, да волчьи ямы, иной раз и опой — вина подсунет... чтешь после того людей — из трех сот — сотня цела, аль-бо и того меньши... большой урон в боевых людях. Я же изныл душой и телом — сердцем по жене, дочкам, в снах их вижу на Яйке, а телом от трясцы извелся...

— Заедино мало нас — спущу, Федор — бери маломочных, плавь в Яйк... теперь же чуй, что я поведаю, и прощай... быть может, не видаться боле...

— Ну, уж и не видаться, чую, батько Степан.

— При тебе, Федор, — ронил я в бою с Гилянским ханом двух удалых — Черноярца есаула с Волоцким...

— Да, то ведомо мне...

— Чуй дальше... жалобил я по ним, а когда сердце болит — пью! Сергей, брат названной, с Петрой Мокеевым в та пору разобрали по каменю Дербень-город, привезли мне ясырку, как говорил Петра, Шемаханскую царевну — бека шахова дочь... с ней живу — храню ее, память о богатыре Петре Мокееве... в гробу поминать буду — столь он люб мне. После Дербеня, чую, ропщут на меня, что не шлю послов шаху... собрал я богатырей есаулов и спросил: правда ли то? сказалась — правда, хотят к шаху итти проситься сесть на Куру... не спущал я, ране знал, что добра от шаха не ждать, когда сами задрали его... но воли ихней не снял — и каюсь! шах Мокеева дал псам, Серебрякова отпустил, да вернул, казнил... я ж в полуумии посек с горя невинного толмача... слал лазутчиков — изведать, как было? изведал: шах строит бусы на нас... А, дьявол! и грянул я на Фарабат — золотой шахов город — его утеху... золота имали много, посекли тыщу и больши тезиков — те лишь домы козаки оставили поверх земли, где люди крестились, да Христа кликали... В Фарабате хмельной гораздо гинул дид Рудаков... заполз бабру [1]) в клеть железну и ну над ним расправу чинить, — то на шаховом потешном дворе было... зверя не кончил до смерти, — кинулся с него шкуру тащить — «теплая-де, сдирать легше», куснул его, издыхая, бабр за голову, от того у старого Григорея череп треснул. Отселе пошли на Ряш город, и за то по сю пору лаю себя! По Сережке ладил в море кинуться, да Лазунка меня в трюме замкнул — и грозил я ему, а потом, когда остыл, припустил к себе, бояр-

[1]) Барсу.

ский сын убаял: «что-де не воротишь». Спас меня, удалая голова — сам же кончен... эх, чорт! И как провели нас, обошли тезики — вина дали, накидали ковров, шелку — вина с дурманом прикатили, так что два дни я ни рук, ни ног не чуял — худоумием обуянный, будто робенок дался обману того горца, что и вас здесь обижал. Не надо было пить на берегу, а пуще нечего было щадить злой город! Проведал я нынче, что шах дал волю тому горцу нас извести до кореня... и плыл я сюда — пылало сердце — «возьму от тебя людей, сравняю Ряш с землей». После пира в Ряше мало нас осталось — четыреста голов легло в окаянном городе, — Сережка стоил тыщи голов козацких! И что же душа упала, потухло сердце мое, когда узрел здесь полумертвых стан. Чую и вижу — люди бредят, иные будто укушены черной смертью бродят, ища, где пасть... Да, Федор! буду я крепок, затаю обиду — не пора нынче считаться с персами... увезу проклятое золото, рухледь и узорочье, — кину средь своих людей — «дуваньте, браты, клятое добро, взятое кровью храбрых!». Я — нищий с золотом! сколь богатырей мне в посулы дал родной Дон — и всех их извел я, как лиходей неразумной, а дела впереди много... ох, много дела, Федор!

— Полно никнуть, батько Степан! Приедешь на Русь, да гикнешь, и вновь слетятся соколы.

— Эх, таковы уж не слетятся больше!

В темноте перекликается дозор:

— Не-чай!

— Не-е-ча-й!..

На носу косы Миян-Кале, ушедшей далеко в море, сутулясь, стоит широкоплечая черная тень человека, от черной волны, чуждо говорливой, сияющей на гребнях тускло зеленым, в глазах черного человека — зеленый блеск. Храпит, бредит и дико поет земля за спиной атамана, лохматятся на густо-синем черные шалаши, мутно белеют палатки. Справа и слева косы в морском просторе, щетинясь, сереют комья стругов и громче, чем на суше, звучит «заказное слово»:

— Не-ча-а-й!

— Не-ча-а-й!

Черная фигура взмахнула длинной рукой, от страшного голоса, казалось, волны побежали прочь, в ширину моря.

— Гей, Стенько! Не спрямить сломанного — подавай ломить дальше!

С тусклым лицом атаман повернулся, шагнув к палаткам.

— Гей, гой — соколы-ы! Пали огни, чини струги! с рассветом ай-да, к Астрахани!

— О, то радость! кинем землю проклятущую.

— Ставай, кто мочен! жги огонь, — бери топор!

Казалось, мертвое становище казаков не было силы поднять, но голосу атамана-чародея послушное встало, зашевелилось кругом. Затрещали вспыхивая огни. Лица, руки, синий балахон, красный кафтан замелькали в огнях. Забелели лезвия топоров, рукоятки сабель.

Раньше чем уйти в палатку, Разин сказал негромко, и слышали его все вставшие на ноги:

— Дозор! готов челны, плавь на струги, чтоб плыть к берегу починиваться.

— Чуем, Степан Тимофеевич!

Двинутые с берега челны загорелись зеленоватыми искрами брызг. На воде звонкие голоса кричали в черную ширину, ровную и тихую:

— Торо-пись!

— В Астрахань?

— А там на Дон, браты-ы!

На бортах стругов задымили факелы, перемещаясь и прыгая, выхватывая из сумрака лица, бороды, усы и запорожские шапки.

(Продолжение следует)

Пансион фон-Оффенберг.

Повесть.

О. Савич.

I. Портрет.

В землю боком уходит узкий колодец. Решеточки, травка окружили отверстие. Вправо площадь с высоким вокзалом, туда взлетают тупоносые поезда без паровоза, вырвавшись из колодца, днем веселенькие, полуигрушечные, ночью — как таинственные кольчатые толстые змеи без головы, но с электрическими глазами и по всему телу увешанные зелеными лампочками. Влево — улица, как улица, как все улицы, прямая, широкая, обсаженная деревьями, крепко асфальтовая, частью плитняковая, серая с домами, как все дома — четырехэтажными, серыми. Город выстроен как будто по заранее готовому плану, и, не достроив, уже заготовили таблички с названиями улиц и номерами домов. Климат прекрасный, солнце греет до самой зимы, а город серый, и свет серый, и в комнатах везде полутьма, возможно, тоже заранее учтенная.

Из колодца вылетает унтергрунд прямо в небо — так кажется, пока из туннеля не видно домов, и смешно — летит из-под земли с лампочками — небо освещать, что ли? — пока на уровне домов, устыдясь дневного света, не потушит тусклые свои огоньки.

За дырой колодца — асфальтовая площадка с травкой и скамейкой. Такие площадки — зеленые с асфальтовым бордюром — по всей улице, прочные с виду, как любая каменная мостовая. Но, если стать на них, слышно, как каждые две минуты трясется земля далеким, потом под самыми ногами, потом уходящим подземным гулом. И страшновато — а вдруг все это, весь этот город не так уж прочен, если трясется земля?

На каждом углу и над каждой дверью висят номера, иначе не узнать и дом, в котором живешь. Со-слепу можно войти в чужую квартиру, сесть в кресло, закурить сигару из ящика — расположение комнат и даже расположение вещей одинаковое, — и, только увидев чужие бумаги, начать извиняться перед так похожими друг на друга стенами и хозяйками.

Против самой дыры унтергрунда этот дом. Западная часть города аристократическая, как во всех столицах. Дом на три шага отступил

от железной решетки. В этих трех шагах — две дорожки, три клумбочки и деревья, маленькие, чтоб не загораживать вид из окон первого этажа. В несколько ступенек подъезд, стеклянные двери, ковры, дорожки, зато и надпись: вход только для господ. Таблички везде: и как в лифте ездить, и кому куда звонить, и какой этаж, и кто живет, и где свет зажигается. На площадках зеркала, на зеркалах золотом цифра этажа. Звонки старинные, медные с ручкой, на ручке — львиная пасть. Все блестит.

На втором этаже, под ярко начищенной ручкой звонка, медное сияние: пансион фон-Оффенберг. От частички фон самая дверь становится еще тяжелей и вся лестница суше и аристократичней. Прозвучал звонок и, кажется, нарушил чей-то притихший порядок. Да еще, если вечером, пока открывают, потухнет электричество, — тогда кажется, что свет за дверью будет слишком ярок, но что там еще холодней, чем на лестнице.

И дальше за дверью — коридор, как везде, но особенно длинный, особенно мрачный, словно подземный. Тусклое золото лампочек освещает как будто сырые темные стены, где на таинственные сокровища намекает золотой, поблескивающий бордюр обоев.

Коридор упирается в столовую, темную, с темною мебелью, с звенящей люстрой, с застывшим серебром на буфете, с ослепительной скатертью на большом столе. Перезванивает люстра от каждого пробега по улице, звенит всегда, точно стекает невидимая вода в сталактитовой пещере.

В столовой, когда она пуста, страшно. Не так заглушены поезда и автомобили, как отделены они от столовой этой мрачной пещерностью. И только у окна веришь, что улица начинается тут же, воздух бьет в стекла, — а не за года и версты жизнь.

Коридор — это первый выход из нескольких комнат в симметричные переходы путанной скалы — дома.

Фрау обер-лейтенант фон-Оффенберг — вдова. В квартире, сохранившей былое, подражательно царственное величие, — ее пансион. Муж убит на войне. Германия переживает тяжелое время. Сын — Бодо — студент, жених. Аристократка отдает комнаты иностранцам.

В каждой комнате, на каждом окне сквозные занавесочки, перехваченные медными начищенными поясками, этакие чистенькие расчетливые Маргариты, с достоинством отпускающие реверансы ветру. Ровным снежным островом взбитые перины — ими душат, тоску покрываясь, немцы. И какими-то причудливыми морскими суднами — изрезанные, но тяжелые письменные столы. И зеркала, зеркала...

Затянутая горничная — вроде оконных расчесанных занавесок — фрейлейн Минни, являясь вечером в комнаты жильцов (кроме Штюлер, конечно, — та сама убирает за собой), приносит некий ночной прибор, убирает постель и желает спокойной ночи и приятного покоя Впрочем, в комнаты молодых людей она ставит некий прибор в их отсутствие.

Покойный лейтенант с портрета в спальне фрау фон-Оффенберг — грудь, усы, сталь глаз и души — сторожит квартиру, неумолимо сгрого печется о порядке. В каждой комнате по две пепельницы, одна стеклянная, другая белая. Это он завел белые. На них написано: Deutschland, Deutschland über Alles in der Welt. Неизвестно, почему портрет потребовал, чтобы фрау обер-лейтенант обиженно набавила Чарльсу Ровенгоу за комнату: за то ли, что по лондонской привычке он выбивал золу из своей трубки о сапог прямо на пол, или за го, что он сказал фрейлейн Минни, показав на белую пепельницу:

— Уберите это.

Фрау фон-Оффенберг, жаловалась ли она на тяжесгь ухудшающейся жизни, набавляла ли цену на комнаты, торговалась ли на рынке, — всегда говорила, вздыхая:

— О, если бы был жив герр обер-лейтенант!

Конечно, герр обер-лейтенант не допустил бы ни фрау фон-Оффенберг, ни Германию до такого положения. И теперь его портрет воплотил в себе все, что осталось от прежнего, хранил устои и должен был служить идеалом для всего пансиона, для всей Германии, для всего обезумевшего мира.

II. Шкаф.

Фрау фон-Оффенберг тщательно подбирала жильцов. Жильцы должны были угодить портрету. Если уж отдать свои комнаты, если кормить кого-то, то, конечно, только приличных людей, которых одобряет портрет. Фрау фон-Оффенберг умела выводить на чисгую воду людей. Когда свободную комнату пришла снимать для себя и для мужа худенькая, черноволосая, высокая дама, она сразу не понравилась фрау фон-Оффенберг. Фрау фон-Оффенберг подозрительно спросила:

— А вы повенчаны в церкви? Покойный муж не признавал гражданского брака, и я не пущу к себе неповенчанных супругов.

Дама показала паспорт. Но дама была женою русского писателя, а фрау фон-Оффенберг слыхала, что не всякому русскому паспорту можно верить, дама же оставалась ей подозрительна. Но дама соглашалась на все условия, и фрау фон-Оффенберг была уже готова, скрепя сердце, впустить ее, как вдруг дама спросила:

— Как часто вы меняете белье на постелях?

Фрау фон-Оффенберг поняла все. Фрау фон-Оффенберг укоризненно и строго поглядела на даму и кротко сказала:

— Вы обманули меня. Вы не повенчаны. Нет такой самой бедной девушки, за которой не дали в приданое белья. У вас его нет. Вы не повенчаны.

И фрау фэн-Оффенберг решительно отказала даме.

В сущности, для фрау обер-лейтенант самой приятной жилицей была мисс Дюринг, хоть портрет сквозь зубы и называл ее, вспоминая

казармы, старой английской ведьмой. Но английская ведьма была такой же подвижницей, как сама фрау фон-Оффенберг. Правда, у фрау фон-Оффенберг на руках вся квартира, а у мисс Дюринг одна только комната. Но кто еще так ретиво мог бы оберегать в ней чистоту, словно ангел незапятнанную репутацию. В аккуратности же мисс Дюринг превосходит и фрау обер-лейтенант.

И, кроме того, мисс Дюринг так прилична, так воспитанна, так аристократична, так религиозна. Она за столом так выдержанно ест, и сколько настоящей красоты, красоты старинной крови, когда она сообщает Бодо по-английски какой-нибудь евангельский текст, а Бодо, старательно и медленно выговаривая слова, по-английски же отвечает ей, как на уроках Берлица. Пусть улыбается Чарльс Ровенгоу, он шотландец, ему не понять. Остальные благоговейно молчат, не понимая, а Бодо — бесплатная практика английского языка.

Но Чарльс не любил ни мисс Дюринг с ее длинными пальцами, похожими на барабанные палки и пахнущими зубным врачем, ни ее белой кошки с наглым взглядом фаворитки, постоянно свешивающей морду на улицу с подоконника. Он еще иронизировал:

— Ваша кошка порочна. Ее влечет бездна. Я удивляюсь, как вы можете любить это порочное существо.

Мисс Дюринг, сердясь, подымала палец.

— Животные не бывают порочны. Порок — удел молодых людей с болезненным воображением. И ваше воображение, мистер Ровенгоу, заведет вас когда-нибудь в львиную пасть порока.

— Я выйду оттуда, как Даниил.

Мисс Дюринг измерила глазами расстояние между Чарльсом — и пророком, а кошка презрительно фыркнула.

— Кошка — тайная и холодная развратница, — решил Чарльс. — А мисс Дюринг или не знает этого, или...

Но благовоспитанность и некоторая наивность помешали ему довести свою мысль до логического конца.

Когда Чарльс потребовал, чтобы из комнаты убрали патриотическую пепельницу, Минни отнесла ее в комнату герра Гумпертца, кстати, он курит много сигар даже для немца. Герр Гумпертц — коммерсант из Гамбурга, почти иностранец, казалось бы. Но эти гамбургские купцы, у них нет уважения к портретам. У них есть непреклонность, мужская сила, сигары — как и у покойного лейтенанта, бережливость — тоже прекрасная черта, национальная, но если так тщательно проверять счета, если на прибавки отвечать коротко и властно:

— Я не иностранец!

то лучше было бы для фрау обер-лейтенант взять в жильцы иностранца.

Но иностранцы... Это они вздувают цены. Все беды от них. А французы, проклятые французы. Их нет у фрау фон-Оффенберг, портрет не потерпел бы их присутствия.

Нет, хорошо, что Гумпертц — немец. С ним можно отвести душу, ругая иностранцев. И ему одному нравятся немецкие супы.

А главное — у герра Гумпертца дела с герром Майбургом, а герр Майбург — отец невесты Бодо, тоже коммерсант, и богатый и ценящий фамилию с фон.

Бодо — в высшем техническом. Бодо осталось два года. Через два года архитектор и муж фрейлейн Майбург. Гизела Майбург... Маленькие уши и нежная розовая полоска кожи за ними, переходящая в пушок, светлый, как и волосы. Какая чистота...

Бодо много занимается. Бодо прекрасно одет. Бодо воспитан отцом строго и будет когда-нибудь сам портретом. Пансион — для него, иначе не может быть. Центр вселенной — мужчина.

Будь другое время... Конечно, офицер. И свадьба не с дочерью коммерсанта, а тоже с фон. Служба и шалости... Но время, время... Портрет хмурит брови, из сжатых губ вот-вот вылетит бранное слово. Нет, он одобряет жену и сына. Что делать! Время...

У Бодо под глазами — круги. Бодо стал угрюм и плохо спит по ночам, фрау фон-Оффенберг слышит. Мужчина должен сам знать, что ему нужно. Портрет молчит. Фрау обер-лейтенант в большой дружбе с сыном, понимают и любят друг друга, но на осторожные вопросы Бодо отделывается, потупясь, успокоениями. А ведь не обо всем можно прямо спросить. Фрау обер-лейтенант решила обратиться к мисс Дюринг и герру Гумпертцу. Мисс Дюринг — друг Бодо, герр Гумпертц — мужчина и немец. Обоим она доверяла. Пусть посоветуют.

Мисс Дюринг, поговорив о Бодо, подняла палец. Он подымался в минуты гнева и восторга.

— Ваш сын, милая мистрис фон-Оффенберг, удивительный сын. Его строгая нравственность возносит его над торжищем вашего Берлина, как Лота в Содоме. Он страдает, видя свою родину погрязшей в разврате. Вы должны гордиться, а не сокрушаться. О, какой вышел бы из него священник!..

Гумпертц развалился в кресле с сигарой.

— Мы с вами не дети, фрау обер-лейтенант. Вашему сыну нужна женщина, вы понимаете? Одной невесты ему мало, это вполне законно для его возраста.

— Что же я должна сделать?

— Вы? Ничего. Само сделается.

Фрау фон-Оффенберг поблагодарила и задумалась. И, когда она думала, к ней постучалась фрау лейтенант Штюлер.

Фрау лейтенант Штюлер тоже вдова. И у нее тоже сын, Хорст. Мальчику восемь лет, он ходит в школу. Лейтенант Штюлер погиб вместе со своим начальником фон-Оффенбергом. Вдова осталась без средств.

Где зарабатывает деньги фрау Штюлер — неизвестно никому. У фрау Штюлер седины куда больше и лицо морщинистей и талия согнутей, чем у старшей фрау фон-Оффенберг. И Хорст очень бледный мальчик. Штю-

леры живут в маленькой комнатушке у кухни, дверь всегда плотно закрыта. Фрау Штюлер готовит у себя, — нельзя же, чтобы жильцы слышали запахи. Все знают, что фрау фон-Оффенберг очень великодушна, предоставив вдове подчиненного покойного лейтенанта комнату. Границы этого великодушия знает только портрет. Не кормить же ее в самом деле в такое время. Портрет любит порядок, а порядок требует, чтобы все жильцы платили, хотя бы со скидкой.

Фрау лейтенант пришла просить отсрочки у фрау обер-лейтенант. Фрау обер-лейтенант думала как раз о том, что в комнате Бодо шкаф загораживает дверь в коридор. Бодо — мужчина, ему может понадобиться отдельный вход. Фрау обер-лейтенант сказала:

— Вот кстати, моя милая, вы поможете мне. Минни занята сейчас, а кухарка ушла.

Обе пошли в комнату Бодо, и фрау Штюлер передвинула шкаф по указаниям фрау фон-Оффенберг. И после этого портрет разрешил отсрочку на два дня, но внушительно строго.

III. Обед.

Хорст Штюлер очень тихий мальчик. Не все жильцы знают, что он вообще существует. Хорст ждал мать с книжкой и уставил на нее испуганные глаза.

Но мать была очень расстроена. Хорст подошел к ней.

— У нас нет денег, мама?

— Нет.

— А она хочет, чтобы ты ей дала?

— Да.

— А почему у тебя волосы прилипли ко лбу?

— Я устала. Перетаскивала шкаф.

— Сама?

— Да.

— Мама, отдай меня куда-нибудь зарабатывать деньги. Я тебе помогу.

— Погоди, погоди, мой сынок. Дай мне подумать.

— Можно я пойду к герр Ко-фроф?

— Ты не будешь ему мешать?

— Он звал меня.

И Хорст ушел.

Вот в каком доме и с какими жильцами жил Сергей Петрович Ковров, архитектор и бывший офицер.

Русский жилец — это значит: слишком длинные разговоры по телефону, большая корреспонденция, поздний сон и позднее возвращение, беспорядок и беспорядок. Говорят, что этот русский особенный. Он служит, он одновременно — доктор, строитель и герр лейтенант. У него не такой уж беспорядок. Он несомненно аристократ. Странно, что он не

князь. Ничего, портрет его одобряет. Портрет не знает, что Хорст ходит к Коврову.

— Ну, что, мальчик?

— Расскажите мне герр Ко-фроф про войну.

И герр Ковров рассказывает. Увлекается. Забывает про мальчика. Грязь, окопы, кровь, грохот, трупы. Мучает себя воспоминаниями. И вдруг мальчик:

— И папа там...

И у мальчика слезы.

Тогда ругает себя Ковров, утешает Хорста. И Хорст убежденно:

— Я не буду, я не хочу воевать!

Гонг к обеду.

— Идите, герр Ко-фроф.

— А ты?

— Мы обедаем у себя.

— Почему?

— Дорого.

— Бедный мальчик! Хочешь завтра пойдем со мной в ресторан?

— Если мама позволит. До свиданья. Благодарю вас.

Хорст с бьющимся от этого предложения сердцем уходит, а Сергей Петрович мрачный идет обедать.

Мисс Дюринг не было жарко за обедом, она вышла в достаточно выразительном декольтэ. Она сидела рядом с Чарльсом — любезность фрау фон-Оффенберг: посадить англичан рядом.

— Скажите, фрау фон-Оффенберг, отчего вы не позовете к обеду маленького Хорста?

Нет, все эти люди с фамилией на оф безнадежно русские, даже архитекторы и лейтенанты. Хорошо, что мисс Дюринг вступилась.

— Нет, нет, прошу вас. Я терпеть не могу детей. Они портят аппетит.

— Евангелие учит, кажется...

— Нет, нет, нет! Для детей есть детская.

И вопрос был решен.

IV. Abfahrt!

Фрау Штюлер не разрешила Хорсту пойти с Ковровым в ресторан. Ковров пошел объясняться. Фрау Штюлер, краснея, металась по комнате, натыкаясь на кастрюли, которые нужно было спрятать.

— Я не могу приучать ребенка к роскоши. Он не должен на это рассчитывать. Я вам очень благодарна за ваши заботы. Только, ради бога, без ценных подарков.

— Как же вы живете, фрау Штюлер?

— Служу. Не хватает. Ищу квартиры иностранцам. Продаю дома. Только не умею. Вот, может быть, вы знаете кого-нибудь, кто продает дом, квартиру?

Денег не взяла. Помощи не хотела. Плакала, когда Ковров ушел.

Через два дня фрау Штюлер внесла деньги, но портрет прибавил и ей, для порядка. Марка падала. С ней вместе падала в пропасть и фрау Штюлер, увлекая с собой Хорста. Она судорожно цеплялась за все соломинки, соломинки ломались, их становилось все меньше. Об этом не должен был знать никто до конца.

Меньше всех об этом догадывался Бодо. Он даже не поблагодарил фрау Штюлер, когда узнал, что она передвинула шкаф. Он только покраснел на слова матери, что, может быть, так ему будет удобнее. Он усердно занимался и писал письма фрейлейн Майбург.

Утром фрейлейн Минни разносила кофе по комнатам. Зимнее утро скупо било дождем в окна, в вагончиках унтергрунда сидели люди с поднятыми воротниками. На север в конторы уезжали мужчины, где в стуке машинок, в сигарном дыму, в деловой одури перекатывалась, гремя и обрастая, волна машин, бумаг, товаров, чтобы, просачиваясь всюду, биться денежным морем в стенах Берлина. Туда же на север — север всегда деловит — уезжал Бодо, склонялся над конторкой с чертежами, готовился стать рыбаком у великого моря. Туда же на север ехала фрау Штюлер лихорадочно подбирать по домам, по конторам брызги золотой чешуи.

Здесь служат Чарльс и Ковров. Здесь они стали похожи один на другого — засели в конторах, склонились к бумагам, что ни пиши — а цифр всего десять, а букв — ни одной к алфавиту не прибавишь. Здесь бегает к ним Гумпертц, он ведь из Гамбурга, там он засевший, а здесь бегун. И здесь учится стать мужем фрейлейн Майбург Бодо. С девяти до пяти. День — морю. Это ничего, что Чарльс и Ковров зевают и думают, скоро ли пять. Что может быть незаметней зевка, хоть и крепко, но малозаметно засевших в конторе? А Гумпертц и Бодо зевают только по вечерам. Только по вечерам зевает Берлин, только для сна, не от скуки, потому что скуки нет, есть дело, работа. И дело, работа — жизнь.

Вертится бурным летом в делах город. Снуют авто, поезда, трамваи. Незаметно трясется земля: по ней столько бегают, под ней ездят. И везде только слышен для всех окрик: Abfahrt! Готово — поезд идет. Остановка на две секунды — для вздоха, принять и выбросить и дальше, по кругу. Точно и верно до мельчайших деталей. Все в кругу, все в кругу. Подгоняет Abfahrt. Эти Abfahrt загнали совсем фрау Штюлер. Все они обрушиваются на нее одну. Запыхавшись, сжимая сердце руками, фрау Штюлер бежит и ловит ухом известия о тех местах на берегу, где кто-то оставил кусок чешуи. Те подгоняют, ей кричит портрет обер-лейтенанта, потому что дома ее ждет прибавка. И маленький Хорст неумолимее лейтенанта, потому что ему надо есть.

На востоке же фрейлейн Минни убирает комнаты, напевая, лукаво бросает небрежной рукой евангелие мисс Дюринг. Мисс Дюринг уехала по магазинам, даром живет иностранка в Берлине. Впрочем, не так уже дорого стоят и Минни подарки мисс Дюринг. Скучная книга — евангелие.

Мисс Дюринг тоже в толпе бегунов, только женского пола. Фрау Штюлер на день переходит к мужчинам в работе. Мисс Дюринг верна себе. Она успевает к священнику, на богослуженье и в магазины. И везде надо помнить, что немцы норовят обмануть иностранок.

Фрау фон-Оффенберг и кухарка ушли за провизией. Хорст, вернувшись из школы, тих у себя. День — работе.

Тихо перезванивает люстра в столовой. В темной пещере, отдаляющей жизнь, скатывается в вечность капля за каплей, как маятник — длительно, медленно, вечно.

V. Тосты и любовь.

Фрау фон-Оффенберг просила жильцов одеться к обеду: обед сегодня в честь будущего тестя и невесты Бодо. Фрау Штюлер еще крепче заперла свою дверь и не готовила себе горячих блюд. Портрет оценил безукоризненный смокинг и военную выправку сына. Портрет одобрил розовый пушок фрейлейн Майбург, когда он был ей показан будущим мужем, и вызвал почтительно робкий восторг. Портрет надменно-презрительно скривился, увидав герра Майбурга, но что делать — решил отнестись к нему снисходительно.

Мисс Дюринг ради лета или торжественности заставила Чарльса уткнуться в тарелку, потому что ее декольтэ было слишком велико даже для англичанки. Она говорила, конечно, о нравственности. Фрейлейн Майбург почтительно слушала полузнакомую речь, краснела мучительно, с трудом отвечая на вопросы. Бодо не говорил зараз больше двух слов, изысканно легко, как выдержанный лакей, передавая блюда. Только герр Майбург и герр Гумпертц хохотали — гамбургские купцы, — не забывая, что дамы подчинены делам и мужчинам. Фрау фон-Оффенберг царила, и Минни, как пущенный твердой рукой рулетный шарик, вырастала у каждого стула.

Герр Майбург постучал ножиком о бокал. Герр Майбург произнес речь.

— Германия, — сказал герр Майбург, — переживает тяжелое время. Германия всегда была сильна наукой и капиталом. Основа же благополучия — семейная жизнь. Здесь за столом сидят его дорогая дочь и будущий дорогой зять. Его дорогая дочь полна любви, заботы и нежности. Его будущий дорогой зять Бодо фон-Оффенберг носит аристократическую фамилию и достоин своих предков. Он тверд и воспитан в национальных — вековая мудрость и сила — прекрасных принципах. Бодо в настоящее время весь погружен в науку. Пройдет лишь два года, и он, до зубов вооруженный наукой, вступит в жизнь на основе семейного счастья. Герр Майбург не скрывает, наоборот, он гордится, что брак его дочери с Бодо будет соединением науки и капитала.

Звенели бокалы, салфетки порхали у ртов. Герр Гумпертц, высоко подняв свой бокал в честь хозяйки, постучал и поднялся.

Он вполне согласен,—сказал герр Гумпертц,—с уважаемым герром Майбургом. Он должен сделать только маленькое дополнение. Он не сомневается, что всем здесь присутствующим известно имя герра Майбурга. Герр Гумпертц, как старый гамбургский купец, может засвидетельствовать, что старинная фирма Майбург всегда пользовалась огромным уважением и неограниченным кредитом. Глава торгового дома — герр Майбург — образец купеческих добродетелей. При том значении, которое Германия всегда отводила капиталу, роль герра Майбурга ясна. Кроме того, он семьянин и отец, столь же заслуживающий уважения, как и фрау фон-Оффенберг. Герр Гумпертц предлагает выпить за здоровье герра Майбурга.

Опять порхали салфетки, и поднялся Бодо.

Он благодарил от имени глубоко тронутой матери. Он присоединялся ко всему сказанному в честь герра Майбурга. Он сам сердечно признателен ему за то лестное мнение, которое герр Майбург высказал о нем. Но он должен сказать в этот многознаменательный день, что за столом нет человека, которому Бодо обязан всем — нет герра обер-лейтенанта. Герр обер-лейтенант погиб на войне за честь и достоинство родины. Бодо клянется, что будет верен заветам отца. Присутствующие, конечно, понимают, в чем они заключаются. Бодо предлагает почтить память обер-лейтенанта вставанием. А теперь он пьет за здоровье своей прекрасной невесты, вполне достойной носить славную фамилию фон-Оффенберг.

Фрау фон-Оффенберг, конечно, всплакнула и с обожанием посмотрела на сына. Мисс Дюринг выразительно глядела на Чарльса. Было необходимо, чтобы кто-нибудь произнес тост в честь Бодо. Но ни Чарльс, ни этот русский не хотели принимать участия в семейном торжестве, не оценили, что изысканный обед не будет поставлен им в счет сверх обычного, так как они не виноваты в семейном празднике и являются на нем гостями. У них не было чувства приличия и благодарности. Не женщине же в самом деле исправлять их ошибку и произносить речь.

Бодо в гостиной подошел к фрейлейн Майбург и сказал:

— Гизела, я надеюсь, вы поняли окончательно, после всех наших речей, какая честь для нас обоих хранить великие традиции славного рода фон-Оффенбергов.

Фрейлейн Майбург опять покраснела, умоляюще поглядела на Бодо, словно заранее прося о прощении, и робко сказала:

— Я боюсь, я не все еще поняла. Но мне так хочется сказать вам, почему я надеюсь, что когда-нибудь я все пойму. Я только не знаю, прилично ли это сказать...

Она покраснела еще гуще и нервно перебирала бахрому кресла. Бодо снисходительно поглядел на нее.

— Скажите.

Фрейлейн Майбург потупилась и прошептала:

— Потому что я очень люблю вас, Бодо...

Бодо, улыбаясь, глядел на нее удовлетворенно. Иначе, конечно, и быть не могло. Невеста фон-Оффенберга должна любить жениха. Но Гизела к тому же еще и очень мила и так мило смущается и так мило призналась в девически нежной влюбленности. Да, она будет хорошей и удобной женой. Бодо осторожно коснулся ее руки и сказал:

— Я очень рад, милая Гизела. Я, разумеется, тоже люблю вас. Мы будем очень счастливы в браке.

И фрейлейн Майбург поверила ему. Во всяком случае она зарделась, и глаза ее сияли, когда она, вбок, счастливо оглядела жениха.

VI. Гибель богов.

У Бодо были билеты на концерт, редкость в летнем сезоне. Чарльс предложил Коврову тоже пойти на этот концерт. Ковров, поморщась, согласился.

В афише стояло: «Вагнер — Гибель богов».

Лето развертывалось жарой. В зале томила духота испарений. Фрейлейн Майбург краснела девятым валом, у корней ее волос собирались мелкие слезинки пота. Фрейлейн Майбург слушала музыку, направляя и отклоняя ее от сердца по маленьким броскам коротеньких слов Бодо. Ей захотелось заплакать, будущее угнетало, Бодо был рядом чужой. Она сжимала рукой ручку кресла, смутно надеясь, что Бодо случайно коснется ее и, коснувшись, сразу уймет треволнение. Но Бодо был прям и чужд и чуть только билась под обтянутой щекой твердая скула.

Спокойно подымался на цыпочки дирижер, застывая затем с плавно идущими, как на уроке ритмики, руками. Равномерно взлетал над плечами сидящих впереди скрипачей ряд смычков, как длинный и редкий гребень. И спокойно, чуть-чуть касаясь натянутой кожи, еле-еле стучал в барабан толстый старик сзади всего оркестра. Те же дамы и те же мужчины сидели, не шевелясь, внизу и сверху консерватории, сжимая бинокли, впивались в дирижера и музыкантов. Тревога же росла, нарастая, вползла уже в зал и кому-то грозило быть схваченным ею за горло и завопить в тисках.

И вдруг дирижер сошел с пульта. Встали музыканты. Антракт.

— Слишком жарко, — сказал Бодо, — чтобы слушать серьезную музыку.

Он был недоволен. Фрейлейн Майбург, облегченно вздохнув, — она в пристань вернулась от говора толпы и слов Бодо, — сказала:

— Да, устаешь даже.

Чарльс, повернувшись к Коврову:

— Однако это очень нервирует. По-немецки серьезно, но экзотически нервно.

Все отошли. Все вздохнули и вытянулись, сладко отдыхая.

По проходам пошли продавщицы конфет. Фрейлейн Майбург, положив в рот конфетку, — Бодо сразу выбрал лучшие и недорогие, —

окончательно стала на якорь в родном и привычном. Чарльс, купив самый дорогой шоколад, кусок откусил, чуть скривился, предложил пойти в фойе.

В узком коридоре фойе, где скучающий Чарльс равнодушно разглядывал дамские плечи, припертый к ним толпою, Бодо смутно догадался, чего хотела тревога, рожденная в нем, до сих пор отходя, все меньшими волнами подступавшая к горлу. Фрейлейн Майбург шла рядом с ним легко по-девически, но Бодо показалось — тяжело, сковывая теплым воздухом, заключавшим ее в своей оболочке, чуть расслабленные уже тревогою ноги. Ему стало ясно, что хочется броситься на нее, раздавить, так чтобы после насилия этот дурманящий воздух теплой периной накрыл бы, обволокся вокруг него. Как только он это понял, волны опять захлестнули горло, и дрогнули ноги. Он откашлялся, напряженно до хруста зубов двинул скулы, стал разговаривать. В сознаньи рожденная, и названная ему сознаньем тревога затаилась, но не умерла.

Антракт кончился. Снова влилась толпа и, рассевшись, замолкнув, неслышно зашелестела, забыв о тревоге. Чарльс, скучая, думал о том, что после концерта надо куда-нибудь пойти. Бодо и Гизела ели конфеты: Бодо — с ожесточением давя их о небо, до боли вонзая язык в тягучую кашу, Гизела — мечтательно, но с аппетитом.

Аплодисментами встречен был дирижер с напряженно застывшим лицом, кланявшийся одной головой, точно трудно было ему согнуть массивное тело. Взмахнул, проплыли беззвучные руки и за ними вступили, сразу резко ударив, трубы, заглушая для всех — также сразу — кто слышал его, — шелест толпы. В трубах была покорившая всех торжественность, ей подчинились, не заметив, что вплетается в нее печаль. Раз подчинившись — не уйти из-под власти. И началось.

Торжественную печаль труб подхватили смычки. Низким гудом от контрабасов и виолончелей она ударяла в скрипки — и смычки взлетали острыми стрелами в воздух. И стала уже не печаль — весть о разрушении, первый крик безумных провидцев. Не верили еще, еще опьянялись торжественностью, а торжественность покрывала зловещий скрип расступающейся земли. И стены качнулись. Крик рос, потому что гибли уже. Еще вышагивала торжественность, а уже начиналось смятение. Бурно вертелись осенние листья. Обломились верхушки. Треснули стены. Голоса вопили. Где-то выл ветер. Гибли поодиночке.

На все это дохнуло сушью и жарой. Листья упали, ломались, недвижные, треща. Трещины в стенах зияли, медленно и беззвучно удлиняясь. Беззвучно, переломленные жарой, падали ветки и деревья. Медленно катилась лавина. Умирали, задохнувшись, молча.

Отпустило. Снова неистовый крик, уже общий. Языки огня. Громовые камни, сорвавшись, чмакнули глухо и низко. Мелкие камешки застучали. Стены расселись, с громом упали последние строения. Деревья и горы — в равнину. Стоны, крики и топот бегущих. Грохот лавины сильней и сильней. Гибель ясна. Земля расступилась. В нее — люди, боги,

камни, деревья. Шипенье в сгорающей куче подземной, открытой. Крик — и лавина. Грохот взрыва миров. Сплошной, однотонный, ударный, все заглушивший. Конец. Откуда-то — море. Волны ворвались, сшиблись, закружились, в последних водоворотах — последние обломки. Гладкие воды. Торжественный марш перекатывающихся лишь друг через друга волн. Внезапная пустота тишины.

Встали не сразу. Бодо, напряженный внутри катастрофой, всею силой смирял жестокость, не понимая, что это жестокость от предчувствия конца. Фрейлейн Майбург растерянно почувствовала головную боль.

Чарльс, вскочив, отряхнулся и крикнул Коврову:

— Нет, так невозможно. Это же гибель всего нашего мира. Чорт знает что! Не хочу и не верю. Надо развлечься. Я требую оперетки. Мир еще жизнеспособен.

Ковров улыбнулся.

— Хорошо еще, если наш мир погибнет так торжественно. Как бы не было хуже... под вашу оперетку...

VII. Ночь.

Была ночь. Темнота морским прибоем билась в улицах, как в рифах, залив город мелкой однозвучной тишиной. Каменные корабли, засветившись огнями, давно отвалили, тяжело качнувшись в ночь. И еще раньше тысячи дневных грузчиков, наполнявших самые большие корабли тюками, бумагами, телефонами, разошлись по каютам и тоже отплыли в ночь, унося еще в одеревенелых руках острые иглы дневного напряжения.

Фрау фон-Оффенберг, герр Майбург и герр Гумпертц пошли в кафе. Для них завертелась стеклянная дверь — в России при входе на бульвары такие вертушки на столбиках, о которые рвут пальто, — они сели под пальмой, им подали в высоких бокалах замороженный шоколад, а мужчинам еще и коньяк, для них из модных оперетоқ играл оркестр, герр Гумпертц слегка подпевал, фальшивя, герр Майбург молчал, но в антрактах то о делах говорил с герром Гумпертцом, то вдруг хохотал, рассказав анекдот. Фрау фон-Оффенберг улыбалась сдержанно и молчала, осудив про себя навсегда курящих в кафе дам, громких, как дома, с кавалерами нежных, как дома, — и их кавалеров, самодовольных по праву, но позволяющих вольности дамам. Бодо и Гизела — другие. Как она и покойный лейтенант, они верно в концерте строги и скучны, но в этом их право на «фон».

В пансионе ж мисс Дюринг, зазвав к себе Минни, читала по главам Библию, комментировала и объясняла краснеющей девушке, почему нравственны только женщины, чем опасны мужчины, и какие восторги душе несет с собою дружба двух женщин. Минни, сдерживая смех от акцента мисс Дюринг, соображала, какого подарка стоит потерянный вечер.

И еще в пансионе, истомленная днем, беготней и жарою, спала фрау Штюлер, заснула одетой, а маленький Хорст, боясь шевельнуться и разбудить, сидел у окна и следил за падающими с трамвайной проволоки звездами и думал о том, что такими же звездами трескаются гранаты, не с шипением только, а с громом, такою гранатою убит был отец. Смотрел, как уходит под землю поезд унтергрунда, на котором завтра, как ежедневно, под землю скроется мать, чтобы вынырнуть в другом незнакомом конце города и гнаться там бегом за деньгами. Хотел закрыть окно, потому что фрау Штюлер вздрагивала от каждого проносившегося поезда, но боялся стука и жары. Положил голову на подоконник и заснул.

Чарльс и Ковров вышли из концертной залы, отдаваясь ночи, чтобы она изгнала тревогу и тяжесть концерта. Чарльс шел по улицам, скучая и злясь на себя. Город казался ему большой нескладной деревней с игрушечной подземной дорогой, распущенной деревней грубых людей, которых, как в колониях, надо заставлять всегда помнить об уважении к англичанам. На углу угадавший иностранцев, пристал к ним юноша, навязывая карточный клуб, ночной ресторан, кокаин, кафе для мужчин, кафе для женщин. Чарльс сначала молчал, но тот не отставал, и безразличному Чарльсу показалось занятным посмотреть, до чего может дойти эта деревня.

— Поедем? — спросил он Коврова.

— Поедем.

— Везите, — бросил Чарльс.

Юноша позвал автомобиль, сказал адрес, сел с шоффером. Автомобиль помчался, круто заворачивая в глухие улицы, неистово ревя на углах. Мелькали огни, цепь одинаковых домов, круглые площади со скверами, колодцы унтергрунда, тяжелые столбы железной дороги на втором этаже. Вертелись мужчины и женщины, хватаемые огнями автомобиля, резко выступали углы домов. Посреди улицы автомобиль остановился, Чарльс заплатил, автомобиль, резко кинув ослепительные огни на темный дом, заставив на секунду зажмуриться, нырнул, затрубив, подводной лодкой в ночь.

Подошел человек, перекинулся двумя словами с их спутником, пошли дальше вчетвером. Присоединились еще двое, уверяли, что недалеко. Вошли в подъезд, поднимались при свете электрического фонарика. Постучали три раза в дверь с дощечкой: «Зубной кабинет». Дверь открылась в переднюю и быстро захлопнулась. Совсем глухие, тихо, почти срываясь, зудили за стеной смычки.

Их провели в небольшую залу. Шторы были наглухо спущены, стояла невероятная духота. У стены два скрипача печально тянули какую-то оперетку. Вокруг стен стояли столики. К ним подлетел кельнер и подал шампанское.

У столиков сидели женщины. К ним подошла одна, Чарльс сначала подумал, что это мужчина — в мужском костюме, в шляпе и с тросточкой, оперлась рукою о стол.

— Отчего вы одни, иностранцы? Мы мужчины, должны всегда иметь возлюбленных.

Чарльс понял, куда он попал. Ему стало любопытно.

— Я пришлю тебе подругу. Хорошо?

Чарльс кивнул. Она отошла, пошепталась с другими, они засмеялись, две поднялись, улыбаясь подошли, поздоровались, спросили:

— Можно?

Сели. В зале сидели еще двое гостей, — было рано, — посмотрели на них любопытно, потом не обращали внимания, занятые своим. Третий, окруженный девицами, то хмуро молчал, то яро выкрикивал на непонятном Чарльсу языке. Язык этот был русский, и Ковров перевел:

— Да здравствует грядущая Россия! Слышите вы, я пьян, но я понимаю!

Чарльс подозрительно поглядел на Коврова, и тому стало стыдно за соотечественника.

Кельнер принес еще бутылку. Чарльс не знал, о чем говорить. Ему становилось снова скучно. Музыка заиграла опять, девицы пошли танцовать. После танца Чарльс хотел уходить, но к нему подошел кельнер, стал соблазнять программой. Заиграли опять скрипки и выскочили две голые, в одних чулках — женщины, некрасивые и немолодые, смущаясь, но скрывая смущенье наглостью и равнодушием, затанцовали, приближаясь и обнимая друг друга. Когда они прошли мимо Чарльса и Коврова, на них пахнуло потом. Ковров скривился. Одна из подруг спросила:

— Тебе не нравится? Хочешь, пойдем в отдельную комнату, там я станцую тебе, я танцую не для всех, только для тебя одного, я сложена гораздо лучше, и потом, может быть, ты захочешь... я беру недорого. Или хочешь посмотреть, как я с подругой...

Пьяный кричал:

— Так, танцуй, голая, правильно! Кончается Европа, да здравствует Россия!

Ковров встал.

— Ну, довольно, я думаю?

Они вышли, расплатившись, бросив бумажки подругам, их проводили, спрашивали, сколько им стоило, — все провожатые получали проценты. Чарльс потребовал ужина. Они поехали в ресторан, спеша попасть до закрытия.

В это время фрау фон-Оффенберг и гамбургские купцы вышли из кафе. Герр Майбург, покраснев от жары, простился у выхода. Герр Гумпертц повел домой фрау фон-Оффенберг.

Они шли пешком — недалеко — фрау фон-Оффенберг старалась не видеть гуляющих на углах, зорко осматривающих мужчин, поводя бедрами и напевая, проституток. Герр Гумпертц открыл двери своим ключом и простился у своей комнаты. Фрау фон-Оффенберг прошла к себе, Бодо еще не вернулся, она пожаловалась портрету, как тяжелы гамбург-

ские купцы, которых она терпит только для Бодо, и портрет велел ей терпеть до конца.

Пансион уже спал. Спала Минни, унеся с собой шелковые чулки. Спала мисс Дюринг, несколько раз нежно прижавшая Минни к себе перед ее уходом, прочитавшая молитву потом. Фрау Штюлер, проснувшись, уложила Хорста, — Хорст видел уже свои детские сны — и легла сама, заснув тяжелым сном утомленья. И спал уже Гумпертц.

VIII. Лютци.

Бодо провожал фрейлейн Майбург. Унтергрунд примчал их на восток. У двери, — Майбурги жили у родных, — на прощанье Гизела поблагодарила жениха и коснулась чуть-чуть губами его пересохших губ и испугалась, когда Бодо сильней, чем всегда, пожал ее руку. Но Бодо был тверд, как обычно, и Гизела спокойно вспорхнула по лестнице.

Бодо шел пешком. Оставшись один, он как-то сразу почувствовал себя в центре ночной жизни, себя — центром. Кольца огромной змеи свертывались на улицах, душили его, стоило сказать одно слово первой же незнакомке и быть захлестнутым душной змеей. На углах стояли по-двое, по-трое женщины, — когда он проходил, они раскатывались в стороны, подходили к нему, смотрели в глаза, напевали, как будто про себя, бросали:

— Пойдем.

На других углах толпились мужчины, высматривая и готовясь к охоте. Какие-то странные юноши вызывающе глядели на него. Молодые люди потертого вида, внезапно появляясь и исчезая, предлагали настойчиво что-то. Дразнили кровь огни ресторанов. Парочки садились в каретки извозчиков и автомобили. Качались пьяные. В темном углу под мостом железной дороги на него налетела женщина вида горничной, задержала и громко сказала:

— Пойдем, мое сокровище, мой красавчик!

Кровь ударила в голову, но вырвался. Шел дальше, не глядя ни на кого, но кровь била в виски и бурно сжималось сердце. А что если подойти? Кровь зовет так настойчиво, осуществление доступно и возможно. От мысли дрогнули ноги. Откашлялся. Выпрямился еще. Шел дальше. Уже был готов подойти, но боялся — куда же пойти с ней? Не к ней же, в самом деле.

Почти у самого дома всегда прохаживается кучка зазывных. Прошел мимо, не глядя. Их много, нельзя же при всех. Но дальше — одна, высокая, полная, замеченная давно. Ни на что не решившись еще, невольно замедлил шаги. Из темноты выплыли большие глаза и вкрадчивый голос:

— Ты боишься меня? Я давно заметила тебя. Давай познакомимся. Меня зовут Лютци.

Протянула руку. Пожал.

— Пойдем же ко мне! Если, конечно, я не слишком дорога для тебя. Ты любишь полных?

— Сколько?

С вкрадчивой наглостью назвала цифру. Бодо вспомнил про отодвинутый шкаф.

— Я дам вдвое больше, но пойдем ко мне.

— Ты боишься?

— Все равно! Пойдешь?

Взяла решительно под руку, прижалась. На секунду отодвинулась.

— Только вот что. Я очень осторожна. Ты примешь предосторожности.

— Очень рад, но у меня нет...

— Ты купишь у меня. Хорошо?

— Хорошо. Только помни — ты должна быть тиха. Я живу в пансионе.

Прижалась, сказала с рокочущим смехом:

— Не разговаривать совсем?

— Да.

Бодо открыл дверь в парадном, зажег свет, шел впереди. Открыл дверь пансиона. С бьющимся сердцем провел ее к себе, запер дверь.

— Деньги вперед. И опусти же штору.

Отвернулась, сунула бумажки в чулок. Стала раздеваться, спокойно и не спеша, складывая аккуратно вещи на стул. Бодо стоял, покраснев, воровски не сводя с нее глаз.

— Ну, а ты? Раздевайся же, глупый!

Прогремел отодвинутый стул. Скрипнул диван.

Фрау фон-Оффенберг слышала всегда, как Бодо возвращается домой. Фрау фон-Оффенберг удивилась подозрительной тишине соседней комнаты с как будто нежеланными стуками. Она хотела окликнуть Бодо, но вдруг ей почудилось... Она встала... послушала у двери... было тихо... стон... вскрик... фрау фон-Оффенберг заглянула в щелку.

Две мысли сверлили мозг фрау фон-Оффенберг, когда она метнулась к портрету. Ее сын с проституткой у нее в доме, — и что если услышат жильцы, особенно мисс Дюринг. Но портрет был тверд и строг. Портрет не видел еще ничего ужасного. Портрет велел фрау фон-Оффенберг оставаться на страже. Фрау фон-Оффенберг потушила свет и сидела у двери на стуле, стараясь не дышать, охраняя сына и покой своих жильцов, при первом подозрительном шуме готовая выйти и затушевать.

Ковров и Чарльс зашли в какой-то русско-кавказский ресторан. Высокий юноша в бешмете и папахе взял их шляпы. В ресторане танцовали, скрипач ходил между столиками, скользил в куче танцующих, подплясывал сам. За стойкой любезничал хозяин. Рядом с ними немецкая парочка, срываясь при звуках нового танца, пожимала руки друг другу, пила за здоровье, с намеком на что-то, блестели глаза и росли бутылки. Они вышли и пока брали шляпы двое пьяных эмигрантов твердили друг другу:

— Да возродится Россия!

И юноша в бешмете — не встречался ли с ним Ковров на востоке, в степях, в городах — поддерживал уходящих, почтительно подтверждая:

— Да, возродится несомненно, но в каких формах?

И пьяный, поднимая палец, совсем как мисс Дюринг, внушительно отвечал:

— Россия может быть только монархией. И Германия. Мы еще наведем порядок, молодой человек, подождите!

И сунул кавказскому юноше — бывшему офицеру — чаевые.

Лютци одевалась быстро. Приглашала Бодо к себе, дала ему адрес.

— Ты доволен? Так подари мне что-нибудь.

Бодо из бумажника дал ей денег. Поблагодарила.

— Но ты мне еще должен за предосторожности.

Назвала сумму, маленькую до того, что Бодо искал не в бумажнике, а по карманам. Бодо открыл ей дверь. На лестнице горел свет, кто-то поднимался. Бодо захлопнул дверь поскорее, переждал, пока вошли Чарльс и Ковров, открыл ей потом дверь внизу, поднялся, уверенный, что никто ничего не видел, вошел к себе. Фрау фон-Оффенберг облегченно вздохнула, портрет одобрил ее в темноте, она умилилась и спокойно легла. Бодо потушил свет, лег облегченный, стараясь не думать ни о чем, не смешать Лютци с Гизелой Майбург, и заснул.

Чарльс и Ковров, поднимаясь, увидали Лютци, по звуку двери догадались, откуда она, по виду — кто она. Услышали, как переждавший их Бодо вышел и вернулся, и поняли все.

IX. Письмо в Россию.

«Дорогой друг!

Вероятно, и на луне сидят этак — свесившись с краю, — какие-нибудь существа и мечтают и выдумывают и изобретают такие разрывные снаряды, которые когда-нибудь — скоро, скоро — взорвут, испепелят, размечут кусочками землю. Ведь, кажется, только об этом думают все живые существа земли, несмотря на все войны. Вот почему приятно, что о луне, собственно говоря, ничего неизвестно. Держит нейтралитет и чорт с ней! Колонизовать ее нельзя. Сама она революций не устраивает, ну, и ладно: кто в самом деле в Лондоне, в Париже, в Берлине думает о луне? Отгородились электричеством и свети там, не свети — не все ли равно? Торговый дом на ней не устроишь, стало быть интересу лишена.

А тем более мы. Нас, русских эмигрантов, ничем не удивишь, а в особенности мировыми событиями. Сыты. Нам только бы войны не было, воевать ни-ни, надоело. Разве что чужими руками. Ну, а кроме того, ничего не внове, ничего не желаем, оставьте нас, дорогие друзья, в покое.

А в сердце...

Помните, в детстве, летом в деревне мать спать укладывала:

— Набегался, мальчик маленький, ложись, мой родной, ложись, отдохни, усни.

Родина... мать она?

Родину теперь матерью не зовут. Сам я ей — не враг ли? И все-таки сентиментальность не по летам — так бы и бросился к ней, лег бы в поле, в снег, на волчий наст и шептал бы:

— Я набегался, слишком набегался. И по твоим просторам с мечом и словом и по чужим краям с протянутой рукой. Успокой же меня, пусть даже смертью, но в твоих снегах, в твоей метели...

Ох, как набегались мы! Но примет ли нас мать?

Простите мне, дорогой друг, всю эту лирическую нескладицу. В ней в сущности все не так уже нестройно, как, может быть, кажется.

Дело, видите ли, в том, что сейчас ночь. Я, вернувшись в свою комнату — не все ли равно откуда — и не зажигая света, случайно увидал луну. Луну ведь в больших городах всегда видишь случайно, где ей соперничать с фонарями! Ну и, конечно, память заработала... Странно. Всего-то в жизни, может быть, раз или два был в снежном поле, чувствуя остро русскую зимнюю ночь, а почему именно оно щемит душу, а не какая-нибудь швейцарская долина, аравийская пустыня, неаполитанский залив?

Конечно, самое худшее осталось позади. Позади — недостроенные молодым архитектором дома, бессмысленные отсиживания в окопах и сражения, в которых неумело командовал голыми руками и жизнями, незнающих за что воевать, солдат. Позади — сумасшедшая гонка добровольцев (ох, уж эта добрая воля — злая доля!) по степям и южным городам России. Позади — шнырянье по Константинополю жалким беженцем. Все позади. Здесь — служба, комната, покой.

Но, понимаете, какая канитель. После всего, что было, — сражений, разведок, бегств, обманутых надежд, грязи, зверства, — берлинское утро. Служба. Тоска. Чужие. У вас там в России — скоро конец (газета). Чему конец — неизвестно, но так полагается, что с каждым днем в России приближается конец здешней нашей жизни. Пока же у нас — вечерние танцы. Каждый день, каждый день. А конец близок, о, конечно, конец близок.

Не могу я больше!

Я счастливый человек. У меня служба, деньги, покой. И я говорю: лучше умереть в России, чем жить здесь.

Слушайте! Если есть у вас хоть одна разгаданная загадка из запаса нашего вечного сфинкса — российской судьбы, сообщите ее мне, дайте ухватиться, ради бога. Приеду. Да, что там! Похлопочите только, чтобы меня пустили.

В самом деле. Если все мое прошлое было заблуждением, то заблуждением добросовестным. Да, каюсь, — не понял. Не увидел. Больше того — не узнал. Не узнал в революции того, о чем сам мечтал. Но теперь-то ведь знаю.

Исписал бумаги много. Простите.

И вот еще. Никакая негритянская музыка с барабанами, тарелками и выкриками не заглушит одного. Вижу всегда: поле, трупы, окоп, грязь.

В ушах непрекращающийся в самой пустой тишине гул вчерашней-завтрашней канонады. Довольно. Мира хочу. Или войны войне. Строить или рушить то, что давным-давно прогнило, гниет здесь на глазах.

До свиданья.

Ваш Ковров».

X. Дождь.

Над Берлином шел дождь. Ах, какой дождь шел над Берлином. Прямой, крупный, беспрерывный. Люди бежали под зонтиками, укрываясь в вокзалах, в поездах, в трамваях. Лужи чернели и желтели в асфальте.

Хорсту Штюлеру не повезло в это утро. Его ботинки разорвались давно, и ноги заледенели от холодной воды. Чулки промокли. Он бежал, он согрелся, но слишком — он стал мокрым и снаружи и внутри. Он вбежал в школу и сел с открытым ртом, чтобы отдышаться. Ему стало холодно, он остыл, был весь сырой, зубы стучали. Холодные мокрые волосы прилипали ко лбу. Он хотел бы согреться, но школу не топили. Он ерзал по парте, он плохо слушал учителя. Учителю показалось, что Хорст шалит. Он вызвал его повторить последние слова. Хорст не смог. Учитель отвесил ему пощечину.

Ну, что же, одна щека горела. Правда, Хорст — тихий мальчик, он не шалил. Его еще ни разу не били. Правда, от обиды маленькое сердце Хорста колотилось в холодной груди, как сумасшедший маятник. Но ведь это народная школа. Детей учит государство, разве они смеют пикнуть? А пощечины согревают и учителя и учеников. Плох тот мальчик, которого ни разу не били. Часто родители сами просят быть построже с их детьми. А фрау Штюлер — и вовсе нищая, ей не до ребенка. Конечно, она еще поблагодарит учителя за твердое воспитание. Нечего баловать детей нищих. Пусть знают, как сладка жизнь, как надо пресмыкаться перед старшими и сильными, чтобы вымолить себе у бога сносное существование. Пусть. Ничего.

Уроки кончились, Хорст бежит домой. Как будто мостовая чуть-чуть качается — вот забавно. А трамвай, а трамвай — он помчался вдруг по быстрому кругу и все-таки остался на месте. Неприятно — голова тяжелая, язык прилипает к гортани. Ну, ничего, сейчас дома. Скорей в кровать. Холодно, холодно. Хорст съежился, Хорст ждет. А мама, как нарочно, задержалась. Мама! Хорст ведь не ел еще ничего. Мама!..

Хорст закрылся, Хорст заснул. Конечно, Хорст спит. Ведь голько во сне кровать качается и потом уносится вдаль совсем, как на автомобиле, когда был жив папа. Как быстро мелькают стулья, стол, окно — почему автомобиль мчится по комнате? А, впрочем, пусть мчится, где хочет. Голова кружится, тело дрожит, на глаза набегают тени, глаза смыкаются, на этот раз Хорст по-настоящему спит.

Дождь хлестал тротуары, прохожие зло глядели из-под ворот, извозчики заползали в каретки, с лошадиных хвостов струилась вода, была

осень; все возвращались в Берлин, квартир стало еще меньше, фрау Штюлер не знала, где заработать на хлеб. Все-таки летом перебивалась кое-как, комнату устроила в знакомом доме японцу студенту, студент заплатил иенами, кого-то с кем-то познакомила, через это знакомство десятые люди продали дом, фрау Штюлер получила десятую долю от одного процента. Больше никто не покупает домов, больше не стало квартир, у всех иностранцев есть уже комнаты, фрау Штюлер скоро нечем будет заплатить за унтергрунд, чтобы ездить в город. И дома нечем кормить сына. И не у кого одолжить.

Все бегут и фрау Штюлер бежит. Все спешат, и фрау Штюлер втискивается в унтергрунд. Она держится за верхние поручни, ее качает, ее выгибает, как надуваемый ветром парус. Она снова бежит, робко отпирает дверь, на цыпочках проходит к себе. Хорст спит. Но почему он такой красный? Так и есть, голова горячая. Он что-то шепчет.

— Мама... мамочка... учитель... автомобиль... папа... пощечина... улица танцует... улица здесь...

Он бредит.

Фрау Штюлер беспомощно опускает руки. Что делать? Надо доктора. Но где взять денег? Только этого не хватало.

Она снова бросается к Хорсту:

— Хорст! мальчик мой!

Не узнает. Мечется, хрипло кричит:

— Не бейте меня! Мне было холодно! Я буду внимательным, даю вам слово. Не бейте меня!

На лице его сыпь. Это опасно. Что теперь будет? Фрау фон-Оффенберг выгонит их. Куда она денется с больным ребенком? Мальчик может умереть. Зачем же тогда живет и мучается фрау Штюлер?

Фрау Штюлер бессильно садится в кресло. У нее нет слез. Она смотрит перед собой и ничего не видит.

В окне дождь моет, хлещет, туманит стекла. Темный, серый, грязный берлинский свет.

XI. Бред.

Фрау Штюлер побежала к Коврову. Ковров помчался к телефону и вызвал лучшего доктора. Он пошел в комнату фрау Штюлер и сел у постели Хорста. Он приказал фрау Штюлер отдохнуть, ведь только приказы могли подействовать на нее. Нельзя себя так трепать, ей предстоит еще много волнений.

Фрау Штюлер казалось, что отдыхать — преступленье. Надо куда-то бежать, надо что-то делать, надо достать денег, надо ухаживать за Хорстом. Но Ковров не пустил ее никуда. Бежать некуда, делать нечего, о деньгах пусть она не беспокоится, за Хорстом посмотрит Ковров.

Хорст спал беспокойно, метался, что-то бормотал. Ковров менял ему компрессы. Хорст успокоился и только тихо хрипел. Тикали часы. За окном дребезжал унтергрунд, и свистел паровоз. Звенели стекла. Хрип

Хорста тонкой иглой пронзал сердце фрау Штюлер. Но она была прикована к креслу. Она так устала. Она закрыла глаза, под тяжелыми веками расплылись яркие круги.

В передней звонили.

Доктор сильно опоздал... Был уже поздний вечер, Ковров не тревожил забытья фрау Штюлер. Доктор — полный, красивый мужчина. Он вошел в комнату, брезгливо оглянулся и, сморщась, негодующе сказал Коврову:

— Вы ошиблись. Здесь нужен врач из больничной кассы.

Ковров знал, как бедно в комнате фрау Штюлер, и как доктор любит богатых пациентов. Он вспыхнул и язвительно ответил:

— Я справился у горничной о размере вашего гонорара. Вы получите его в долларах.

Доктор — воплощенная любезность. О, русские так благородны. Ведь милостивый государь — русский? Конечно, доктор сразу узнал по акценту и благородству. Доктор просит великодушно простить его за опоздание. Доктор выждал минуту. Что бы такое приятное сказать еще этому варвару? Доктор знает, что русские — или монархисты или коммунисты. Как бы не ошибиться. Но доктор нашел выход. Он улыбнулся и подмигнул.

— Я, знаете, заехал на коммунистический митинг. Я монархист, конечно. О, только монархия может спасти Германию. Но идея, выгода и правда — не одно и то же. Я хожу иногда к коммунистам — правду ведь тоже надо когда-нибудь услышать, не правда ли?

Доктор рассмеялся. Он осмотрел Хорста профессионально-внимательно. Сейчас он доктор — и больше ничего. Он священнодействовал. Он встал и сказал:

— Скарлатина. Я советую вам отправить ребенка в больницу. Вряд ли в пансионе возможен хороший уход. Лучшая больница — та, в которой я работаю. Я напишу вам записку и мальчика примут туда, несмотря на переполнение.

Фрау Штюлер тихо плакала. Доктор говорил с ней сурово. Он подозревал, что русский живет с ней. Иначе зачем бы он стал беспокоиться о ее сыне? Ну и вкус же у этих иностранцев. Впрочем, доктору все равно. Ведь платит русский.

Ковров предложил перевезти Хорста в больницу утром, чтобы не беспокоить мальчика ночью. Доктор согласился, получил доллары и ушел. Фрау Штюлер хотела поцеловать руку Коврова, Ковров не дал. Ковров остался дежурить на всю ночь. Сердце фрау Штюлер медленно сгорало в огне тревоги и благодарности.

В пансионе рано ложились спать. В пансионе была тишина. Только Ковров и фрау Штюлер сидели у постели Хорста. Хорст метался в жару. Хорст бредил.

Фрау Штюлер сдерживала рыданья. Ей было так страшно. Ей казалось, что она сходит с ума. Откуда у Хорста те же виденья, что и у ней.

Она плакала и целовала руки сына. Но она говорила шопотом, она умоляла Хорста говорить тише, ведь могли услышать фрау фон-Оффенберг или мисс Дюринг...

А дождь все хлестал в окно. В лужах, в изломанном отражении стекол, в сырости, в потоках воды, в сумасшедшей ночной лихорадке, у почерневших стен домов, в миганьи фонарей, под всхрипы паровозов, пока особенно жутко тряслась под ногами на перекрестках земля, в струях дождя — всем своим монументальным прошлым, окончательно смытым потоками грязной воды, нищенским настоящим и гулом далекой еще, небывалой бури — бредил в эту осеннюю ночь Берлин.

XII. Неурочный звонок.

Ковров менял компрессы, Ковров успокаивал Хорста, Ковров говорил тихо, но твердо, и Хорст затих. Хорст даже улыбнулся, когда Ковров дал ему пить.

Ковров попробовал ноги Хорста наощупь. Они были холодны. И вообще Хорсту было холодно. Он дрожал. Надо было положить грелку к ногам. Ковров забыл, что уже ночь, что фрау Штюлер никогда не беспокоит прислуги, Ковров знал, что у фрау фон-Оффенберг есть грелка для пансионеров, он подошел к стене и резко продолжительно позвонил. Никто не отозвался. Ковров позвонил еще резче. И в третий раз.

Фрау Штюлер умоляла его не звонить. Она сама сделала бы все. Но Ковров не слушал. Рванув еще раз звонок, он побежал в коридор. Навстречу ему неслась разъяренная фрау фон-Оффенберг. Ее разбудил звонок. Она встала и пошла посмотреть. Может быть, что-нибудь нужно было мисс Дюринг, а Минни слишком крепко заснула. Но на доске в кухне выскочил номер комнаты фрау Штюлер. Как, эта нищая смеет звонить, да еще ночью, будить всех? Фрау фон-Оффенберг полетела по коридору, до краев переполненная негодованием и бранью.

Ковров остановил ее.

— Вот очень хорошо, что это вы. Где у вас грелка? Минни, вероятно, спит.

Фрау фон-Оффенберг задыхалась. Портрет лейтенанта сверкал глазами в спальне. Этот русский снюхался с нищей. У нее в доме. Разврат, бог знает что. Они смеют ночью будить всех. Фрау фон-Оффенберг поджала губы и сказала прерывисто и злобно:

— Но я не понимаю, герр Ковров. Эти ночные звонки из комнаты фрау Штюлер... что это значит?

— Понимать тут нечего. У Хорста — скарлатина. Ему нужна грелка.

Только этого не хватало фрау фон-Оффенберг. Что скажет мисс Дюринг? Вот до чего доводит доброта! Вот как отплатили ей! Скарлатина... Это заразно, это опасно. И еще такой шум. Все узнают. Фрау фон-Оффенберг прошипела, бросаясь к комнате фрау Штюлер:

— Вон, вон, сию же минуту! В больницу, на улицу — вон! Я не потерплю!

Но Ковров, вероятно, взбесился. Он схватил ее за руку, рванул и закричал:

— Вы с ума сошли, фрау фон-Оффенберг!

А на крик из своей комнаты вышел Чарльс Ровенгоу. Скандал разрастался. Ковров объяснил Чарльсу в чем дело. Мальчик болен, завтра его увезут, нужна грелка. Ковров не пускал фрау фон-Оффенберг в комнату фрау Штюлер. Это было смешно. Чарльс рассмеялся. Чарльс принял сторону Коврова и стал отчаянно вызванивать Минни. Фрау Штюлер выбежала из комнаты и о чем-то умоляла всех, но ее не слушали. Фрау фон-Оффенберг с истерическим воплем кинулась к комнате сына. Ее в собственной квартире смеют куда-то не пускать. Кто же защитит ее, как не Бодо? И вдруг из комнаты сына выскочили Лютци и Бодо, не ожидая света в коридоре. Лютци сейчас же шмыгнула обратно, но все успели ее заметить, и Ковров загремел на весь коридор:

— Больных вы гоните вон, а проституток вашему сыну вы принимать не запрещаете?

У фрау фон-Оффенберг подкосились ноги. Она только шептала:

— Боже мой, боже мой, что же это будет?

Лейтенант на портрете в спальне умер во второй раз. Чарльс брезгливо глядел на всех, презрительно улыбался и продолжал отчаянно звонить.

И Минни, наконец, услыхала. Дверь из комнаты мисс Дюринг открылась, и Минни выскочила в одном белье, а за нею, тоже в белье, удерживая ее трясущимися руками, с перекошенным лицом, без шиньона, с жалкой косицей — мисс Дюринг. Чарльс всплеснул руками и, не в состоянии удержаться, во все горло захохотал.

Мисс Дюринг решила поставить на карту все. Мисс Дюринг завопила, кидаясь к Чарльсу:

— Что это за сборище? Чего вы хохочете? Вам смешно, что я читаю с Минни по вечерам евангелие? Стыдитесь! Вы подсматривали! Фрау фон-Оффенберг, если вы не откажете этому нечестивцу от комнаты, я не останусь у вас ни одной минуты дольше!

Чарльс прислонился к стене. Он больше не мог. Ему казалось, что смех задушит его. Фрау фон-Оффенберг дышала, как рыба на суше. Все вертелось перед ней, в ушах стоял треск, словно рвался холст на портрете лейтенанта. Ковров кричал на Минни:

— Занимайтесь чем хотите, но чтобы сию же минуту была грелка.

Минни плакала, упав на колени, уткнув в них лицо, выдавая, что евангелие мисс Дюринг было несколько своеобразно и манера чтения — необычна.

Фрау Штюлер умоляюще протягивала руки ко всем и шептала:

— Я не виновата. У моего мальчика скарлатина.

Мисс Дюринг услыхала ее. Мисс Дюринг уцепилась за свое спасенье. Она взвизгнула:

— Скарлатина? Я ни секунды не останусь здесь больше! Минни, вызовите мне автомобиль и помогите уложить вещи! Я могу взять вас с собой. Позвоните в гостиницу. Мистрис фон-Оффенберг, немедленно подайте мне счет! Я уезжаю через полчаса! Я не ожидала этого от вас!..

И мисс Дюринг скрылась у себя.

Зато из своей комнаты вполне одетый вышел Бодо и запер ключем дверь. Ведь никого не касалось, кто там был у него. Лютци приходила не в первый раз. Бодо никого уже не боялся. Свадьба через два года. Мисс Дюринг поймет. До остальных ему не было дела. Бодо подошел к матери и отчетливо, твердо спросил:

— Что здесь происходит, мама?

Но тон покойного лейтенанта не успокоил фрау фон-Оффенберг. Она бессильно поглядела на Бодо и ничего не ответила. Чарльс все еще хохотал. Его шотландские нервы были достаточно крепки. Он жалел только о том, что нельзя больше звонком увеличивать общую суматоху.

Ковров, задыхаясь, сказал Бодо:

— Мне безразлично, какие гадости творятся у вас в комнате и в комнате мисс Дюринг. Мне ясно, что дольше оставаться у вас в пансионе для меня невозможно. Но эту ночь и я, и фрау Штюлер, и больной ее сын остаемся здесь. И вы немедленно дадите грелку для Хорста.

Чарльс овладел собой. Он был снова корректен и холоден.

— Я присоединяюсь к сказанному мистером Ковровым.

Бодо позеленел и, шипя, ответил:

— Я не намерен отвечать на дерзости иностранцев. Я очень рад, что мы избавимся от вас и от этой нищей, которая по каким-то подозрительным причинам вызывает ваше сочувствие. Но эти наглые требования и этот скандал вам недешево обойдутся.

Ковров смерил его взглядом.

— Я заплачу вам ваши убытки и даже стоимость ваших ночных развлечений. Минни, потрудитесь дать грелку!

Неизвестно кто, кроме Чарльса, спал в пансионе в эту ночь. Мисс Дюринг уехала ночью, оплатив счет, который принес ей Бодо. Бодо извинялся. Бодо ничего не слыхал и ничего не заметил, Бодо обещал, что Чарльса на утро не будет, но мисс Дюринг, закатив глаза и подняв палец, категорически отказалась остаться. Но она пригласила Бодо как-нибудь зайти к ней и побеседовать об евангельских текстах. Она даже расцеловалась с провожавшей ее фрау фон-Оффенберг. Она сказала:

— Ах, как тяжело жить нам, мистрис фон-Оффенберг, в такое время. Я попрошу вас, пришлите мне завтра Минни в отель. Мне надо поговорить с ней.

Как только все затихло, Бодо выгнал Лютци. Потом он долго говорил с матерью в спальне. Портрет остался на месте. Портрет велел фрау фон-Оффенберг доверить все сыну. Она успокоилась.

Фрау Штюлер и Ковров ухаживали всю ночь за Хорстом. На утро автомобиль увез мать и сына в больницу. Бодо пришел к Коврову и предъявил счет. Кроме комнатной платы Коврова там значилось: плата за комнату фрау Штюлер — за шесть месяцев, и убытки в сумме месячной платы за комнаты и обеды всего пансиона.

Ковров поглядел на Бодо. Бодо был холоден и сух. Ковров уплатил по счету и сдавленным голосом крикнул:

— И убирайтесь вон, гадина!

Бодо вздрогнул, сдержался, чуть нагнул голову так, что нельзя было понять, поклонился он или нет, и вышел. За дверью он погрозил кулаком.

К вечеру у парадного хода белела записка, написанная четким почерком Бодо, полновластного хозяина отныне: в пансионе фон-Оффенберг есть свободные комнаты. И в углу записки был нарисован знак свастики, чтобы съемщики знали наперед, какие жильцы приятны хозяевам.

Унтиловск.

(Эпизод в четырех действиях).

(Отрывок).

Леонид Леонов.

Действующие лица.

Виктор Григорьевич Буслов, расстрига, опух лицом и оброс волосом, медлителен от непомерной силы своей.

Раиса Сергеевна, его жена, женщина привлекательная, но комнатная.

Павел Сергеич Черваков, унтиловский человечек.

О. Иона Радофиникин, то же самое, но только поп.

Илья Петрович Редкозубов, из мечтателей, и кроме того завецует в Унтиловке потребилкой.

Сергей Аммоныч Манюкин, останок человека. лыс, толст и не без деликатности.

Матушка, Ионина супруга, сорока восьми лет.

Две Агнии, Ионин приплод; вторая посвежее.

Палагея Лукьяновна, нянька, свидетельница Бусловских лет, старушка.

Васка, солдатка, по обстоятельствам вдовства своего промышляющая самогоноварением.

Аполлос, земноводная личность, друг Редкозубова, всегда жует.

Семен, состоит при богослужениях и услужает Ионе.

Александр Гугович, просто интеллигент в очках.

Два мужика, заезжие в Унтиловске.

Бусловское жилище. Два стола, семь табуреток и еще всякое прочее, необходимое в обиходе. В уголке раскрытое пианино с нотной тетрадью, все в пыли. Имеется книжный шкап, на нем разный житейский хлам. Все вещи тут кряжистые и раскорякие, потому что почти самодельные. На диванчике, сделанном из дровяных плах и войлока, прикурнула нянька, спит. За столом Буслов и Черваков играют в шашки. В окнах снег, сумерки.

Явление первое.

Черваков. Дамочку фукнем вашу! Фук, и нет дамочки...

Буслов. А я сюда...

Червакoв. А мы припрем в уголок.

Буслов. Ну-у, вре-ешь. Ускользну!..

Червакoв. От нас нельзя ускользнуть, Виктор Григорьич. Мы всюду, всюду, всюду. Шашечка, она ма-аленькая, а свое дело знает. Однако, что же вы бражкой-то моей пренебрегаете?.. Покупал ее, нес, можно сказать, с опасностью для жизни. Чуть ногу на Мавриной горке не повредил...

Буслов *(наливая)*. А что, скользко нынче? Я в школу не пошел, голову ломит...

Червакoв. Оттепель, Виктор Григорьич, и ветрено. Брызжется нынче погода, и брызга липкая какая-то... Ну, как, нравится?

Буслов. Больно уж сладко. Я сладкого не люблю...

Червакoв. А по-моему божественный напиток! Если б меня назначили, скажем, господом богом, так я бы каждый день тогда...

Буслов. Ты мели хоть шопотом: нянька услышит...

Червакoв. И гонит его, напиток этот, солдатка одна с Коровьей улицы. Этакая смутьянская красавица...

Буслов. Ну-у, вре-ешь!..

Червакoв. Чего же мне врать? Дух захватывает! Так и просится в мыслях: эх, пронзай меня, бессердечный, вдоль и поперек. Да вот видите меня?

Буслов. Вижу, сидит дурак и подмигивает.

Червакoв. Опять ругаться... Дурака-то вы и на порог бы не пустили, а я вот сижу за одним столом и даже выпиваю. Так вот, видите Павла Червакова? Влюблен, как самая последняя тварь влюблен. Да что там... Вот, если проиграете, привожу сегодня на мальчишник солдатку. Идет?

Буслов. Ладно, ладно... Ты мне очков-то не втирай!

(Играют молча.)

Червакoв. Поднажмем.

Буслов. Мимо.

Червакoв. Ну, положим, я мимо не бью. Глядите теперь, как вы проигрываете солдатку. Раз, два, три... Ну, признаете, что полный конец?

Буслов. Нет, я еще с тобой повоюю. Я еще не совсем упал, я еще могу подняться... *(Откидываясь назад.)* Пашка, а ведь ты и в Раиску мою влюблен был, в мою неверную жену...

Червакoв. Был, не отрицаю. Да и теперь еще тлеет уголек. Вам, Виктор Григорьич, любви моей не понять! Вы можете помереть от паралича, а я непременно от разрыва сердца. Я сложнее всех вас... человеков!..

Буслов. Ну-да, насколько внутренность паука сложнее звездной системы... Не в этом, брат, дело. Ты подло был влюблен: ты в любви оправданья себе искал. Ты любил тайно, но уже подползал в открытую.

Ты, Пашка, дрянь, но ты крупная, умная дрянь, с большой буквы. Да не бойся, бить тебя я счас не стану... настроенья нет.

Черваков. Послушайте, миленький. Какого чорта пугаете вы меня звуками своего голоса? *(Меняя тон.)* Вот возьму, да и не обижусь. Настоящую-то любовь нельзя обидеть. Она все простит.

Буслов *(помолчав)*. Пашка, а ты знаешь, какой день сегодня? Забы-ыл? Сегодня шесть, брат, лет, как сбежала Раиска, и ты начал спаивать меня. Шесть унтиловских лет...

Черваков. Ну, и что же?

Буслов. Ты ел меня все эти годы...

Черваков. Хорошего и есть приятно!

Буслов *(бьет смаху кулаком в стол)*. Не шути, ты этим не шути!..

Черваков. Громкий вы человек, Виктор Григорьич. Непременно чем-нибудь тишину нарушите...

Буслов. Жизнь, Пашка, есть постоянное нарушение тишины. Ну, чего отворотился, стыдно стало?..

Черваков. Игру расстроили и шашки все раскидали. *(Шарит под столом.)* А солдатку я все-таки приведу. Эх, прямо хоть донос на вас пиши: бывший, мол, поп, а обучает грядущее поколение... Спичку-то хоть зажгите!

Буслов *(громко)*. Нянька, лампу!..

Нянька *(трет глаза)*. Чего ж это я с сапогами-то завалилась? И сны... все мотаю да мотаю шерсть...

Черваков. Шерсть, Палагея Лукьянна, к счастью...

Нянька. К счастью?.. Да кто ж ты это там, к счастью-то, говоришь?

Черваков. Да это я, Палагея Лукьянна!

Нянька. Да кто ж это ты?..

Черваков. Да это я, Черваков, с почты. Вот, старая, все перезабыла!

Нянька. Во-о, точно ветром выдуло из головы. Ой, да это никак ты? Уйди, уйди, шиш на тебя... Сглазишь еще!

Черваков *(подползши совсем близко)*. Мой глаз, Палагея Лукьянна, не может сглазить. Мой глаз добрый, потому что голубой...

Нянька. Все мутишь, все ползаешь. Гнал бы ты его, Витенька!

Буслов. Ничего... Хвак у меня подох, так пускай он заместо Хвака сидит. Ты, нянюшка, стол прибери да лампу зажги. Придут скоро...

Черваков. Гостей ждут, а вы, старушка, храпите и в ус не дуете. Марш на кухню!

Нянька. Не лай мене, я тебе не мать. Заведи себе дуру с усами, вот тоды и лай... Витенька, да какие ж гости, среда ведь...

Буслов. А Илью-то Петровича пропиваем нынче, и забыла?

Нянька. Ой, Илюшу-то и забыла, забыла совсем. Голова-то с дырками, не держит уж ничего... *(Уходит.)*

Черваков. Заштопать надо!

(Нянька, уходя, сталкивается на пороге с Манюкиным, снимающим рваную ушанку. Ман.: *Доброго здоровья, прелестнейшая!)*

Явление второе.

Манюкин. Бонжур, дорогие товарищи. Что же все двери-то у вас нараспашку?

Буслов. Скрывать нечего, вот и нараспашку.

Черваков. Знаменитому вралю здешних мест и поверженному дворянину!

Манюкин. Не прилипайте, прошу вас. *(Раздеваясь.)* Граждане, ей богу, так нельзя. Илья собирался сегодня раньше времени в потребилке кончить... за ним еще сходить надо, а у вас ничего не готово.

Буслов. Как не готово? Бутыли в углу вон стоят. Пирог будет, оленины жареной кус... Все в порядке.

Манюкин. Ах, Виктор Григорьич. Во всяком деле красота нужна. Красота одухотворяет мир и даже склоняет на подвиг. Пушку, и ту убирают, а тут человек женится. Уж я сам тогда... И прежде всего — лампа! Палагея Лукьянна, лампу...

Явление третье.

Нянька. Лампу, лампу. Лампа не ты, завсегда брехать готов. Ее заправить нужно, карасину надо подлить, в лампу-то.

Манюкин. Очень хорошо. Прелестнейшая, поставьте ее покуда на окно, что ли. Так! Теперь стол. Стол надо вот сюда. Ну-ка, помогите...

Нянька. Пониже, пониже бери, доску-то оторвешь. О, да дайте ка пройти-то. Задавите вы меня совсем со столом-то... *(Ушла.)*

Явление четвертое.

Буслов. Теперь бутыли. Пашка, ставь бутыли на стол.

Манюкин. Да обождите вы с бутылями... Сперва лампу следует нарядить, вот хотя бы абажурчиком. Ничтожнейшая вещь, а ведь способствует. Я ведь, знаете, тоже абажур изобрел, особенного устройства, для ночных занятий. Хотел даже патент заявить...

Черваков *(ехидно)*. А гору Арарат не вы ли, случайно, выдумали?

Манюкин. Имел касание, имел некоторое... Но не прилипайте, прошу вас. Я же могу оскорбить вас... каким-нибудь неподходящим словом.

Черваков. Сергей Аммоныч, — я, конечно, понимаю, ваши предки отечество там спасали... но сами-то вы нынче ссыльный, сиречь этакое рьян с двумя нулями...

Буслов. Пашка, да перестань же, надоело. Сходи-ка вот за Редкозубовым да приведи его... как-нибудь там посмешнее приведи. Да не рассказывай, чтоб... этак, сюрпризом.

Черваков. У меня варежек нет, Виктор Григорьич.

Буслов. Вот чудак! Не на руках же ты побежишь к Илье.

Черваков *(неохотно)*. Склизко, неблагоустроенность. Непременно упаду и проломлю себе голову. *(Проходя возле пианино.)* Пыли-то, Пыли-то. Э, куда ни шло. Кстати уж и солдатку приведу...

Буслов. Пашка, солдатку лучше в другой раз. Пашка...

Манюкин. Кажется, убежал.

Явление пятое.

Нянька *(вносящая тарелки)*. Да он уж убежал, вздeлся в рукава и убежал.

Буслов. Нянюшка, ты потише там. Уж больно гремишь. Лучше вот веток нарви, принеси!

Нянька. Чай, не подушками ворочаю. Опять перепьются, срамов наделают.

Манюкин. Чего это вы все ворчите, прелестнейшая?

Нянька. А вот и ворчу. Какие бог людям фамилие дает: Черваков. Ведь это удавиться от такой. Как отцу-то не совестно было, с таким фамилием детей рожать. *(Ушла.)*

Явление шестое.

(Стены украшены ветвями, бутыль повязана бантом, на бутыль посажен бумажный чортик, стулья переставлены и произведено всякое прочее украшение.)

Манюкин. Тишина-то какая! Кричи, и не услышит никто.

Буслов. Тундра, Сергей Аммоныч.

Манюкин. Да-да... Вот, пятьдесят четыре года существовал на земле, а и не догадывался, что место такое есть, Унтиловск. А ведь тоже люди живут и на двух ногах бегают...

Буслов. Все люди на земле земноногие.

Манюкин. Все приглядываюсь к вам, а разгадать не могу. Вы ведь... простите назойливость мою... из священников?

Буслов. А что, не похож? Поп, был поп, а теперь так, просто Буслов. Слышали что-нибудь? Курите, Сергей Аммоныч!

Манюкин. Не скажу, чтобы очень, но не стану и отрицать. Так, знаете, левым ушком уловил кое-что, а в правое не перепало ни даже вот такой долечки... А табачку, если позволите, я щепоточку и с собой прихвачу. Люблю перед сном закурить. С барских времен укоренилась роскошеская привычка...

Буслов. Ну, какая ж это роскошь!

М а н ю к и н. Виктор Григорьич! да из моего-то положения вот кусочек тепла и то роскошь...

Явление седьмое.

Н я н ь к а *(с блюдом)*. Ну, что, право, за фамилие. Точно обидеть кто хотел. Прошение на высочайшее имя подать, как тут подпишешься? Со стыда сгореть!

Б у с л о в. Нянюшка, да ведь теперь нет высочайших-то. Теперь и ты, и я... вон даже стол, все высочайшие. Нижайших-то нету боле!

Н я н ь к а. Ну, а нет нижайших, так и высочайших у вас нет. *(Ушла.)*

Явление восьмое.

Б у с л о в. Славная старуха, она меня жалеет. О, этот Черваков совсем бы меня одолел. Вот нынче солдатку эту приведет... Все вниз спихивает.

М а н ю к и н. А его, стыдного человека, прогнать бы... Ручкой его, ручкой...

Б у с л о в. Э, разве прогонишь гнилую воду из затонувшего корабля? Унтиловщина, милый друг. Весной — этакий шиш торчит из липких вод, и над шишом туман, и в тумане мы, город ссыльный и заброшенный. Потом лето: дым и гарь. Потом осень: топь и хлябь. Потом опять вот снега... Унтиловск — это оборотная сторона медали. Там безумствуют, нового человека выдумывают, которому новые земли запахать... Мир пугают новыми словами!.. А тут — житие. Чем грозней у них безумства, тем слаще унтиловский самогон. Там у них — орел, а у нас решетка, вот почему-с.

М а н ю к и н. Но, позвольте, почему ж бы вам теперь-то отсюда не уехать? Тем более — супруга вас, если так можно выразиться, покинула-с. Вам бы теперь на высших степенях процветать. Ведь вы же до революции были еще присланы?

Б у с л о в. В Африке слонов вот так же ловят. Подпиливают дерево, пальму там какую-нибудь... А когда слон приходит почесаться — дерево падает, и слон валится на колышки...

(Голос Ионы из кухни: *Их ведь тоже и в ямы ловят, слонов-то.)*

Явление девятое.

Н я н ь к а. Там батюшка пришел.

Б у с л о в. Зови, зови... Пожалуйте, отец Иона!

И о н а. В сугроб счас свалился. *(Отряхивается.)* Выпивать, мошенники, сбираетесь, а меня и не позвали? Ну-к, вот я сам пришел.

Б у с л о в. Вечерок устраиваем, в честь вашего будущего зятя.

И о н а. Женить вас обоих, шельмецов! Ух, женю во тебя. *(Вырывает руку у няньки, которую та не успела поцеловать после благословенья —*

Ну-ка, после доцелуешь!» — и неожиданно тычет ею Буслову в живот.) Ишь, отростил, сидидом этакий.

Б у с л о в. Помилосердствуйте, отец Иона. Стар я жениться, да и сбежала уж одна.

И о н а. Ну, моя не сбежит! Камень, а не девушка. А что не молод, так ведь и Агничка моя выдержанная девушка. К тому же не настойчива, на все согласна. *(Сели.)* Хотя, конешно, девушке и любо об мужчинские усы пощекотаться, а где их ноне найдешь? Хоть за Семена пономаря...

Б у с л о в. Ну, на Илье-то вам повезло, отец Иона.

М а н ю к и н *(деликатно)*. Прекрасный человек!..

И о н а. Попрыгун да выдумщик. Все ему опыт подай. Придет ему в голову опыт, он тебя ночью и чкнет в башку-то.

М а н ю к и н. Это кажный чкнет, если его довести.

И о н а. ...Одну-то выдам, а куда вот вторую, и ума не приложу. У меня ведь обеих Агничками. Сие законом не воспрещено, хоть бы и трех!

Б у с л о в *(посмеиваясь)*. А что, третью ждете?

И о н а. Что ж, я еще в соку. Еще могу восхищаться красотой!.. Третьего дня ко мне жильцы новые приехали. Он-то так, опусканчик такой, а она — завлекательная женщинка. Все хочу упросить, чтобы в хоре пела!..

М а н ю к и н. Тоже для красоты, значит?..

И о н а. Эк, язык-то у тебя вертихвостый какой. Вот за это вас и ссылают к нам. Хорошего человека не сошлют!..

Б у с л о в. Ну, вас уж, отец Иона, никуда не сошлют! *(Наливая.)* Вам полную, что ли?

И о н а *(ласково)*. Не скупись, голубок.

Явление десятое.

(Червяков впихнул солдатку и снова скрылся за дверью.)

В а с к а. Чего ж ты пихаешься-то, паскудень?.. Куды ж это он завлек-то меня? А говорил — на именины. Который у вас хозяин-то?

М а н ю к и н. А вы, красавица, с Павлом Сергеичем, что ли?

В а с к а. Да вот, Червяков-то, прыгает все который. *(Смеясь.)* Ишь чем займаетесь, а я думала и вправду. Ну, чего уставились-то! И ради, что за погляд денег не беру?..

Явление одиннадцатое.

Ч е р в а к о в. Ну, вы уж познакомились тут? Это вот и есть Васка, перл в девяносто шесть градусов.

В а с к а *(скромно)*. Васена... мужа на войне убили... в солдатах. Пожалуйста!

И о н а *(обходя)*. Ишь ты, какая!

Ч е р в а к о в. А вы уж и пьете без меня? Э-эх, товарищи! *(Выглянул за дверь.)* О, пришел, пришел... Ну, приготовьтесь-ка, туш, туш ему.

Сергей Аммоныч, возьмите-ка поднос. Виктор Григорьич, вам... ну, вы уж так, голосом! А вы, батюшка... Что же бы вам такое дать? Эх, жаль...

Васка. Пугать, что ль, хочешь?

Черваков. Нате вам, батюшка, вот это. *(Дает самоварную трубу.)* Ну-ка, посмотрим.. Ого, усы вытирает. Усы-то, усы-то распушил!

Иона *(вертя трубу)*. Что ж я с ней делать-то буду?..

Манюкин. Трубите, отец Иона, трубите.

Иона. Насмешники... сана не уважаете... *(Кидает трубу, и в то же мгновенье —*

Явление двенадцатое.

— вваливается блистающий Редкозубов.)

Черваков *(дирижируя)*. Се-е же-ених гряде-от...

Илья *(ошарашенно)*. Хга!.. Друзья, все друзья. Во, даже в голову вдарило. Трубой-то зачем кидаться?..

Иона. Это не я, Илюша. Это вот все они подстроили.

Буслов. Да ладно! Гряди, гряди... Давай, я обниму тебя, Илья

Илья. Виктор, как я рад... Тестюшка!

Иона. Ты полощи рот-то хоть солью, Илья. Нехорошо...

Илья. А что?

Иона. А ничего. Жених ведь!

Илья. Ух, как я рад! Сергей Аммоныч... Паша, до слез, ей богу. *(На Васку, с изумлением.)* А это?

Черваков. Ты конфеты, что ли, ел? Даже целовать тебя тошно... А это Васка, — помнишь, я тебе рассказывал?

Васка. Все от вдовства моего. Мужа на войне убили...

Буслов. К столу, к столу. Манюкин, приглашай даму...

Манюкин. Дорогое ваше сиятельство!

Васка. Чего ж ты за руку-т мене тащишь? Я и сама сяду. С ангелом-то которого проздравлять, его, что ли?

Манюкин. Вот он, ваше сияьсгво, жених нынче.

Васка. Жени-их?.. *(Хохоча.)* Есть ему, что ли, нечего?

Черваков. Нет, у него вот тут! *(Щелкает себя по лбу.)*

Васка. А, вот оно что! А я думала еще где... А вы ничего, веселые.

Буслов. Мы веселые. Мы, Васена,... такие! Да и ты, вижу, ничего. Статная, круглая...

Васка. Уж и разглядел... Может, замуж меня хочешь взять?

Иона *(скрипуче)*. Виктор Григорьич, вы на скатерть льете.

Илья. Пустяки, солью посыпать... Соль вытравит!

Васка. Ну, *мою* никакая соль не вытравит.

Черваков. Ну, Виктор, буйный ветер, хороша?

Буслов. Эх, Пашка, Пашка...

Манюкин. Здоровье жениха... и за его житейскую исправность!

Илья *(вскакивая)*. Друзья, дозвольте слово. Друзья... вечность мчится промеж нас; кажный миг и кажлый час. *(Смех.)* А что, смешно? Это я счас сам выдумал. Мне и самому смешно...

(Выпили.)

Иона. Погодка-то нынче.

Манюкин. Погода погоде рознь. А снежок я люблю. Восстанавливает к жизни.

Илья. Клюквы даве новой в потребилку привезли. Очень хороша, слаще сахару.

Буслов. После первого морозу она всегда словно бы с сахарком. Ты, ваше сиятельство, что же не пьешь?

Васка. Мы завсегда при этом. Еще подпоите... Клюква, говоришь, хороша? Ты пришли-ка мне пудик, я попробую..

Манюкин. Виктор Григорич, разрешите отсесть. Она мне все в бок да в бок.

Васка. А я думала развлечение тебе, раз баба ластится!

Манюкин. Баба-то не по мужику.

Червяков *(вставая)*. Желаю произнести... Дорогие друзья, там, где мирно ходила всероссийская соха... Нет, я лучше покороче. Унтиловск проспал все это буйное и героическое время. Каждый имеет право спать, когда ему хочется...

Илья. Ура-а...

Иона. Не вопи, не время еще!

Червяков. Но и в Унтиловске выдвинулись замечательные личности. Я имею в виду жену погибшего героя, а именно вот ее, Васку!

Васка. До чего уж хитер. Да брось растекаться-то, я и так знаю..

Червяков. Вино и елей запрещены во всероссийском масштабе, и тогда Васка пошла на помощь тоскующим единоплеменникам. Прадедовское уменье умудрилось опытом последних лет. Уже теперь никакие гобарзаки и рейнвейны не сравнятся с Васкиными изделиями... А в случае вторичного напора, густая унтиловская бражка бурно, как половодная река, выйдет из берегов, заливая города и веси обширной нашей страны. Мой тост — за нее, румяноликую и пышноплечую, оборотную сторону великой нашей эпохи...

Буслов. Злой ты человек, Пашка!

Манюкин. Хорошо еще, никто не слышал, такое бы подумали. .

Васка. А что подумали б? Меня-то похвалил? А рази я плохая... а?

Буслов. Ну, уж тогда и я тост. *(Встал.)* Илья!

Илья *(Ионе, виновато извиняясь)*. ...ей богу же,—ну раз она щипется...

Буслов. Илья, к тебе обращаюсь. Слушай меня, Илья! Я говорить не мастер, но вот, прими то, что умею... Как мороз обжигает листву

и, мертвая, она осыпается на похолодевшую землю, так же вот и женитьба опаляет прекрасную дружбу! *(Общее оживление.)* Ты женишься, и славно делаешь, Илья. Ты здоров, как молодой...

Ч е р в а к о в. ...и животрепещущий...

Б у с л о в. ...как молодой кит. В молодости самое главное в жизни, это, брат, определить, на что ты годен. Иной, скажем, выращивает финики, другой — убивает королей, третий... Третьи просто так, фигурируют в жизни. Я говорю: женись, Илья! Рожай ильят... и славь меня, пропащего Буслова, за добрый совет. И еще клянись нам никогда не заболеть напрасною мечтою...

И л ь я. Да клянусь, клянусь! Что скажешь, то и сделаю... А только ведь я ничего не понял. Жениться мне, или нет?..

В а с к а. Я и то поняла. Ты, говорит, кит... будешь убивать королей.

М а н ю к и н. Да, конечно же, женитесь, женитесь... и побегут от вас сынки.. а из сынков еще сынки, и еще! Эх, целое племя в вас сидит, озорное, веселое племя, а вы и не чувствуете...

И л ь я *(сердито)*. Нет, уж это я чувствую!

(Смех.)

М а н ю к и н. Ну, что ж, соврать вам что-нибудь?

И о н а. Проповедь бы мне написали, уж сколько дён прошу.

М а н ю к и н. Языком, действительно, владаю, а к бумаге у меня дара нет. Ну, про что же бы вам такое? Как я Александра третьего отшлепал, рассказывал я вам?.. Хм, а как я всю Южную Америку в карты выиграл, тоже рассказывал? Вы чему смеетесь, отец Иона? История трагическая!

И о н а. Да как же не смеяться! Вот счас нагородите врак...

М а н ю к и н *(разливая по кружкам)*. Дда... жили в прежние-то времена. Не ропщу и теперь, конечно.

И о н а. Нынче веру потеряли, вертополох людской.

М а н ю к и н. Человек-то ноне не доле башмака держится. А давно ли я юношей гулял... быстроногий, белокурый такой! *(Смахивает якобы слезу.)* Вот только носки и остались от прежней славы. Но такой трикотаж, заметьте. Да вот, не угодно ли?

И л ь я *(щупая)* Да-а, ровно из проволоки... такие без износу.

И о н а. А позвольте и мне. Потолще бы, тогда теплей...

М а н ю к и н. Ну так вот! Заезжаю я раз к Баламут-Потоцкому. Лето, гроза шла. Сидит он этак на терраске, в неглиже, слизывает пенки с варенья, раскладывает пасьянс...

В а с к а. Варенье-то смородиновое?

М а н ю к и н. Чистейший крыжовник! Ну, чмокнулись... Я-то его в грудку, а он меня вот куда-то сюда. Огромнейшего роста человек. Его потом солдаты укокали...

И л ь я. До товарищей, значит, было?

Манюкин. Эге. — «Распросиятельство, говорю, — что-й-то рисунок лица у тебя какой-то синий?» — «Да вот, говорит, беда. Лошадь купил, кобылу, завода Корибут-Дашкевича. Верх совершенства, девяносто верст в час!..» — «А масть? — спрашиваю. — Масти какой?» — «Малинового, — отвечает. — Цвета прелой малины!..» Я так и обомлел. — «Как звать?» — кричу. — «Грибунди, — отвечает, — Грибунди! Дочь знаменитого киргиза Букея, который, помнишь, на всемирной выставке скакал, в Лондоне. Семь кубков за красоту, а медали... медали... Э-э... потом пароходами доставляли». — «В чем же беда, спрашиваю, садовая твоя голова?» — «Да вот, говорит, шесть воскресений усмиряем. В санях объезжать пробовали, — съела! Упряжку и сани — ровно овсеца торбочку!» Меня так в жар и бросает. — «Барабан ты граф, говорю, право барабан. Гляди мне в лицо! Я целый месяц не спал, а вчера сел за стол да и проиграл три мильона...

Илья. Золотом?..

Манюкин. Золотом.

Буслов *(поощрительно усмехаясь)*. А пробы какой?..

Манюкин. Пятьдесят шестой, не подкопаетесь! «Шесть, кричу, мильонов золотом, а разве я плачу? А ты уже и от кобылы сдрюпился. Ты б сам-то попробовал...» — А он только глаза в ответ заводит: «Куды ж мне. Она уж двух жокеев к чортовой матери отправила. Корейцу Андокуте руку съела, а Василью Ефетову... помнишь великана? брюхо вырвала! А я, говорит, все-таки член государственного совета». — «Зубами?» — спрашиваю. «Зубами, отвечает, вдребезги!..» А надо вам сказать, я с тринадцати лет... этово... обожал красивых лошадей и резвых женщин... Тут меня и забрало! Тут уж и разгуделся я. Меня хлебом не корми, а дай усмирить бешеную кобылу. «Давай его, — кричу и пальцем ему все в нос щелкаю, — давай его сюда, Буцефала твоего. Я ему, четырехногому, зададу перцу!» Тот отговаривать: «седел нету, в починке». Жену позвал: «Маша, говорит, посмотри на идиёта, хочет Грибунди усмирять!» Та в обморок. Перешагнул я через нее, пена из меня как из бутылки. Ну, ведут меня под уздцы... э, чорт, под руки ведут, чтоб не сбежал! народу — синедрион! А дело было в Веневской губернии, место равнинное...

Черваков *(со злостью)*. Да такой и губернии-то нету, Сергей Аммоныч.

Манюкин. Э?.. Большевики потом переименовали... Там еще вот так вал татарский идет, а эдак в сторонке кусок Солигамского озера досыхает. Выводят ко мне Грибунди, на арканах... глаза мешковиной обвязаны... А меня чует, дрянь, ржет! Освирепел я вконец. — «Поставь, хриплю, хряпкой ее ко мне!» Поставили. «Подвязывай подушку чересседельником!» Подвязали. «Сдергивай мешковину!!» Сдернули... Эх, думаю, Манюкин, пропадай твоя земная красота. Покрестился я... этово... на образ м-матери... который постоянно ношу в душе... да как прыгну на нее. И платочком, помнится, помахал.

Васка. Брюхо-то в чулане, что ль, оставил?

Червакову. Налейте ему, вишь заходится!

Буслов. Выпей, выпей... укротитель!

Манюкин *(залпом выпив)*. ...Даю шенкеля — ни с места! Сижу, ровно собака на заборе. Хлыста даю, — тормошится ровно старый осел. Всеобщий смех! Тут ка-ак она... *(в отчаянии)*... как она сиганет через сарай, да шесть раз в воздухе и перкувыркнулась. Подушка отвязалась, чресседельник по ногам ее бьет... Беру на повода, хлещу арапником — никакого впечатления. Уши заложила, морду окрысила, хребтом так и поддает! Хм, этак она тебя, думаю, Сергей Манюкин, и без потомства оставит, да... Намотал уздечку на руку, — деготь даже на лайковую перчатку оттекать стал... Ломаю ей правую шею — рьян! Левую ломаю — рьян!! А знавал я жары... Как я на одном ипподроме Забастовщика ломал, семнадцать тыщ в восторг привел! Эдуард седьмой усыновить хотел, да я отбрыкнулся: еще подстрелит какой-нибудь... Ну, закусила скотинка удила и прямо на овец! там как раз стадо паслось. Как копытом ударит, так овца вдребезги... И потом жалкое блеянье это... до слез, ей-богу, растрогался. Тут ка-ак она меня об телеграфный столб... э-э-э... *(Сидит в отупении, щупая самого себя.)*

Васка. Туда-то с платочком, а оттуда небось полпуда в весе потерял!

Манюкин. Полбашки вдребезги... Коллодием заливать было нечего...

Иона. А ну-ка, пощупай ему нос, Илья! Говорят, кто хорошо врет, у того нос гнется. Пощупай! Как же она прыгала у тебя: ведь не блоха!

Васка. Блоха не прыгает, она сигает...

Иона *(упрямо)*. Все равно, кобыла не может сигать.

Буслов. Так ведь это, отец Иона, чорт был, малиновой масти!..

Иона *(досадливо)*. Странные вы люди, Виктор Григорьич. Не можете веселиться без нечистой силы. В который раз спускаете его с уст своих, а промежду прочим принимаете пищу. А он, может, сидит в уголку да и ждет, когда его покличут...

Васка *(оглядываясь)*. Ну, уж и до чертей договорились! Как языки-то не вспотеют.

Черваков *(после минутного молчания)*. А ведь и вправду, иной раз точно в волшебном фонаре живешь, до того смешно. Со мной вот недавно случилось... *(Легкий шум и голоса на кухне. Буслов прислушивается, теряясь в движеньях и меняясь в лице.)* Итак, просыпаюсь намедни, чиркнул спичку... и даже звук у меня из горла вырвался. Сидит у меня на стуле настоящий скелет.

Илья *(захлебываясь от смеха)*. Да ну тебя, ну тебя...

Черваков. Ты погоди руками-то махать!.. Сидит, вместо глаз дырочки, платочком повязан, и даже ушки поверх черепушечки торчат. А в добавление ко всему — в мужских ботинках...

Манюкин *(беспокойно)*. Тут уж спичка догореть должна...

Черваков. Как догорела, я тогда огарочек зажег. — «Ты что?» спрашиваю. — «Давай, говорит, сыграем в шашки». — «Так ведь ты ж,

говорю, покойник... Ты ж, говорю, костяной! Ты имеешь скорее сходство с пуговицей, нежели с живым человеком. С тебя же и взять нечего!» — «Ботики», — говорит, а сам, знаете, смотрит в меня дырочкой...

Васка. Я теперь одна и домой не пойду. До покойников доехали...

Илья. Ой, ой... помру счас...

Буслов *(грузно вставая и все еще прислушиваясь)*. Стоп!! Стоп, я вам сказал. Я... я вам такое счас совру, складней всех... Вот, вот соберусь. Ну, слушайте... Илья, не скалься, не велю!

Илья. Да ну тебя, ну тебя... скелет говоришь? Да ну-у?..

Буслов. Илья!! Вот, допью. Так. *(Сразу охмелев, говорит, сильно разъединяя слова друг от друга.)* Вы — мелочь. Кто вы? Сутулое племя, унтиловцы. А я... вот он я, я еще живой человек. Слушайте! Жил в Питере поп... с католическим пошибом был: в бога верил и ходил украдкой на футбол смотреть. Вот раз выходит от Исакия... митрополичья служба... давка, красные рожи прут. И барышню в дверях сдавили. Он вытащил ее, она говорит мерси. Тут как-то скоро и поженились они... Манюкин, нравится тебе начало?

Манюкин *(игриво)*. Я бы не так... Он бы, скажем, из пожара вытащил ее, и все волосы на нем обгорели. Вот за обезображенность-то она его и полюбила.

Буслов. Ну, в жизни таких пожаров не бывает... А жил человек в Италии, который любил делать скрипки. Амати его звали. Андрей Амати, понятно? Он делал скрипки тонкие и чистого звука. Так вот она — была как скрипки Амати... и звали ее Раиса. Пашка, повтори!

Червaков *(потирая руки)*. Раиса Сергевна...

Иона. Откуда это он?..

Манюкин. Молчите, молчите...

Буслов. Поп этот был... Ах, он был сильный мужик, вот тут, в руках у него сидело! Ему бы леса корчевать, а он кончал духовную академию. Дурак, он верил в истину, в небесную правду веровал. Какая дрянь скажет мне, что она имеет небесную правду?.. Да-а... А тут убили одну отъевшуюся дрянь: не-то адъютант величества, не-то... Все равно, гадину никакими златыми эполетами не прикроешь! Так вот, поп этот отслужил панихиду по убийце, по студентике! По убийце, понятно?.. И приглашения послал всему синклиту. Первоприсутствующему в том числе!!

Иона. Во, смелость. Даже в спине зачесалось...

Буслов. Ну, ясно, синод взыграл... как четыре маленьких собачки. *(Громче и пьянее.)* Ну, ясно, расстригли попа. Поп пошел к архиерею объясняться... Плешивый старичок, слыл за утопическую доброту. О-он еще верил в бога, этот дурашливый поп. Они говорили о смирении. И плешивый сказал: «Если вселенские патриархи прикажут сжечь евангелье — сожгу!» Тогда я плюнул ему в бороду и сказал: вытри, хочу еще раз плюнуть... *(Утеряв равновесие, Буслов ударяет рукой по тарелке, и вся подливка остается в его бороде. Отстранив друзей, он продолжает.)* Старик был добр, но на попа донес. Тогда попа сослали. Не в монастырь,

не-ет. А в этакую зыбную червоточину... В Унтиловск, на пожрание дрянью сослали его!

Иона. Кто бы это мог быть? Вот загадал загадку...

Буслов. ...Раиса бросила консерваторию и поехала с ним... *(с насмешливым пафосом)* своею нежной лаской приукрашать его безрадостные дни. Ну, что ж! Обучилась печь пирожки, запекать оленину в сухарях... Но скрипка-то играла все слабей, точно повисела в сырости. Поп со ссыльными не сходился, но однажды пришел один за книжкой и остался на пирожки. С тех пор звали мы его Гугой, и ели пирожки втроем. Я дрова уходил колоть, пока он ей там расписывал, каким манером должен мир процвесть. Чудак, сам даже угля тлеющего не имея, пытался весь мир зажечь. Жук, ублюдок жука, такие в мебели живут, с усами... Эх, не скалься, Илья! Тут про жизнь человека идет... не скалься!!

Манюкин *(в ужасе)*. Так ведь это вы про себя рассказываете?..

Буслов. ...и вдруг ей надоело печь пирожки. Сидели без пирожков. А раз вечер был. Она сидела у меня на коленях... я нянчил ее, строил ей козу-дерезу. Вдруг говорит и глазом в меня смотрит: «Какие чудные сны, Витя бывают. Знаешь, мне приснилось, будто я с Гугой...» В окне снег шел. Я спросил ее: «И что же, приятно тебе было?..» — «Представь себе, да», — говорит.

Черваков. Довольно, довольно... уж и так далеко, Виктор Григорьич!

Буслов *(переходит к пианино)*. Они сидели там, сговаривались, а я вот так, подбирал чижика одним пальцем... Вы мелочь, вот я ковыряю вас словами, и вы безмолвствуете!.. Васка, поди, обними меня... Пожалей, Васка, Виктора Буслова.

Васка. Пропащая я, что ли, на людях-то?.. Погоди, пожалею ужо.

Буслов *(смаху бьет по клавишам, суматоха)*. Шесть лет стоишь, молчи-ишь? *(Переполох и суматоха.)*

Манюкин. Все струны к чорту...

Илья. Воды, воды...

(Все стоят, сидит один Буслов, Черваков выжидательно улыбается. Никто, кроме Буслова, не замечает появления няньки.)

Явление тринадцатое.

Нянька. Витечка!.. Ох, старым-то глазам только бы плакать. Витечка, ведь Рая приехала... Набуздался! Раечка, погляди, какой стал. Поди сюда, Раечка! *(Раиса в дверях.)*

Явление четырнадцатое.

Манюкин. Скандал! Ведь она же все слышала...

Черваков. Просят тишины. Представление начинается...

Иона. Голубушка моя, а мы-то чревоугодничаем тут. Да как же вас собаки-то не загрызли? Полно у нас собак. Иные по семь штук держат,

Прихожанку намедни одну, старушку... Да входите же, дозвольте шубку!

Илья *(мрачно)*. Запахните рясу, у вас оттуда белое лезет.

Иона. Вот праздник счастья! Знакомьтеся, знакомьтеся. Это Паша Черваков, лобастый человек, мыслитель. У нас как годик поживут, так сразу в мыслители. А это Витенька, македонский буян, не во благообразии. А это зятек Илюша... шаркни ножкой... потребилкой заведует, двадцатого июля именины празднует.

Илья *(манерно)*. Редкозубов. Из Курска родом.

Иона. А это смешной человек Манюкин. А это... *(Васке)* уж как и назвать тебя, не знаю. Спрячься... или, еще лучше, вон ступай. Ступай, голубушка!

Буслов. Э-эй, не гони ее... она... званая гостья!

Раиса. Я очень растеряна... я не знала, что попаду так не вовремя. Но я не надолго. Я уйду скоро...

Илья. Нет, зачем же. Мы вот и дверки прикроем!

Нянька. Раечка, не уходи. Посиди с ним, Раечка. Только тебя одну и поминал тут.

Раиса. Ну... здравствуйте, здравствуйте... *(Быстро перешла к Буслову.)* Ну, здравствуй, Витя. Вот мы и опять свиделись с тобою.

Нянька. Да встань, встань... ровно пришитый сидишь.

Раиса. Ты не рад меня видеть, Витя. Или ты не видишь меня?..

Черваков. Рад, сударыня, ей богу рад. Посмотрите с лицом-то выделывает, точно на гармошке играет!

Раиса. Зачем ты молчишь?.. Ты знал, что я подслушивала тебя? Витя... да Витя же! Что с ним?..

Нянька *(просовываясь между ними, плача)*. Старенькие... совсем мы старички стали. Собачку-то помнишь, Раечка? Хвачек, Хвак, которого Витечка плясать-то учил? Помер, помер Хвачек. Лег в уголке, на половичок, и помер... Витечка, опомнись, ведь это Раечка. Раскрой глазики-то! Вот тут она стоит, живенькая!..

Буслов *(силясь встать)*. Ну, здравствуй... Я, видишь, пьян. Но это ничего не значит. Я все... разумею. У меня только вот ноги...

Илья *(хмуро)*. Это действительно. У него хмель рассудка не отшибает.

Буслов. Постой, как же это все случилось?.. У меня в голове неясно, прости! видишь... как ты попала? у меня гости... друзья... *(Вдруг.)* Ембаргирьгирьгам.

Черваков. Сергей Аммоныч, спасайте же положение!..

Манюкин. Да, придется... Мадам, имя ваше, извиняюсь, уже упоминалось прискорбно в нелепом этом сборище. Но... простите великодушно, забыл. Хотя и существую, но после революции напоминаю решето.

Раиса. Вы тоже друг Виктора?..

Манюкин. Не удостоен... я — Манюкин просто. В прежние времена звания мои не умещались на визитной карточке... *(Червакову.)*

Да не дергайте же меня, он и так весь проштопан... А теперь вовсе не имею визитных: как-то помещать нечего. Ничего не осталось. Смейтесь на здоровье! Смех способствует...

Ч е р в а к о в. ...пищеваренью.

М а н ю к и н. Не пищеваренью, стыдный вы человек, а примиренью. Вот этот человек — жених! Подарите ему одну улыбку вместо поздравительного букета.

Р а и с а *(Илье)*. Вы?..

И л ь я. Я!

И о н а. К столу ее, к столу. Наливайте, Сергей Аммоныч...

В а с к а. Ты мне-то не наливай. Вон ей налей, она с мороза, озябла поди...

М а н ю к и н. Виктор Григорьич, унтиловочки налить? Эх, уж больно происшествьице-то торжественное. Желаю тост!.. Закройте дверь, дует. Откровенность... *(Чихает.)* Извиняюсь, сорвалось: волнуюсь... Откровенность всегда была украшением истого славянина. Сколько раз мы открывались всякому, кто только не признавался сразу, что он прохвост. Э, виноват, я кажется, не туда заехал. О, славянин Виктор Буслов, мы любим и ласкаем тебя! Мы рады присутствовать при возвращении твоей жены, разрываемой поздним, но плодотворным раскаяньем на части. *(Увлекаясь.)* То случилось раннею порой, когда бушует ветреная младость, коей и незрелые плоды слаще сладких плодов осени! Бушуй, младость, бушуй... К тому же непорочная-то любовь всегда непрочная, а с изъянцем крепче! Так говаривал, бывало, Васька Пылеев, друг давней юности моей. Мухобой, арап был, но р-рыцарь чистейшего мальтийского ордена. Раз приходит он ко мне под вечер...

И о н а. Ну-ну...

Р а и с а *(встала)*. Простите... мне стыдно перебивать вас, но вы неверно истолковываете мой приход сюда. Я приехала в Унтиловск с мужем. Он ссыльный... *(Буслов встает и снова садится.)* А сюда я пришла помириться с Витей... Витя, если ты хороший, так ведь и я не такая уж плохая...

М а н ю к и н. Вот это называется обмишулиться!

(Буслов встал и пошел к выходу.)

Р а и с а. Витя, куда же ты?.. Что с тобой, Витя?

М а н ю к и н. Чрезмерно страдает, мадам...

Ч е р в а к о в. ...от переполнения желудка.

Б у с л о в. Ка-ак?... *(В гневе.)* Ах, ты...

В а с к а. Не трожь его. По телу и удар! Ты его тронешь, так что от него останется? Ударь меня, коли душа требует, а я тебе отвечу.

Б у с л о в. Васка, пусти... не загораживай.. Васка, душа болит... Ломит ее, Васка!

В а с к а. От силы ломит... Ну, чего вытаращился? Шесть лет, говоришь, силу копил, да хочешь ее за один час вымотать? Эх, парень... глу-упай!

Черваков. Виктор Григорьич, дозвольте вылезть. С языка сорвалось...

Буслов. Так вот ты какая... *(Глядит ей в лицо.)*

Васка. Какая ж я?..

Буслов. А вот такая...

Раиса. Ах, да-а... У вас сегодня мальчишник, значит. Так вы простите, что я так... ворвалась к вам. *(Уходит с величайшей неловкостью.)*

Явление пятнадцатое.

Нянька *(с самоваром)*. Вот и самоварчик тем временем поспел! Да куда ж ты, Раечка? Раечка...

Занавес.

Оазис Шехр-и-Себе.

Рассказ.

Всеволод Иванов.

У Али-Абкыра, торговца виноградом из кишлака Шехр-и-Себе, заболела оспой жена Джаланум. Она металась по ковру, мяла тонкими, когда-то очень сильными пальцами, подушки, украшенные московскими ситцами; ее черные и страшные, как ночная вода, глаза, казалось, выцвели от боли, — и ни одного вопля не упало с ее губ, словно она хотела скрыть утраченную красоту пухлого и розового рта. И Али-Абкыр молча сидел перед нею. Перед ним на стене висело на деревянном крюке седло: громадный лист винограда прилип к стремени, вот уже сколько дней со злостью смотрел Али-Абкыр на этот лист и не было силы легкой хозяйственной рукой смахнуть этот широкий, необычайно, как лопух, широкий лист. Собой Али-Абкыр был рослый, высоконосый, красивый, с бородой, крашеной по-персидски хной — и с крепкими усами, тоже крашеными. От обилия краски на лице его карие с золотом глаза казались ласковыми, длинными. За жену пять лет тому назад, во время голода и войн, он заплатил большой калым и не фальшивыми, николаевскими бумажками, а скотом, — и скот до сих пор обогащал его тестя. Поэтому Али-Абкыру жалко было терять жену и еще жальче было потому, что во время войн много красивых женщин повымерло или же увезено в Афганистан. Теперь хорошую жену найти трудно, — молодежь растет тонкогрудая и тонкозадая.

И Али-Абкыр, подумав так, сразу же призвал к больной местного святого Хуссейна. И не успел Хуссейн затянуть на животе ошкур штанов и взять из угла длинную палку, как Али-Абкыр накинул на коня седло, — широкий виноградный лист обвился вкруг тонкого сапога: Али-Абкыр помчался за фельдшером. Фельдшер был русский, Герасимов по фамилии, а держал себя словно святой, бормотал под нос непутные слова, сбирался медленно, нехотя, а может быть боялся оспы. Приехав, фельдшер потребовал, чтоб Джаланум скинула покрывала. Али-Абкыру жаль было ее лица и он пообещал фельдшеру барана. Тогда фельдшер пощупал ее руку и ворчливо сказал: «Кризис прошел. Выживет». А еще раньше фельдшера почти то же самое сказал святой Хуссейн и Али-Абкыру жаль было себя, жалко своих хлопот, трат и он выбрал фельдшеру самого тощего барана

и чай в угощенье заварил наивозможно жидкий. Однако, несмотря на умные слова двух сведущих людей, Джаланум, мечась по ковру, начала стонать; она раскрыла остатки некогда расточительного на любовь рта, она кричала пять суток и утром, на шестой рассвет умерла.

Тело ее быстро отнесли к могиле, посадили — ждать нового счастья; засыпали глаза ее, ее рот и маленькие, пухлые, как губы, ноги, — песком. И Али-Абкыр остался один. Мимо кладбища пролегала дорога в пустыню. Шел караван. Впереди на маленьком ослике, низко свесив свои босые ноги, сидел каравановожатый, седой текинец. К его седлу на волосяном аркане был привязан первый верблюд, к первому — второй; верблюды шли так тихо, что слышен был шелест то опускающихся, то натягивающихся арканов. Текинец ехал сосредоточенный, спокойный и длинная палка, знак его власти, чуть вздрагивала в его руке. Медленно, друг за другом, то взбираясь на песчаные холмы, то пропадая в котловинах, то вытягиваясь в струнку, то образуя ломаную линию по извилистой дороге, верблюды уходили в пустыню. Было совсем безветренно. Караван оставлял за собой следы верблюжьих ног, но тотчас же след заплывал. На вершинах холмов желтела легкая дымка — это был песок, поднимаемый вечным дыханием пустыни. Увидав эту желтую дымку — словно холмы шевелили ресницами — Али-Абкыр дотронулся до своего тела в том месте, где сочилось тоскою сердце — и этими же пальцами шевельнул песок могилы.

Поспевал виноград и крестьяне-виноградари пришли вечером узнать, скоро ли Али-Абкыр поедет в город, чтобы справиться о ценах. Говорить им приходилось издалека, о пустяках — лишь бы Али-Абкыр не подумал, что им нужны деньги и нужно спешить с продажей винограда. Такие разговоры повторялись каждый год и ни Али-Абкыр, ни крестьяне не замечали этого. Лампа горела тускло: после смерти жены некому было почистить пузырь, в комнате пахло керосином и жирные — медного цвета — мухи медленно кружились над низким, круглым столом. Чай пили, держа чашку за край донышка, и после каждого глотка громко крякали. И вот, впервые за всю свою жизнь, Али-Абкыр громко сказал, что святого Хуссейна нет, есть вор и обманщик Хуссейн, вор и обманщик, хотя он и хорошо знает все обычаи и законы бога. Крестьяне допили шестую чашку, крякнули. Али-Абкыру они не поверили, но спорить не стали. Тогда Али-Абкыр поднял палец вровень с крашеной своей бородой и торжественно проговорил:

— Когда у вас умрет еще пять человек и про каждого Хуссейн будет говорить, что выживет, и слова его будут за пять дней до смерти, — вы не будете молчать, как молчите сейчас...

И вот случилось так, как сказал Али-Абкыр. Умерло еще пять человек, хотя Хуссейн и говорил, что они выздоровеют. И все-таки крестьяне не верили Али-Абкыру.

Виноград созревал, кожура его подернулась мглой, листья его приобрели цвет крови — и в жилах Али-Абкыра созрел виноград желаний,

Ему требовалась крепкая жена, ковры его дома готовы были освежить ее тело и подушки ждали ее усталую голову. Хотя новые законы запрещают калым, все ж для приобретения крепкой жены нужно много денег, — и Али-Абкыр часто посещал город.

Виноград созревал, но вода в арыке-канале Кочик падала, словно виноград выпивал ее, хмелел и красные листья его буйно танцовали по полям. Проходящие в Бухару странники из-под Заравшанских гор сказали, что снега в горах все стаяли и едва ли можно ждать осенью разлива воды. И тогда крестьяне, все еще не верившие Али-Абкыру, и все еще молча слушавшие его бранные речи, — пришли к мечети и попросили святого сотворить молитву. Хуссейну недужилось в последнее время и многие, недостойные его (так он думал) мысли тревожили его сон. Он честно, по всем известным законам бога, прожил положенные ему года и с гордостью ждал смерти и рая, так как сам себя считал святым. Ему было обидно видеть, что крестьяне верят ему меньше и их приношения убавились. Ему не нужны были приношения — многое из приносимого он раздавал, но ему было обидно за крестьян, грешивших перед богом. И он сурово ответил крестьянам, что будет молиться и надеется, что Аллах услышит его молитву: вода прибудет и оспа прекратится. Оспа, правда, давно ушла, но крестьяне не возразили ему. Они гурьбой подошли к циновкам, устилавшим пол мечети, и сняли стоптанные и рваные сапоги. Служка при мечети, внучек святого, румяный Алимбай, поставил сапоги в ряд, носками прочь от циновок. Святой Хуссейн встал на ковер, впереди своего стада; крестьяне выстроились в три ряда. За ними за перегородкой, состоящей из натянутого между двумя высокими стульями грязного полотнища, — стояли женщины. Лампа из угла освещала только длинную и сухую спину Хуссейна — его лицо и голос, казалось, ушли в стены — и крестьяне разом подхватывали его мольбы и разом клали поклоны неустанному водителю полчищ через пески пустынь и через страдания тела и сердца. Перед каждым из них лежал камушек — кладя поклон, они касались его лбом и скоро их тоска и их пот отразили в этих камушках желтый язык лампы.

Кроме этой общей молитвы, Хуссейн молился всю ночь и еще половину длинного и жаркого дня. Он упал от изнеможения и служка Алимбай почтительно увел его к его тощей, набитой соломой подушке. И во сне Хуссейну виделась молитва в огромном храме — и голос его, достигая до облаков, спорил с богом. Отдохнув, гордый божественным сном, Хуссейн вновь ушел молиться, — но молитвы его были бесплодны, так как вода в арыке продолжала убывать и деревья оазиса Шехр-и-Себе поблекли нижними своими ветвями.

В те дни Али-Абкыр подыскал в соседнем кишлаке Учим невесту именем Идрис, и по красоте своей способной превысить красоту Джаланум. Калым за нее просили большой и, как Али-Абкыр ни торговался, будущий тесть не только не уступал, но грозил еще прибавить. Деньги доставались с большим трудом, винограду в этом году уродилось много —

цена на него падала, скупать виноград было опасно. Али-Абкыру думалось, что если б Хуссейн хотел, он мог бы сходить в кишлак Учим к родным Идрис и упросить их уменьшить калым. Но Хуссейн — тунеядец, негодяй и вор, — умел только тянуть с вершины глинобитного минарета ненужные ни богу, ни людям молитвы. Али-Абкыр быстро научился говорить те богохульные слова, что теперь часто услышишь в городе, — и ему казалось, что теперь он знает не меньше Хуссейна и если б не виноград и не заботы о новой жене, ему б ничего не стоило превратиться самому в святого. Но Хуссейн, видимо, и сам чувствовал себя тунеядцем: на вопросы крестьян он отвечал угрюмо, и сухой, и длинный, в грязной чалме, не умея склонить привыкшую к гордости голову, проходил улицей — и не в тени, как прочие люди, а солнцем, словно ему мало было того жара, что жег его душу.

Однажды вечером, когда в виноградниках, неподалеку от арыка, пало три вола и один из них принадлежал Али-Абкыру, — Али-Абкыр заявил, что тунеядца и обманщика, святого Хуссейна, надо отвезти в город и судить по московским законам. Крестьяне, как всегда, покачали головами, и нельзя было понять, согласны они со словами Али-Абкыра или нет. Веранда была обвита виноградом. Солнце сбиралось уходить и тени от гроздьев синими пятнами сияли на огненно-желтых бородах стариков. Чтоб разобраться в том, что думали крестьяне, Али Абкыр соврал:

— Лучше и почетнее отвезти самим, а то придут пять милиционеров и заберут святого.

— Так, — ответили ему старики, — правильно.

И они с тоской оглядели пыльный, сухой двор; арбу, остовом своим похожую на челнок; бурую глину стен, которую даже солнце не смогло окрасить в подобающие своему уходу цвета. Позже крестьяне пошли к Хуссейну и святой, глядя поверх тополей в темное, пышущее дневным зноем небо, проговорил:

— Я уже стар и, видно, много нагрешил и бог не принимает мои молитвы. В соседнем кишлаке Учим у меня родственники и я уйду умирать туда.

А ночью, совсем поздно, Али-Абкыр сказал крестьянам:

— Вы слышали разговор этого собаки и вора. Он врет от начала до конца, как врал всю свою жизнь. В кишлаке Учим у него столько же родственников, сколько у меня теперь жен. И разве кишлаку Учим мало своей могилы святого Изъямина-Асалата-Будакчи и разве из-за этой могилы плодородие покидало когда-нибудь поля кишлака Учим? Из-за этой могилы кишлачники Учима стали самоуверенны и жадны, как волки. А какие святые могилы имеем мы? Сколько их у нас?

И старики пустыми глазами посмотрели на метающиеся сильные руки Али-Абкыра. В пустыне выли шакалы; огромная луна заняла полнеба. Сухим шелестом бежали вдоль арыка умирающие тополя. Крестьяне долго стояли у арыка, неподвижно слушая вой шакала, и один из них сказал: «На луну воет, — к смерти». Все припомнили такую примету

и все ей поверили. Потом Али-Абкыр пошел к Хуссейну — и они низко поклонились друг другу. Кланяясь, Али-Абкыр вспомнил свое красноречие, приобретенное им в городе, и спросил витиевато, — правда ли, что святой Хуссейн желает отсутствием своей святой могилы лишить божеского плодородия кишлак Шехр-и-Себе и уйти в кишлак Учим, — и если желает, то почему. Все у Али-Абкыра было необычайно ласково и даже всегда мятущиеся руки его смиренно лежали на животе. Но, поймав под его тугими бровями неподвижные и с какой-то чужой слезой глаза, — святой Хуссейн пощупал свое сердце и растерянно ответил, что он передумал и остается у себя на родине и могила его, если бог удостоит, будет во все века прославлять кишлак Шехр-и-Себе.

— Седые ресницы твои благословенны и украшающая сердце тишина исходит от них, — смиренно сказал Али-Абкыр.

Но по голосу и по тому, как смотрел святой Хуссейн на длинный двор мечети, — Али-Абкыр понял, что этой же ночью сбежит святой Хуссейн из кишлака Шехр-и-Себе в кишлак Учим и будет там до конца своих дней проклинать нечестивых и нерадивых соотечественников. И, подумав так, Али-Абкыр испугался, — и опять низко поклонились они друг другу.

И вот, наконец, Али-Абкыр услышал из рта крестьян слова, доставившие ему много радости, — и Али-Абкыр ниже, как и подобает истинному мудрецу, — ниже, чем всегда, поклонился крестьянам. И тогда они толпой пошли к мечети и долго неподалеку тихо стояли — и стены дома, казалось, не охлаждались, а накалялись еще больше. Сухой и быстрый рассвет ударил в тополя, стоявшие подле мечети. Вдруг раскрылась тихо калитка. Али-Абкыр быстро начал локтями толкать крестьян. Служка святого, румяный Алимбай вывел оседланного коня, а за ним показался Хуссейн. Лицо — от рассвета — было у него розовое, но усталое, скучное и, видимо, ему не хотелось покидать и своего ложа и тихого сумрака мечети, к которому он так привык. Служка протянул-было святому стремя, и святой поднял худую, длинную ногу, — но здесь из-за тополей тихо вышел Али-Абкыр и суковатой большой палкой ударил Хуссейна в затылок (еще раньше дабы не было крови, Али-Абкыр обмотал конец палки тряпками). Служка, выпустив повод, с воем побежал в мечеть, один из крестьян пошел его уговаривать, а другие ловили лошадь святого. Когда крестьяне собрались, Али-Абкыр уже снимал с лица святого халат, которым он зажимал Хуссейну рот до тех пор, пока не остановилось сердце. И вот Хуссейн вернулся на свое ложе мертвым. Его обрядили в лучшее платье и собрали лучших плакальщиц. Потом из соседних селений на похороны святого Хуссейна стал сбираться народ и многие завидовали кишлаку Шехр-и-Себе, приобретшему святую могилу, и только люди из кишлака Учим сомневались в святости Хуссейна, но им никто не верил. Затем Хуссейна закопали на том же кладбище, где Али-Абкыр не так давно похоронил свою жену Джаланум. И вот караван, возвращающийся из пустыни, остановился подле кладбища. Верблюды

легли отдыхать, а каравановожатый, седой текинец, слез со своего осла и сотворил молитву.

В городе неожиданно поднялась цена на виноград: понадобилось много высококолесых арб. Снега в Заравшанских горах стали таять — и вода в арыке Кочик поднялась на нужную для счастья высоту. Плодородие и тишина спустились в оазис Шехр-и-Себе. И вот, в свое время, посетило счастье и Али-Абкыра: он, с великой выгодой продав виноград, ввел в свой дом новую жену Идрис, красотой и полногрудием превосходящую несравненную Джаланум. В ограде он устроил пир «той» — гостям было зарезано четыре барана и жеребенок. Захожий певец пел песни о счастьи и любви богатырей и шопотом сказал юной жене своей Али-Абкыр:

— Я украшу твою грудь монетами и счастьем, как великий и добрый богатырь в песне...

И грудь Идрис содрогнулась и сердце ее заболело неиспытанными страстями. На другой день, — для счастья и плодородия, — Али-Абкыр повел свою жену Идрис на могилу святого Хуссейна. Был на ней невысокий, четырехугольный, без крыши, памятник; сбоку незатейливая надпись, взывающая к людям о тишине и смирении. Ленты материй, приношения валялись подле. Идрис, прикрыв шелковой черной чадрой угол памятника, смиренно молилась о счастьи и долгой жизни, а Али-Абкыр стоял рядом, высокий, гордый и красивый и белые ногти его лежали на крашеной бороде. Опять мимо кладбища шел караван в пустыню. От верблюдов, как всегда, оставались широкие следы, но тотчас же песок засасывал их. Желтое дыханье пустыни подымалось над далекими холмами.

И вот Али-Абкыр опустился подле жены своей Идрис и всеми прекрасными словами, которыми только обладала его душа, поблагодарил бога и его святых за ту милость, что сошла на его дом. Затем он поднялся, вернулся в свой дом — и лежал на коврах три дня и три ночи, наслаждаясь женой и своей силой. И, приняв от жены восхищение и радостные слезы, — он поднялся, совершил омовение, расчесал бороду и вышел на солнце, дабы исполнить обычную свою работу.

Сын ахуна.

Георгий Никифоров.

Степи полынные, горы седые, камни серые. Время идет — аргамак по степи мчит, ахун [1]) Расюлев стареет. Третьей жене его, красавице Зейнап, тридцать восемь лет, лицо ее — опавший в осеннюю пору кленовый лист; в глазах расплылась мутная синева. Замечает ахун — блекнет его утеха, на себя поглядит в чистые воды озера Мулдакай, видит бороду желтую.

Возвращается ахун домой после вечерней молитвы, и все ему новым кажется: выскочила около дороги из-под камней березка милая такая, беззащитная, листья на ней, как слезы зеленые, по стволу девичий румянец еще не закрылся корой. Подойдет ахун, сорвет осторожно листик, разотрет его между шершавых ладоней, поднесет близко к лицу, вдохнет ядреный запах и почувствует праздник жизни — внизу озеро глубокое и черное, как щель пропасти, кругом камыши метелками играют. Вверху, по горам, между камней текут красные лучи солнца, и тихо все, — так тихо, полевую мышь слышно...

Тогда скажет ахун Расюлев, коснувшись рукой березы:

— Расти под небесами во славу Аллаха.

Опустит глаза, видит, мочалится по груди длинная борода.

Развернулось село Байрангулово на две версты, огибая крутой берег котловины озера, надвинулись позади села горы с широкими зубьями выветренных камней, и башкирские хатки похожи издали на разбежавшихся под горку золотокудрых овец.

Опираясь на посох, идет ахун, и качается над плечами его широкий круг чалмы. Юркая дорога в две колеи бежит перед ним, изгибается, заглядывая в переулки, ползет вверх к огородам, падает вниз и ластится к пенистым берегам воды. Все видит ахун и все принимает большим сердцем.

Солнце из-за горы ударило в небо, облака диковинные, невиданные звери, большеголовые и хвостатые, они тяжело передвигаются, волокут лохматые туши и кажутся живыми. Под горой от села ложится теплая

---

[1]) Мусульманский поп — благочинный.

и мягкая тень, тень захватила половину озера, в том же краю, где виден противоположный берег, висит красное небо, уронив одну половину на дно. И слышит ахун, как дышит жизнь. Разнеженная солнцем придорожная полынь чадит пряным запахом устали.

Много хочется ахуну сказать, но радость его далеко в сердце.

Так идет он с полным сердцем, ему уступают дорогу взрослые, останавливаются женщины, укрывая платком свое лицо, дожидаясь, когда пройдет он, не смея пересечь ему дорогу. Только дети, крикливые и бойкие, с любопытством новорожденных телят, глазами черными, как пережженный крупный орех, смеют глядеть на него, догонять и перегонять. Тогда говорит он, задерживая медлительный шаг, положив руку на голову первого из детей:

— Живи на земле во славу Аллаха, сын мой.

Так говорил всегда от великой любви своей и человеку, и камню и растениям.

Опустились годы большой тяжестью на широкие плечи ахуна, накопились годы в семь десятилетий, стареет ахун, и нельзя годы перебросить назад.

Размывает камни дождь, распыляет ветер, источает дерево гниль. Приходит и уходит человек. Устает на молитвах ахун, чувствуется тяжесть собственных плеч, и все круче изгибается спина.

* * *

Клонится под ветром ковыль в степи, тоскует о сыне жена ахуна, Зейнап, и всегда говорит, встречая мужа:

— Ты забыл о нем, позови его.

Видит ахун, мечется в глазах ее материнская печаль.

По железной дороге, что бежит за горой, уехал сын Нигамат учиться в далекий город — Казань.

Годы валятся за горы, выцвели молодые глаза Зейнап в слезах о сыне. В первый раз услыхал ахун тревогу в сердце, подсчитал зимы, видит лишку прожил сын на чужих людях и пора ему вернуться домой.

— Богу отдай печаль свою, Зейнап, — сказал ахун, — скоро возвратится сын, скоро будешь ты готовить бишь-бармак [1]), чтобы накормить бедняков села в день нашей радости.

— О, скоро ли? — вздыхает Зейнап. — Этой весной ждала.

Молчит ахун, собираясь на молитву, и, выйдя на дорогу к мечети, сразу забывает обо всем.

Стынет над озером розовый туман, звонко ржут табуны доеных кобылиц в лугах, омываются утренней росой сочные травы. Непонятен ахуну сын его Нигамат.

— Хорошо на твоей родине, — шепчет ахун, — чем прельстил тебя суетный город, что не едешь ты?

* * *

[1]) Кушанье. Собственно пять пальцев.

Еще прошло два года, ниже упала борода ахуна, суше щеки Зейнап, нет от сына вестей.

Думает ахун: стар становлюсь я, позову сына. И, придя домой, написал письмо ему.

«Благословенно имя Аллаха!

Уходят дни мои, слабнет слух, запорошили годы зрение, и не слышны стали молитвы мои по слабости моей.

Приезжай, Нигамат, встать на мое место перед лицом Аллаха, чтобы видел он мою покорность перед его всемогущей силой и услышал голос твой в продолжении молитвы моей».

Ахун кончил писать и, пройдя к жене, прочитал ей письмо.

— Прибавь еще, что тоскует о нем его старая инэй [1]).

— Старая, — повторил ахун. — Короток век женщины. Твоему сыну исполнилось двадцать четыре года, и свою материнскую любовь ты отдашь ему, пусть это будет твоей второй радостью после меня.

Он заглянул ей в глаза и тихую слезу осушил бородой, прикоснувшись к щеке зачерствелыми губами.

Ахун вышел.

Во дворе, прилаживая новую ось к телеге, тесал топором работник Мифтахетдин — отставной солдат. Работник знал ахуна давно, привык видеть его каждый день, для него этот человек мудрости был просто человеком, от которого в жаркие дни так же пахнет потом, как и от других знакомых Мифтахетдину башкир.

«Святой человек, — думал работник. — Сорок дойных кобылиц, двести баранов, десять коров, сто десятин лугов, сладость трех жен. Аллах! Устрой мне половину».

— Мифтах, — сказал ахун, подойдя к работнику и прикасаясь рукой к плечу, — Мифтах, ты знаешь города, старый солдат? Вот письмо, поезжай в Казань к сыну, найди его и скажи: «Отец ждет тебя в своем доме, плачет сердце матери»...

— Казань! Ой, Казань! Хороший город — тюрӗ [2]). — Мифтахетдин врубил топор, щелкнул языком и развел глаза в разные стороны от большого удовольствия. — Зачем ехать из города? Совсем хороший город!

— Мифтахетдин! — строго выговорил ахун.— На плечах твоих голова барана, ты должен сказать сыну, — наука его нужна земле его и Аллаху для прославления.

— Понимаю, — говорил Мифтахетдин, усаживаясь в вагон к вечеру другого дня, — понимаю: сорок дойных кобылиц, двести баранов, десять

---

[1]) Инэй — мать.

[2]) Тюрӗ — начальник — господин.

коров, сто десятин лугов. — Мифтахетдин, облезлая собака, тебе это передать надо? Чтобы пил ты кумыс всю жизнь, ел бишь-бармак. Ай, ай! За это любой город сменяю я, потому что можно платить калым [1]) сразу за четыре жены, купить шесть перин, много почету и даже поставить новую баню...

* * *

Шаги ахуна торопливые, слова молитвы сбивчивые — сегодня приедет сын.

Не роняла утром зеленые слезы березка у камня, обойденная ахуном, не стыло над озером облако, не встречались по пути дети, и не было у ахуна в этот день привычных слов.

Двое башкир резали гусей во дворе, третий заколол жеребенка к большому торжеству встречи. Зейнап в этот день смеялась прежней молодостью. К станции был отправлен с утра верховой, ведя приарканенного коня.

— Сын любил лошадей, — говорил ахун старикам села, сидя под липой на ковре, размешивая в широкой посудине свежий кумыс. — Пейте во славу Аллаха.

— Джигит, джигит, — соглашались старики, оглаживая волны седых бород.

— Друзья, — говорил дальше ахун, забывая следить за собственной речью, — голова моего мальчика носит в себе всю мудрость корана, двенадцатилетним знал он о жизни пророка так хорошо, как знаю я каждое желание моей Зейнап. Пейте во славу Аллаха.

— Добрый кумыс нынче, — заметил один из стариков.

— Добрые травы в лугах, — подтвердили другие.

— Мудрость рода Расюлевых — крепкая мудрость, — сказал самый старший из слушателей.

— Сын мой будет последней молитвой старости моей, — продолжал ахун, — вы услышите голос его божественных песнопений, — он будет скоро, и тогда вы убедитесь сами. Пейте во славу Аллаха. Я пойду за озеро встретить его, солнце переходит горы.

Все подняли ладони перед лицом, как развернутую книгу чтец, губы зашептали молитву.

— Алла ак бар! [2]) — громко заключили слова молитвы старики, приложили ладони к глазам и поднялись.

Десять самых старших пошли за ахуном по дороге к горам.

Между камней в ложбине, где темнел сосновый лес, извивалась дорога, коричневая полоса пыли, пропитанная солнцем, лежала в уборе прошлогодней листвы, как кусок грубой дерюги, переброшенный через спину верблюда.

---

[1]) Калым — выкуп за невесту.

[2]) Бог славен!

На камнях, окутанных мохом, уселись старики — десять больших сов, обратив плоские лица в глубину леса, где терялась дорога. Они чутко прислушивались, и вскоре крайний из них поднял руку.

Ахун в нетерпении постучал о землю посохом:

— Я слышу топот двух коней.

— Мы слышим топот двух коней, — подтвердили все в один голос.

С вершин, откуда сползала по камням дорога, показались двое верховых, их трудно было разглядеть издали. Кони спускались шагом. Ахун поднялся, сделал ладонью козырек над глазами. Через минуту он сказал:

— Они.

Видно, закрутилась пыль, первый всадник пустил лошадь рысью, тогда ахун и старики двинулись на встречу.

— Вы видите, как он сидит? — обернулся ахун к сопровождавшим, — это посадка настоящего джигита.

Все молчали.

Ахун поднял посох, глаза его поймали лица всадников, и дернулась по груди длинная борода, посох опустился на ребро скалы и одна половина его упала на дорогу.

— Шайтан! — не удержался ахун, захватив левой рукой бороду в горсть.

За первой лошадью показалась вторая. Болтая выброшенными из стремян ногами, хлопая по бокам локтями, как птица подрезанными крыльями, приближался, еле сдерживая коня, сын Нигамат.

— Отец, отец! — кричал он навстречу. — Какой дьявол догадал тебя послать мне верховую лошадь!

* * *

В тот вечер не варили во дворе ахуна бишь-бармак, не кормили бедняков села, не пили гости кумыс...

— Женщина! — восклицал ахун, — в ее сердце любовь весеннего лебедя, сын, не почтивший отца своего, для нее — сын.

— Мифтах! — распорядился ахун, насупив брови, — выбрось колотую птицу собакам.

Больше он не говорил. До глубокой ночи шептали листья корана под высохшими пальцами ахуна, на губах прыгали негромкие слова молитвы.

— Дурак я, что ли, — смеялся работник Мифтахетдин, — выбрасывать добро, — и, собрав гусей в мешок, понес их на край села.

— Шафир, — говорил он потом своему приятелю хозяину кривобокой, без крыши и обиженной непогодой избы, — будем варить гусей, добрые гуси у моего хозяина.

И оплывшие тела их он укладывал рядком на скамью. — Видишь? Покупай вина и зови всех, кто нынче не ел, вчера не ел и совсем долго не ел. Будем гулять, ахун встречает сына, знаешь?

— Якши [1]), — обрадовался Шафир, колупая ногтем гусиный жир,— дай бог, чтобы твой хозяин каждую неделю встречал сыновей, сейчас позову всех и принесу вина.

Два десятка башкир гуляли всю ночь, и кожа их тел, полуприкрытая рванью заплатанных рубах, не чувствовала холода росы, разгоряченная вином и сытостью.

— Шафир! Где берешь деньги на вино? — спрашивал сельский пастух, удивленный обилием вина.

— Четыре раза покос продавал, Идрис, пей, еще куплю.

— Ай, молодец! — восхищался Идрис, — у меня нет покоса, вовсе нет, чего продавать мне?

— Продай жену, Идрис, — хохотали приятели.

— Жены нет.

— Продай лошадь.

— Лошади нет, совсем пустой я...

* * *

Варилась баранина, варился с изюмом рис, целыми днями кипел самовар — Зейнап угощала сына.

На широких нарах расписные кошмы, в три слоя ковры, самые яркие и дорогие. У окна, вытянувшись во всю длину, лежал Нигамат, крепкий и стройный, как ствол свежесрезанного кедра, на голове черная путаница густых волос, из-под коротких усов дразнились яркие полные губы.

— Ты знаешь, мать: ваше село лучше, когда его видишь во сне, или я отвык за двенадцать лет? Тогда оно мне казалось большим и дом наш высоким-высоким. Приехал вот и — не то: избенки хилые, люди оборванные, в улицах шляются голодные собаки, плохо... Мать, ты слышишь? Послушай о городе, я расскажу тебе о городе, хочешь?

— Пойди к отцу, Нигамат, ты обидел отца.

— Отца? Ах, если бы ты знала, какие города там за горами, каждая улица — два ваших села, скверы, музыка, театры. Мать, ты не знаешь городов?

— У отца двести пятьдесят голов скота, Нигамат.

— Двести пятьдесят?.. А какие там заводы! Ты видела заводы, мать, — машиностроительные?

— Нигамат, отец стар, кому передаст он хозяйство?

— Что ж, хозяйство это хорошо, надо уметь управлять всей этой механикой, мать. Ты понимаешь: десять тысяч рабочих — это же пять ваших сел. Я вторым помощником старшего инженера там. Я обманул отца, чалму я променял на фуражку инженера. Смешной старик-отец, он послал за мной на станцию верховую лошадь. Я понимаю — джигит интересней инженера. Ты, кажется, плачешь, мать? Не буду тревожить тебя разговорами.

Нигамат поднялся.

---

[1]) Якши — хорошо.

— Скажи отцу: скушно мне здесь. Там в городе есть у меня... — Нигамат близко наклонился к лицу матери, — русская девушка. Ты знаешь — ее лицо радует солнце. Скушно мне, я пойду в горы.

* * *

Старый ахун не знал песен, пятьдесят лет прошло, как затерялись они в пожелтевших страницах корана. А были песни, широкие как степи. Пятьдесят лет ходит ахун по дороге в мечеть. Камни вырастали и рассыпались на его пути, ушло от прежних берегов озеро Мулдакай. Каждое лето слушал ахун немые песни зорь, наблюдал цветение трав, благословлял все и принимал. Пришли песни живые, услышал их старый ахун, когда возвращался от вечерней молитвы. Позабыл прямой путь к дому, поднялся в горы за село, сел на поваленный грозой ствол лиственницы и, наблюдая сверху в глубокой воде озера фиолетовую игру облаков, слушал:

«Унесите, реки, песни мои; ветер угонит волны рек.

Скрылось солнце, и плачет кровью небо.

Я слышу клекот степных орлов, они песни мои повторяют, они песни мои повторяют, чтобы ты слышала их и помнила обо мне.

Я целовал твои груди розовые, слушал сердце, ловил смех.

Смех твой громче горных рек моей родины, радостней ржанья степных кобылиц, нежнее песен иволги.

Я слушаю, — не откликнешься ли ты?

Тихие звезды роняет ночь. Я ищу, нет ли тебя среди них, вижу их и не нахожу тебя.

Поднимается туман от озер. Многокрылые сны заблудились в густых камышах.

Ветер в горные щели ушел.

Ты меня не любишь»...

* * *

Камни не знают боли, они молча принимают удары, но когда посох ахуна острым наконечником ранил ствол не окрепшей березы, она охнула и надломилась, зеленые слезы коснулись земли...

Ахун спустился к озеру, сорвал с головы широкую чалму, голова задымилась испариной, стало легче и свежее. Долго стоял ахун, покуда не закричали первые петухи. Шаги к дому были тяжелы, как шаги перегруженной лошади.

У сарая спал на свеже скошенной траве работник Мифтахетдин, луна заглядывала в дыры его рубахи, подновляя бронзовую окраску мускулов рук.

Поднял ногу ахун, пыльной подошвой ичига [1]) толкнул работника в спину.

---

[1]) Ичиг — мягкая, кожаная обувь.

Мифтахетдин вскочил, чихнул спросонок, чесанул раза два по немытой давно груди и уставился молча в светлые бугры бритой головы хозяина.

— Проснись, — проговорил ахун.

— Я не сплю, тюря̇.

— Встань и позови ко мне сына.

— Иду, тюря̇.

— Эй, отец! Зачем тревожишь человека? — послышался голос Нигамата из-под навеса сеней. — Я здесь, что ты хочешь?

— Хочу говорить с тобой.

— Послушай, отец, нельзя ли отложить до завтра, я знаю, о чем ты хочешь говорить...

— Как можешь знать ты мысли мудрейшего во всем кантоне?.. — гордо остановил ахун.

— Я не хочу обидеть тебя, отец, — попробовал возразить Нигамат.

— Меня обидеть, о-о! — ахун поднял руки, и широкая чалма, распустившись, упала к ногам...

* * *

Три дня не было ахуна в мечети, на четвертый принесли письмо, с отчетливым штемпелем большого города. Ахун прочитал торопливые строки, понял их смысл, разобрал подпись женщины.

— Вот откуда твои песни, Нигамат, — сказал он.

Позвал работника и велел передать письмо сыну.

Утром Нигамат шел по дороге в горы. С крыльца долго видно было, как уходил он и, поднявшись на вершину, скрылся за зубьями скал.

Бегут облака в небе, внизу под горой засыхает сломанная береза...

Гиперболоид инженера Гарина.

Алексей Толстой.

Книга вторая.

Сквозь оливиновый пояс.

(Продолжение).

42.

Шельга не раз, впоследствии, припоминал этот случай.

Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с бешеными волнами, покуда они не пронеслись. Шельга оказался висящим за перилами мостика. Легкие его были полны воды. Он тяжело упал на палубу. Матросы подняли его, откачали и унесли в каюту.

Туда же, вскоре, пришел и Гарин, переодетый и веселый. Приказал подать два стаканчика грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор.

Шельга рассматривал его насмешливое, тонко очерченное лицо, ловкое, худощавое тело, развалившееся в кожаном кресле, его точные, изящные движения. Странный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный авантюрист... Но от грога ли, или от перенесенного только что потрясения — Шельге приятно было, что Гарин вот так — сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит, и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока Аризоны от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз и вверх то Шельга на койке, то Гарин в кресле...

Гарин сильно изменился после Ленинграда, — весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывают очень умные, убежденные эгоисты. Казалось, вместо крови у него текло дорогое шампанское. Чего только не делает с людьми удача!..

— Зачем вы пропустили удобный случай? — спросил Шельга, — или вам до зарезу нужна моя жизнь? Не понимаю.

Гарин закинул голову и засмеялся весело и открыто:

— Чудак вы, Шельга... Зачем же я должен поступать логично?.. Я не учитель математики... До чего ведь дожили... Потеха... Простое проявле-

ние человечности — и непонятно. Голову ломают: — что, мол, за чорт, какую он выгоду хотел извлечь, когда тащил за волосы утопающего? Да никакой... Чувство симпатии к вам... Человечность... Фють!

— Когда взрывали анилиновые заводы — мало вы были похожи на человека.

— Нет! — крикнул Гарин, — нет! Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали... Ах, Шельга, Шельга... Примите слабительного, напейтесь на ночь малины, пропотейте хорошенько... Что это за полочки? — на этой полочке — хорошее, на этой плохое... Я понимаю, — дегустатор: пробует, плюет, жует корочку. — это говорит вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырышками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Каким языком он это пробует?

— Все, что ведет к установлению на земле рабоче-крестьянской власти — хорошо, — проговорил Шельга, — все, что мешает — плохо.

— Превосходно, чудно, знаю... Ну, а вам-то до этого какое дело? Кто вы, — крестьянин от сохи, или рабочий с завода? Почему вы их интересы защищаете? Чем вы связаны с Советской республикой? Экономически? Вздор.. Я вам предлагаю жалованье в пятьдесят тысяч долларов... Говорю совершенно серьезно. Пойдете?

— Нет, — спокойно сказал Шельга.

— То-то что — нет... Значит — связаны вы не экономически, а идеей, честностью, словом — материей высшего порядка. Но почему у вас там все боятся до смерти этого слова? А что гнало старых партийцев на царскую каторгу?

— Политграмоту, что ли, я вам должен читать?..

— Опять — все насквозь знаю... И даже скажу: правильно, комар носа не подточит... Анализ — в самую точку. Ставка на всемирную революцию, — правильно. Сроки подходят, буржуазия начинает работать под себя... Кол ей в... Ладно. Но революция-то не что иное, как бешеный взрыв идей. Иначе, когда — одна голая экономика, — революция не происходит... Побузят, да и головку повесят, как Пугачевщина... Значит — ведет вас идея... А от нее — вся мораль и запреты. И вы злостный моралист, что я и хотел вам доказать... Хотите мир перевернуть. Расчищаете от мусора экономические законы, взрываете феодальные крепости. Это я оставляю вам. Ладно. Я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения.

— Ого.

— Наперекор всему, заметьте, Шельга. Слушайте, да что же такое человек, в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в ужасе в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это — мозг, божественный аппарат для выработки особой таинственной материи мысли, — материи, — один микрон которой вмещает в себя всю вселенную... О, я знаю — настанет время, когда эти человечки, эти мозговые центры оторвутся от земли, слишком тяжелой, слишком будничной

и со скоростью невесомых частиц помчатся в мировом пространстве — искать, для заселения, более совершенные миры...

— Конечно, — сказал Шельга, — плавать на яхте, денег — сундуки, можно и не такими еще сказочками утешаться... А вот вы поговорили бы не со мной, а на Путиловском заводе, скажем, — там бы вам показали — какие они на самом деле, эти частицы-то...

— Побили бы?

— Вне всякого сомнения — избили вдребезги за такие разговоры.

Гарин весело засмеялся:

— Так. Значит, вы решительно утверждаете, что каждый человек обязан выбрать себе либо ту, либо эту полочку. А людей междуполочных, внеклассовых, быть не должно?

— Не то, что не должно. Долг не при чем. А таких быть не может, их нет. Все, до последнего деревенского дурачка, должны, в конце концов, прилепиться к двум электромагнитам, одни к плюсу, другие — к минусу. Вы не можете понять — почему я отказываюсь от ваших денег. Хорошо, я возьму, значит, я отлеплюсь от питающей меня среды, от своего электромагнита... А другой полюс меня не примет, отшвырнет... Я повисну с вашими пятидесятью тысячами во внеклассовом пространства, в пустоте, то-есть вы предлагаете мне смерть...

Гарин уселся глубже, поджал ноги, шибко насасывал трубку. Всегда бледные щеки его зарумянились. Не слушая дальше, он перебил:

— Теперь я вам разовью мою революцию. Да, да, либо ваша, либо моя, другой быть не может. Буржуа будут дорого продавать свою жизнь, ого, вы еще поломаете о них зубы, но музыка их сыграна, они уж в «возрасте сына царствия божия», как говорила моя нянюшка. Так. Первое: стало скучно... Милый друг, для того разве арийская раса проходила через золотые ворота античной культуры, через пиры Ренессанса, чтобы на третьем тысячелетии, истребив сразу тридцать миллионов душ, выродиться в унылых ублюдков? Адская скука разбирает — толкаться среди этих посетителей кино. Второе: значит, землю надо привести в порядок. С точки зрения чистой механики коэффициент полезного действия работы человечества ниже, чем у первой машины Стефенсона. Вы предлагаете передачу всей власти рабочим и крестьянам и плановое хозяйство. Может быть, может быть. Не спорю. Но лично меня, «как такового», это мало устраивает. Что бы я мог взять на себя, например, при этой комбинации? Гм. Комиссариат труда, или какой-нибудь главк по специальности, или вообще — радоваться, как растут зеленые побеги? Я не сентиментален. Нет. Я предлагаю другое устройство. Враг мой, слушайте... Я овладеваю всеми ценностями на земле. Ни одна труба не задымится без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинено, — вплоть до права дышать, — центру. В центре — я. Мне принадлежит все золото. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках с бородкой, в веночке, а на обратной стороне — профиль мадам Ламоль, с цветком для елейности. И надпись по кружочку — РЕКС. Затем, я отби-

раю «первую тысячу». — скажем, это будет что-нибудь около двух, трех миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем, мы установим — сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Эти будут, — назовем их для вежливости, — трудовиками...

— Ну, разумеется...

— Не забегайте. Хихикать мы будем по окончании разговора... Они не взбунтуются, нет, душечка... Возможность революций будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция, нечто вроде мозговой кастрации. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом... Ну, просто — закружилась голова, — очнулся — он уже раб... Небольшой прокол сквозь черепную кость... Отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Затем все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти опухшие молодцы-кастраты работают и служат безропотно за пищу как лошади. Они не люди, у них нет иной тревоги кроме голода. Они будут счастливы переваривая пищу. А избранные, патриции, это уже полубожества. Уверяю вас, дружище, это и есть самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения. Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производится отбор лучших. Борьбы за существование нет — она — в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса, — новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочь на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в десять лет... К чорту, — скорее, чем в десять лет... Для немногих... Но дело не в числе...

— Фашистский утопизм, это довольно любопытно, — сказал Шельга.

— Миленький, не утопия — вот в чем весь курьез. Если ветер не переменится, завтра мы будем уже на острове. В ближайшую неделю вы поймете, что я не шучу. Увидите любопытные и неожиданные вещи.

— С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить?

— Ишь ты, как эта бородка вас задела: — моралист! Нет. Я начну с обороны. Укреплять остров. На меня, разумеется, будут стараться напасть. И одновременно — бешеным ходом пробиваться сквозь оливиновый пояс. Первая угроза миру будет: обесценивание золотого запаса Америки, угроза валюте. Я смогу добывать золото в любом количестве, заметьте. Затем перейду в наступление. Будет война, — страшнее четырнадцатого года. Теперь — инфракрасный луч против газов. Моя победа обеспечена. Затем — классификация населения, отбор и чистка. Милый друг, мы с вами согласны в одном, — мир нужно перевернуть: стало

скучно. И переверну его я. Вы знаете, этот болван Роллинг начинает в меня верить... Да, да... Вчера мы с ним беседовали... Представьте, что он мне сказал, что я фашист, — и я шире беру, чем сам Муссолини.

Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза. Игра, начатая на бульваре Профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. «Ладно, так тому и быть». Он сел, потянулся за папиросами. Гарин с усмешкой наблюдал за ним.

— Решили?

— Да, решил.

— Великолепно. Я раскрываю карты. Вы мне нужны, как кремень для огнива, Шельга. Я окружен зверьем. Но мое дело требует больших взлетов фантазии. Мы будем бешено ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда будем бить Роллингов... Кстати, предупреждаю, — бойтесь Роллинга, он упрям и если решил вас убить — убьет.

— Меня удивляло, почему вы его до сих пор еще не скормили акулам.

— Мне нужен заложник... Но, во всяком случае, он не попадет в список «первой тысячи»...

Шельга помолчал. Спросил спокойно:

— Сифилиса у вас не было, Гарин?

— Представьте — не было. Мне тоже иногда думалось, — все ли в порядке у меня в черепушке... Ходил даже к врачу. Рефлексы повышены, только. Ну, идем ужинать.

43.

Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Спины волн сверкали стеклом. Гнались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркались, мокрые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана поднимались голубоватые, как мираж, очертания скалистого острова.

Сверху, — в бочке, — матрос крикнул: «земля». И стоявшие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему весело несли Аризону снежные полные ветра паруса.

Матросы мыли палубу, шлепая босыми ногами. Древнее солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин с глазами, обведенными тенью, пощипывая бородку, силился проникнуть в пелену будущего, окутавшую остров. Ведь то, что мы называем: оно будет, — с высоты времени, — оно есть. Свиток истории развернут и позади и впереди человека. О, если бы знать...

44.

В далеких перспективах линий Васильевского острова пылал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кра-

нами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных дворцов, как будто во всех этажах зажжены потешные огни и тени прошлого стоят у окон, чужие, забытые, и дивятся.

На набережной по гранитным плитам, мимо причалов, гуляли девицы с матросами. Проходили просмоленные штурмана, щеголеватые капитаны с золотыми нашивками на рукаве. Сидели бабы, в корзинке — семечки, яблоки, булки. Выделывал ногами сложные фигуры пьяный человек, бормоча про какую-то обиду. Звенели трамваи. И все это в закатном свете казалось замедленным, почти неподвижным.

С запада, из-за дымов, по лилово-черной Неве подходил корабль. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны Горного института, Морского училища, лица гуляющих, и он стал ошвартовываться у пловучей красной с белыми колонками таможни.

Это был один из пароходов Дерутры из Штеттина. Началась обычная суета досмотра. Отвратительное чувство, когда окончен четырехдневный путь и от набережной, от гранитных плит, прочных и покойных, отделяет всего шаг по сходням. А тут — паспорта, чемоданы, ожидание.

Пассажир первого класса, смуглый, злой, широкоскулый человек, по паспорту — агент французского общества «Сосьете Аноним Металлур жик», стоял у борта, равнодушный к суете. Он глядел на город, медленно утопающий в сумерках. Еще остался свет на куполе Исакия да на золотых иглах Адмиралтейства, Инженерного замка и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром, как меч, грозящий на морском рубеже России. Два столетия грозил он Востоку и Западу. Шли часы и куранты играли торжественно «Коль славен наш господь в Сионе». По древнему скифскому обычаю золотой меч возвышался над гробами императоров. Над заживо погребенными в равелинах.

Злой человек вытянул даже шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован, как путник, увидевший после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот, по темной Неве от крепости долетел торжественный звон: на Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилами императоров куранты играли Интернационал.

Человек стиснул перила, горло его издало звук, похожий на хрип, или рычание. Он медленно моргнул. Повернулся спиной к крепости. Вскоре ему пришлось сойти с борта в таможню. Он шел, опустив голову. Когда его спросили об имени, он ответил отрывисто:

— Леви.

Затем, уже ночью, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком, он сошел на небережную Васильевского острова. Не было уже ни гуляющих, ни баб с булками. Сияли осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом. Оглянул спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах да тихо постукивал мотор динамо, и защагал к мосту.

Какой-то очень высокий человек, в парусиновой блузе, медленно шел навстречу. Минуя, взглянул в лицо, прошептал: «Батюшки». И, вдруг, громко спросил вдогонку:

— Волшин, Александр Иванович?

Человек, назвавший себя в таможне Артуром Леви, споткнулся, но, не оборачиваясь, еще шибче побежал к мосту.

45.

Иван Гусев жил вместе с Тарашкиным, был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму, обещался к сентябрю подготовить на первую ступень. Мальчишка оказался до того «вострый», славный и охотливый, — сердце радовалось.

По вечерам напьются чаю с ситником и чайной колбасой, которую Иван ел с кожурой, потому что любил ее до смерти, Тарашкин закурит «Пачку», взъерошит волосы и начинается разговор.

— Говорится: ученье — свет, неученье — тьма. А бывает: учишь, а он дурак. Понял, Иван?

— Как же, понял, Василий Иванович.

— Поэтому твоя задача — стать полезным членом коллектива.

— Чего?

— Ну, вот, и дурак, не понимаешь. Что такое Советский Союз? Прежде, когда ты еще цыцку сосал, назывался он Российской империей. Страна была богатейшая. но в высшей степени отсталая. Держалась одним бряцанием оружия. Ладно, хорошо. Империю мы упразднили, теперь — вся власть у трудящих. И в смысле социальных и политических форм — Союз — страна передовая. Но, что касается экономики, — в высшей степени отсталая. И лодырей, лентяев, жулья, хулиганов у нас — сколько хочешь, столько и наберешь. Значит...

Тут Тарашкин обычно ставил перед собой черноватый палец с толстым ногтем и начинал глядеть на него, глядел и Иван, с почтением...

— Значит, мы находимся в громадной и постоянной опасности, так как окружены со всех сторон враждебными соседями с несравненно развитыми противу нас индустриальными формами...

— Василий Иванович, вы как-нибудь понятнее.

— Не могу. А ты слушай, не перебивай мое течение мыслей, все равно когда-нибудь поймешь... Опасность нам грозит в смысле потери национальности и в смысле потери завоеваний революции. Словом, буржуазные государства стремятся превратить нас в колонию вроде африканской...

Ивана всегда пробирал мороз по коже при этих словах. Тарашкин учил:

— ...Поэтому должен ты в первую голову заботиться о повышении матерьяльной культуры в Советском государстве. Иначе, неумолимый закон экономики тебя пожрет... Другой, — восемь часов отбарабанил

на заводе, и он мажет себе морду пивом, или хлебной, валяется, как свинья, на улице... Этот разве не будущий колонист, я спрашиваю? А жена его тащит на барахолку последнее тряпье. Я сам люблю, может быть, выпить, но с достоинством. Заруби, Ванька, на носу, — во сне помни, — не сознательный, значит, враг своему государству, вот как теперь вопрос обострен. В этом пальце и в нем должна быть сознательность, — иначе, как же я смогу поднять качество производства? Косы в деревню у Австрии покупаем. Это не стыдно? За полторы тысячи лет, — земледельческая страна, — косы делать не научились. Из-за этих кос среди ночи у меня делается неврастения, несмотря на физкультуру. И ты, мальчишка, кровавыми слезами должен плакать, — почему ты сейчас не в состоянии хорошей косы сковать...

Часто, в конце разговора Тарашкин расстраивался. Затем Иван читал какое-нибудь место из политграмоты. Убирали посуду. Ложились спать.

Гребной сезон кончался. Ловили каждый солнечный день, выпивали глазами до конца каждый осенний закат на взморье. Клуб сворачивался на зимовку.

46.

У калитки клуба стоял смуглый, очень хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ощетинился, Иван прижался к нему. Человек сказал:

— Я жду здесь с утра. Этот мальчик и есть Иван Гусев?

— А вам какое дело? — засопев, спросил Тарашкин.

— Виноват, прежде всего — вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Леви.

Он вынул из бокового карманчика картонажик, развернул перед носом у Тарашкина:

— Я агент политической охраны при Советском посольстве в Париже. Вас это устраивает, товарищ?

Тарашкин проворчал неопределенное. Артур Леви достал из бумажника фотографию, взятую Гариным из бумажника Шельги.

— Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого мальчика?

Тарашкину пришлось согласиться. Иван попытался-было улизнуть, но Артур Леви жестко взял его за плечо:

— Фотографию мне передал Шельга. Я имею секретное поручение отвезти мальчика в Благовещенск. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?

— Мандат? — спросил Тарашкин.

Артур Леви показал мандат с бланком Советского посольства в Париже, со всеми подписями и печатями. Тарашкин долго читал его. Вздохнув, сложил вчетверо:

— Чорт его разберет. — Так, будто бы, все правильно. А может — я бы мог вместо него поехать? Мальчишке учиться надо...

Артур Леви зубасто и зло усмехнулся:

— Не бойтесь. Мальчику со мной будет не плохо. Затем, советую не болтать и не распространяться, потому что это дело секретнейшее и касается государственной обороны. Идем, мальчик.

47.

Тарашкин наказал Ивану посылать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку:

«Дорогой товарищ Тарашкин, слава труду — едем мы ничего себе, в первом классе. Пища хорошая, а также обращение. В Москве мне Артур Артурович купил картуз новый, пиджак на вате и сапоги. Одно, — скука заедает: Артур Артурыч цельный день молчит, да курит. Между прочим, в Самаре на вокзале встретил я одного беспризорного, бывшего товарища. Я ему дал, извините, ваш адрес, наверно приедет, ждите. С товарищеским приветом. Иван Гусев».

Второе письмо было из Иркутска в том же роде. И почти одновременно пришла телеграмма от Артура Леви из Благовещенска: «Мальчик здоров. Все в порядке».

48.

«Сосьете Аноним Металлуржик» (С. А. М.) вело переговоры о концессии на разработку молибдена в бассейне реки Олекмы, где этот редкий и драгоценный по свойствам металл находился в изобилии.

Александр Иванович Волшин, представленный, еще в Париже, с наилучшими рекомендациями директорам С. А. М., был назначен агентом общества и выехал в Россию с документами и полномочиями на имя Артура Леви, что было найдено более удобным, чем его эмигрантское имя.

Через него велась вся переписка. С. А. М. шло в переговорах с Советским правительством на самые широкие уступки, — таковы были секретные директивы Роллинга, стоявшего за спиной С. А. М. Но ни директора, ни даже Роллинг не знали скрытых целей этой, придуманной Гариным, концессии.

В сентябре Волшин получил право разведки и вышел из Благовещенска на Олекму с инструментами, вьючными лошадьми, техниками и рабочими из сибиряков-искателей золота и приключений. Партию вел Иван Гусев.

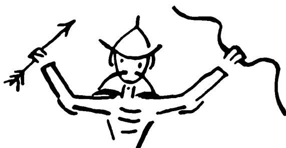
Шли большую часть пути на барках, день и ночь. Трудны были переходы через пороги, на них потеряли барку и двоих людей. Это было в том месте, где сжатая отвесными стенами, река с бешеным ревом плясала на гранитных камнях. Трупы обоих рабочих были выброшены верст за десять, расплющенные и изорванные. В другом месте пришлось бросить

барки, втаскивать веревками людей и лошадей на крутые скалы, и ниже по реке рубить плоты. Люди роптали. Волшин был неумолим. Он не жалел людей, но хорошо платил за каждую мелочь.

Однажды Иван Гусев закричал, указывая на красноватый обрыв в том месте, где река круто загибалась:

— Артур Артурович, вот он!..

На отвесной скале, высоко над водой, было высечено изображение воина, полустертое временем.



На фотографии Шельги, снятой со спины Ивана, этим рисунком начиналась надпись чернильным карандашем.

Изображение было высечено смелым резцом, — усатый воин в латах, в шлеме, видимо — бронзовом, с луком и стрелой в руках. Неведомый народ оставил память о себе на скалистых берегах сибирских рек, — от Урала до Тихого океана, от границ Китая до тундры. Какая цель была в этих рисунках, что они изображали? Погибших ли героев, величие царей, или колдовское заклятие места? Или, быть может, служили указанием россыпей золота, источников мертвой (мышьяковистой) и живой (радиоактивной) воды, или скрытого в земле камня а л а т ы р ь, целящего и убивающего все живое?

Плоты причалили к берегу. Лошади, инструменты и провиант были выгружены. Далее по надписи чернильным карандашем следовало:

№ о 2358 … W … S … 3800 … 150

То-есть: от воина на берегу Олекмы итти на северо-восток-восток 2.358 сажен до озера. От юго-юго-восточного конца озера — 3.800 сажен до двух елей, и от них в том же направлении сто пятьдесят сажен до камня с изображением шайтана.

Эти места Иван знал хорошо, — ему не раз приводилось пробираться из стана на Олекму. Он сказал, что, если завтра, чуть свет, тронуться, — к ночи надо быть на месте. Так было и решено. Весь день перепаковывали вьюки. Дали людям отдохнуть, и на рассвете пошли от берегов Олекмы вглубь тайги. Близ озера началась топь. Пришлось рубить ельник, гатить дорогу. За час едва проходили сотню сажен. Лошади проваливались, их вытаскивали за хвост и голову на вожжах. Один

из техников, не слушая предостережений, пошел прямиком через ядовито-зеленую лужайку, ему кричали, — вернись, пропадешь! Видели, как он попятился, — зеленая полянка заходила под ним, он вдруг провалился по пояс, позвал: тону! — и ушел в бездонное «окно», зеленая ряска сомкнулась над его головой.

Это была самая тяжелая часть пути. Она окончилась у двух тысячелетних елей. Они стояли на кремнистом бугре, задевая вершинами за тучи. Здесь сделали привал, подсчитали потери. Волшин, во все время пути не отнимавший руки от кобуры маузера, потребовал: — вперед, ужинать будем на месте! Измученные люди и лошади побрели через непролазный лес, загроможденный странной формы осколками скал. Деревья здесь были необыкновенной высоты. В папоротнике лошади скрывались с головой.

Наступали сумерки. Пошла крупа. Волшин велел жечь смолье, чтобы освещать дорогу. Наткнулись на кости, — оказалось — человеческие. Красноватые стволы, поднимающиеся во мрак, мшистые камни и мрачный шум вершин навевали ужас на уставших людей.

Наконец, совсем в стороне, не туда, куда шли, послышался звонкий голос Ивана:

— Сюда, сюда, товарищи, вон он — Шайтан-камень.

Когда вышли на опушку, где бил ветер, — Иван стал кричать:

— Э-эээй...

49.

Весь этот день дул северный ветер, ползли серые тучи низко над лесом. Печально шумели стосаженные сосны, гнулись темные вершины кедров, трепались, облетая, ветви лиственниц. Сыпало крупой из туч, сеяло ледяным дождем. Тайга была пустынна. На тысячи верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками. С каждым днем студенее, страшнее дышал север с беспросветного неба.

Казалось — ничего, кроме важного шума вершин, смертного свиста ветра, — не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве бы только за смертью забрел в эти места.

Но человек появился. Он был в рыжей рваной дохе, низко подпоясанной лыком, в разбухших от дождя пимах. Седые мокрые космы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье. Его лицо было воспаленное с багровыми язвами на месте бороды. Веки выворочены, нос изъеден. Он огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами. Останавливался, согнувшись и начинал посвистывать:

— Фють, Машка, Машка, Машка... Фють...

Обогнув косогор, он спустился на тропинку. Она вела к широкой поляне, где торчало множество пней. Стена гигантских сосен замыкала ее с трех сторон. Качались вершины. Задевая за них, шли гряды туч. Сыпало крупой. Человек казался не больше муравья перед колоннадой обступившего леса.

Близ опушки, где бежал ручей, виднелись три низких сруба, крытые землей, правее — колья и жерди, перепутанные лыком, — должно быть изгородь для скота. По всей поляне, между пнями и срубами, ломался мокрый бурьян. Человек оглядывался. всматривался. Опять — посвистел, позвал. Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьяне. Человек зарычал, опустился на камень. Ружье дрожало у него между колен, он уронил голову. Долго спустя, опять стал звать:

— Машка, Машка...

Мутные глаза его в вывороченных веках глядели на то место, где на открытой стороне поляны торчал гигантским зубом странного вида камень. У его подножья тянулся бревенчатый сарай. Стены его покосились, провалилась местами земляная крыша, высокую железную трубу раскачивал ветер. Бугры, канавы, отвалы глины и щебня, остатки шурфов и креплений окружали это запустение.

Там, в сарае лежало свыше тысячи пудов обогащенной радиевой руды. Из нее можно было извлечь, по скромному подсчету, около 80 килограмм чистого радия. т.-е. количество в 80 раз большее, чем на всем земном шаре, — сокровище, по крайней мере, в четверть миллиарда рублей золотом.

Это было добыто кучкой хищников. У подножия Шайтан-камня находились огромные залежи этого редчайшего металла, распределяемого крупинками по лабораториям. При серьезной добыче его можно было извлекать отсюда тоннами. Это значило — переворот в медицине, физике, технике и, быть может, быстрое наступление той великой эпохи, когда разрешена будет тайна тайн материи — атомный распад.

Старик с вывороченными веками глядел, как ветер и дождь разрушают крышу над сараем. Еще недолго и крыша рухнет, стены сгниют и обвалятся и никто никогда не узнает, что покоится под кучами глины и щебня. Шесть лет в зной и в лютую стужу он добывал из-под земли сокровище. Своими руками вырубил поляну, поставил срубы, устроил лабораторию для обогащения руды. Семь человек товарищей сгнили заживо, сожженные радием. Восьмой, мальчишка, был послан за тысячи верст в Европейскую Россию разыскивать Гарина и пропал. Тому уже года два.

Старик, сказочный богач, не мог теперь даже починить крыши над сараем, — и сил нет, и нечем. Осталось, — глядеть, как гибнут надежды. И глядеть не долго. Последней надеждой был ручной козел, — его старик готовил на зиму, — было рассчитано: по четверть фунта в день козлиного сушеного мяса с лепешками из толченых кедровых орехов, — хватило бы до весны. Старик думал еще поправиться от радиевых ожогов. В сущности, лет ему было немного, всего за сорок, но страшные альфа- и гамма-лучи разрушили его, и последним ударом была история с козлом, когда проклятое животное перетерло веревку и удрало из клети.

Старик снял тогда со стены ружье, — в нем забит был последний заряд, береженый на особо важный случай. Но хитрый козел не давал подойти близко, и старик ходил за ним и звал, зная, что это — смерть.

Темнели гряды туч, злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Наступал вечер. Сжималось сердце, — никакими испытаниями не отучить его тосковать по милым человеческим лицам, сидящим в долгие сумерки у огня печи. Ни огня, ни друзей. Пустыня.

Старик повернул голову и глядел на стену шумящего леса. Оттуда надвигался мрак. Снежная крупа секла лицо, больные веки.

— Машка, Машка, — позвал старик.

Понимай козел по-человечески, быть может они бы и договорились: есть его старик не станет, а проживут как-нибудь зиму вместе, скоротают, — вдвоем не так жутко.

К весне он непременно поправится, — только не подходить близко к сараю, откуда со скоростью десяти тысяч верст в секунду уносятся в мировое пространство мириады частиц распадающегося металла. Летом наберет орехов, напечет лепешек и уйдет отсюда. Ползком, на карачках, а дотащится к людям. Хорошо служить дворником, вот это хорошо, — где-нибудь на тихом месте. Сиживать в сумерки у ворот, глядеть, как проходят люди. Эх, сокровище, миллиарды, вздорные мечтания, — будьте прокляты...

Старик с трудом поднялся, — болели суставы, прилипала одежда к язвам. Побрел по тропинке к зимовищу... Внезапно он остановился. Показалось, будто за шумом ветра донеслись человеческие голоса. Он долго стоял, стараясь тише дышать, чтобы не свистело в груди.

— Э-эээй! — долетел голос со стороны Шайтан-камня.

Старик ахнул. Глаза залило слезами, в разинутый рот било крупой. Но ни леса уже, ни камня не было видно. В быстро опустившихся сумерках одни пни белели поблизости.

— Э-ээээй, Манцев! — звал, срываемый ветром, детский голос. И, вот, справа, слева — принялись кричать, звать:

— Э-ээээй!.. Где вы там?.. Манцев!.. Живы?..

У старика тряслась голова. Он разводил руками и повторял беззвучно:

— Да, да, я жив... Это я, Манцев...

Близко к нему из бурьяна подошел козел и, поворачивая аккуратную головку с наставленными ушами, тревожно прислушивался к странным голосам, потревожившим пустыню.

50.

Прокопченные бревна зимовища никогда еще не видали такого великолепия. В каменке пылал огонь под самую крышу, кипели котлы. Входили и выходили громогласные люди, внося и распаковывая вьюки. Ржали непоенные лошади за порогом.

Из вьюков вынимали новенькие одеяла. Блестели инструменты и оружие. Дивно пахло мукой и свиным салом. В один котел бросили чай и ароматом наполнилось зимовище. Потрясенный всем этим Манцев молча сидел на нарах. Кто-то крепкий, бородатый, подал ему кружку с чаем и кусок сахару:

— Погрейся, старичок.

И, когда он хлебнул давно забытого напитка, ощутил острую сладость сахара, — тело его сотряслось, через вывороченные веки потекли слезы. Перед ним остановился Иван Гусев, — мальчишка вырос, не узнать. Сморщил нос, — жалко было глядеть на старика.

— Николай Христофорович, узнали меня? (Манцев молча покивал.) А я бы вас не признал. Седой стали, страшный. А другие что — померли? (Манцев покивал.) А помните — как грозились, — если я Петра Петровича не найду, — живым мне не быть. А ведь я его не нашел. Я не через то его не искал, что хотел вас обмануть, а через то, что я теперь сознательный. А вы хотели меня в темноте держать. Только я на вас не сержусь, Николай Христофорович.

Иван принес еще чаю, сел на корточки перед Манцевым и рассказал, как приютил его в Ленинграде Тарашкин, как увидали у него надпись на спине, и он не хотел показывать, но ему растолковали, что первая обязанность каждого гражданина перед государством, а вторая, только, — если кому дал слово.

— Так что, Николай Христофорович, я не бесчестный.

— Слушай, — спросил Манцев, наклонившись к нему, — кого ты сюда привел, кто они?

— Это, Николай Христофорович, концессия, будьте покойны, государство с этого получает большую выгоду. Начальник — вон — Артур Артурович. А мне выдан мандат, — способствовать ему всеми силами. Я, вроде, как представитель здесь Советского правительства...

Покуда он рассказывал, у Манцева высохли слезы. Глаза его, еще молодые на изуродованном лице, разгорались злобой. Он промолчал. Иван принес ему папиросочку:

— Так что, кроме классовой вражды, я к вам ничего такого не питаю, Николай Христофорович...

Он степенно зевнул и полез на нары спать. Рабочие — кто еще докуривал, кто уже спал, приткнувшись на вьюках. Манцев заметил, что Артур Леви смотрит на него пристально. У него засвистело в легких.

— По какому праву пришли хозяйничать на мою заявку? — проговорил он с трудом.

Артур Леви ответил спокойно:

— Это не ваша заявка.

С минуту Манцев ничего не видел. Сполз с нар. Подошел к этому франту в великолепных желтых сапогах, в драповом френче, в куньей шапке:

— Нет, господин Леви, это моя заявка.

Леви с усмешкой (крепкие зубы на злом загорелом лице) оглянулся, — все спали. Он сказал тихо:

— Заявка у Шайтан-камня сделана в 21 году на имя инженера Гарина. Я его полномочный представитель. Если вы хотите получить свою долю, если, вообще, хотите жить, — помалкивайте.

Манцев схватил Волшина за плечи. Изъеденное болячками лицо его все задрожало от радости, беззубый рот всхлипывал, норовил — лезть целоваться. Волшин резко отстранился:

— Идем. Поговорим.

Они вышли из зимовища в бушевавшую ночь. Стали за ветром. Волшин спросил:

— Сколько у вас добыто радия?

— Не менее восьмидесяти килограмм.

— Сколько? Вы не сошли с ума?

— Да, да. Это трудно себе даже и представить, Артур Артурович. У меня все внутри сожжено проклятыми лучами, — печень, кишки, легкие... Семь человек погибло, — все, кто работал в лаборатории. Я скрывал от них опасность. Они думали, что больны цынгой. У них мясо отваливалось от костей, — вот как они умирали. Они хотели меня убить, но я был здоровее всех... Я давно уже не подхожу близко к сараю. Там теперь чорт знает, что происходит... В массе радия начали образовываться новые элементы, — продукты распада эманации. Была одна ночь, — я чуть не сошел с ума: весь сарай начал светиться фосфорным светом. Потом над крышей образовалось круглое светящееся облако. Отделилось и поплыло над землей. Ветер погнал его к лесу, оно разорвалось с громовым ударом... Да, вот еще что, — с вами пришел мальчик, Иван. Вы его не подпускайте к сараю, и сами не подходите близко без надобности. Все, кто там будет работать, — погибнут...

— Руководство дальнейшими работами я поручаю вам, — сказал Волшин, — мне придется вернуться в Благовещенск, наладить транспорт.

— Когда думаете начать вывозить руду?

— Немедленно.

— Но через неделю дороги станут непроходимыми. А зимой не пробраться через тайгу и горы...

— Безразлично. Гарин предполагает перевозить руду на воздушных кораблях...

— Как?

— Э, батенька, вы не знаете, что такое теперь Петр Петрович Гарин. Играет миллиардами. Свой флот. Свои воздушные корабли. Недавно объявил всем, всем по радио, что он считает себя суверенным владетелем какого-то, — чорт его знает, — острова в Тихом океане. Какой-то у него там ультракрасный луч... Все газеты об этом кричат... Вы не тряситесь, я правду говорю...

— Гарин, Гарин, — повторил несколько раз Манцев с душераздирающей укоризной, — ближайший друг... Вместе голодали... Я его от

сынняка выходил... Строили сумасшедшие планы... Слушайте... Ведь это я, это я навел его на идею гиперболоида... Я ему и про остров в Тихом океане говорил... Сделал, сделал все по-моему... Он ловкач, понимаете... Краснобай шикарный... Он сгноил меня в этой проклятой тайге... Что я теперь возьму от жизни, — постель, да врача? На дирижаблях хочет увезти мой радий.. Пусть он сначала мне в ноги поклонится... Обокрал мой мозг... Мою удачу...

Манцев дрожал всем телом. Между сжатыми губами его лопались пузыри слюньев.

— Это вы уже с ним сами объяснитесь при свидании, — сказал Волшин, — а теперь вот план работ: надо расчистить от пней всю поляну, приготовить аэродром, причалы для воздушных кораблей, ангары, бараки... Людей вы пока не подпускайте к радию, чтобы они раньше времени не заболели. Затем, если позволит время, я вернусь с материалами, чтобы поставить здесь радиостанцию... Думаю, — месяца через полтора-два корабли приплывут...

— Первым на корабль сяду я... Понимаете, я, я, я! — бабьим голосом закричал Манцев, — так ему и заявите... Заведывать работами пусть пришлет инженеров, чорта, дьявола... Но я улечу... Мне нужна чистая постель, дорогой табак, вино... Я хочу каждый день мыться в ванне. Я хочу всего... Я слишком много страдал...

51.

Гарин послал в газеты Старого и Нового Света уведомление о том, что им, Пьером Гарри, занят в Тихом океане, под 130° з. д. и 24° ю. ш., остров площадью в 75 квадратных километров с прилежащими островками и мелями, что этот остров он считает своим владением и готов до последней капли крови защищать права своей суверенности.

Впечатление от этого получилось смехотворное. Островишко в южных широтах Тихого океана был необитаем, ничем, кроме удивительной живописности, не отличался. Даже произошла путаница, — кому, собственно, он принадлежит: Америке, Голландии или Испании? С американцами долго спорить не приходилось, — поворчали и отступились.

Остров не стоил того угля, который нужно было затратить, чтобы доплыть к нему, но принцип прежде всего, и из Сан-Франциско вышел стационер, чтобы арестовать этого Пьера Гарри и на острове поставить на вечные времена железную мачту с прорезиненным звездным флагом Соединенных Штатов.

Стационер ушел. Гарин попал в моду изо всего этого: появился фокстротт «Бедный Гарри», где говорилось о том, как маленький бедный Пьер Гарри полюбил креолку, и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцовали фокстротт, король с королевой вдвоем. И королева просила: — бедный Гарри, я хочу завтракать, я голодна. В ответ Гарри только вздыхал и продолжал

танцовать, — увы, кроме раковин и цветов у него ничего не было. Но вот, пришел военный корабль. Красавец капитан предложил королеве руку и повел ее к великолепному завтраку. Королева смеялась и кушала. А бедному Гарри оставалось только вздыхать... И так далее...

Словом, все это были шуточки. Дней через десять пришло радио от капитана стационера:

«Стою в виду острова. Высадиться не пришлось, так как получил предупреждение, что остров укреплен. Послал ультиматум Пьеру Гарри, называющему себя владельцем острова. Срок завтра в семь утра. После чего открываю бомбардировку».

Это было уже забавно, — бедный Гарри, сошедший с ума от любви. Но ни на завтра, ни в ближайшие дни никаких известий со стационера получено не было. На посланный запрос он не отвечал. Ого! Кое-кто нахмурил брови в военном министерстве.

Затем, в газетах появилось дьявольски сенсационное интервью с Мак Линнеем. Он утверждал, что Пьер Гарри никто иной, как известный русский авантюрист, инженер Гарин, с которым связаны слухи о целом ряде преступлений, в том числе о загадочном убийстве в Вилль Давре близ Парижа. История с захватом острова тем более удивляет Мак Линнея, что на борту яхты, доставившей на остров Гарина и его любовницу, находился никто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель треста «Анилин Роллинг». На его средства были произведены огромные закупки в Америке и Европе и зафрахтованы корабли для перевозки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, — Мак Линней молчал. Но сейчас он утверждает, что отличительная черта химического короля, Роллинга, это — высокая лойяльность перед законом. Поэтому несомненно, что наглый захват острова сделан вне воли Роллинга, и доказывает только, что Роллинг содержится в плену на острове и что миллиардером пользуются в целях неслыханного шантажа.

Тут уже шуточки кончались. Попирался не принцип, но святое святых. Агенты полиции рассыпались по стране и собрали сведения о покупках Гарина за август месяц. Получились ошеломляющие цифры расходов. В то же время военное министерство напрасно разыскивало стационер, — он исчез. И ко всему было опубликовано описание взрыва анилиновых заводов свидетелем катастрофы русским ученым Хлыновым.

Начинался скандал. Действительно, под носом у правительства какой-то авантюрист произвел колоссальные военные закупки, аннексировал остров, лишил свободы величайшего из граждан Америки, утопил стационер, и, ко всему, это — был безнравственный негодяй, массовый убийца, гнусный изверг.

Телеграф принес ошеломляющее известие: четыре полужестких дирижабля, новейшего типа, пролетели над Гавайскими островами, опустились в порте Гило, взяли бензин и воду; проплыли над Курильскими островами; снизились над Сахалином, в порте Александровском

взяли бензин и воду; после чего исчезли над сибирской тайгой. На всех четырех кораблях были заметны буквы П. и Г...

Тогда всем все стало ясно: Гарин — московский агент. Вот тебе и «бедный Гарри». Палата вотировала самые решительные меры. Флот из восьми линейных крейсеров, вооруженных по образцу 1926 года, вышел к Острову Негодяев, как его теперь называли в прессе.

В тот же день радиостанции всего мира приняли коротковолную телеграмму, чудовищную по наглости и дурному стилю:

«Алло! Говорит станция Золотого Острова, именуемого по неосведомленности Островом Негодяев. Алло! Пьер Гарри искренно советует правительствам всех государств не совать носа в его внутренние дела. Пьер Гарри не хочет войны, но будет обороняться, и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого Острова, будет подвергнут участи американского стационера, пущенного ко дну менее чем в пятнадцать секунд. Пьер Гарри искренно советует всему населению земшара бросить политику и беззаботно танцовать фокстротт его имени».

52.

Перегнувшись через окно аллюминиевой гондолы, Зоя глядела в бинокль. Дирижабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним на глубине тысячи метров расстилался на необъятную ширину прозрачный сине-зеленый океан. В центре его лежал остров неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга, востока и северо-востока, как брызги около него, темнели окаймленные пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист. Здесь, в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка лежали океанские корабли. Зоя насчитала их 24, — они походили на жужелиц, спящих на воде.

Остров был прорезан ниточками дорог, — они сходились у северо-восточной скалистой части острова, где нестерпимо сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся тремя террасами к волнам маленькой песчаной бухты.

С южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского мекано: — фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки дисков ветряных двигателей. Попыхивали трубы электростанций и водокачек. В центре сооружений темнело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались стальные ленты, и дальше в море уходили червяками красные понтоны землечерпалок. Облачко пара не переставая курилось над отверстием шахты.

День и ночь, — в шесть смен, — шли работы в шахте: Гарин пробивал гранитную броню земной коры, опускаясь к Оливиновому поясу. Дерзость этого человека граничила с безумием. Зоя глядела на облачко над круглой бездной, и бинокль дрожал в ее руке, золотистой от загара. Думать, загадывать было слишком страшно. Она отвела взор.

По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей двигались по дорогам. Катились автомобили и мотоциклеты. В центре острова синело озеро, из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов. Весь восточный склон зеленел изумрудным покровом — здесь за изгородями паслись стада. На северо-востоке перед дворцом, среди скал пестрели причудливые фигуры цветников, темнели купы древесных насаждений.

Еще пол-года тому назад здесь была сухая пустыня, — камни да колючие травы, серые от морской соли, да чахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений, почву обогатили азотистым дренажем, были вырыты артезианские колодцы.

И вот, с высоты гондолы Зоя глядела теперь на заброшенный в океане клочек земли, пышный и сверкающий, омываемый снежной пеной прибоя, и любовалась им, как женщина, держащая в руке драгоценность.

53.

Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три: храм Дианы эфесской, сады Семирамиды и медного колосса в Родосе. Об остальных можно спорить, воспоминание о них погружено на дно истории, быть может, они находились по ту сторону Геркулесовых Столпов. Несомненно только, что они потрясали воображение грандиозностью замысла и гениальностью выполнения.

Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом Острове. За ужином, в только что отделанном зале белого дворца, с огромными окнами, раскрытыми дуновением океана, мадам Ламоль поднимала бокал шампанского:

— За чудо, за гений, за дерзость.

Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Об опасностях, неудаче никто бы не нашел времени и думать.

Даже десятки радиоприемников, связывающие остров со всем миром, казались надоедливыми мухами. Плевать! Пусть там на материках вопят о нарушении прав. Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта, гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже и глубже к неисчерпаемым запасам золота и платины. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клондайка — чушь, кустарный промысел. Искать золото, кормить комаров, мыть крупинки из грязи. Золото здесь под ногами, в любом месте, только прорвись сквозь граниты и кипящий Оливин.

Старое представление о земле, как о жидкой расплавленной массе, одетой в кору гранитов, — опровергнуто новейшими выводами геологии, сейсмологии и астрономии. Земля есть металлический шар, общей

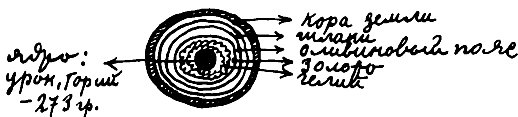
плотностью 8 единиц и температурой междупланетного пространства, — 273 градуса ниже нуля. Шар покрыт корой застывших гранитов и диоритов плотностью 2,7 единиц. Местами кора достигает 60 километров толщины. Между корой и застывшим ядром лежит пояс расплавленных металлов, продуктов атомного распада основного ядра.

Расплавленный пояс залегает на очень значительную глубину. В нем нужно различать три слоя: верхний, — ближайший к коре, — это шлаки, лава, выбрасываемая вулканами; средний, — Оливиновый пояс,— оливин, железо, никкель, то-есть состав осколков погибших планет, метеоров; и нижний слой, — золото, платина, цирконий, свинец.

Эти три слоя покоятся, как на подушке, на сгущенном до жидкого состояния поясе газа, очевидно, это гелий. За ним ядро земли. Оно состоит из металлов наиболее многоатомных, тяжелых, лежащих в конце таблицы Менделеева, — металлов, с которых начинается атомный распад: уран и торий.

Почему ядро земли температуры мирового эфира? Как происходит распад ядра? Почему между ядром и горячими металлами — пояс сгущенного гелия?

Шахта Золотого Острова должна разгадать эти загадки.



54.

Верхние края шахты были одеты стальной броней. Массивные цилиндры из тугоплавкой стали опускались в нее по мере ее углубления. Они должны были доходить до того места, где температура в шахте восходила до трехсот градусов. Это случилось неожиданно, скачком, на глубине десяти километров от поверхности. Смена рабочих и два гиперболоида погибли на дне шахты.

Гарин был очень доволен. Опускание и клепка цилиндров тормозили работу. Теперь, когда стены шахты раскалены, их охлаждали сжатым воздухом, и они, застывая, сами образовывали мощную броню. Их распирали по диагоналям решетчатыми фермами.

Диаметр шахты был невелик, — 20 метров Внутренность ее представляла сложную систему воздуходувных и отводных труб, креплений, сети проводов, алюминиевых колодцев, внутри которых двигались черпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гиперболоиды.

Все приводилось в движение электричеством: подъемные лифты, элеваторы, машины. В боках шахты пробивались пещеры для склада

машин и отдыха рабочих. Чтобы разгрузить главную шахту, Гарин повел параллельно ей вторую в шесть метров диаметром, — она соединяла пещеры электрическими лифтами, двигающимися со скоростью пневматического ядра.

Важнейшая часть работ, — бурение, — происходило согласованным действием лучей гиперболоидов, охлаждения жидким воздухом и отчерпывания породы элеваторами. 26 гиперболоидов, особого устройства, берущих энергию от вольтовых дуг с углями из шамонита, пронизывали и расплавляли породу, струи жидкого воздуха мгновенно охлаждали ее, и она, распадаясь на мельчайшие частицы, попадала в черпаки элеваторов. Продукты горения и пары уносились вентиляторами.

(Окончание следует).

1 мая.

Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за стансы.
В них правда есть.

Я видел праздник, праздник мая
И поражен.
Готов был сгибнуть, обнимая
Всех дев и жен.

Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то «хны»,
Что в солнечной купались пряже
Балаханы?

Ну, как тут в сердце гимн не высечь?
Не впасть как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили тож.

Стихи! Стихи! не очень лефте!
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей.

И, первый мой бокал вздымая,
Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая
За Совнарком.

Второй бокал, чтоб так, не очень
Вдрезину лечь,
Я выпил гордо за рабочих,
Под чью-то речь.

И третий мой бокал я выпил,
Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе
Судьба крестьян.

Пей, сердце! Только не в упор ты,
Чтоб жизнь губя...
Вот почему я пил четвертый
Лишь за себя.

Май 1925 г.

Сергей Есенин.

Персидские мотивы.

Море голосов воробьиных.
Ночь, а как будто ясно,
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно
И на устах невинных.
Море голосов воробьиных.

Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.

Милая, ты ли? Та ли?
Эти уста не устали
Эти уста, как в струях,
Жизнь утолят в поцелуях.
Милая, ты ли? Та ли?

Сам я не знаю, что будет.
Близко, а, может, гдей-то
Плачет веселая флейта.
В тихом вечернем гуде
Чту я за лилии груди.
Плачет веселая флейта,
Сам я не знаю, что будет.

Август 1925 г.

Сергей Есенин.

Родник.

Во мне забился новый,
Совсем живой родник.
Я человечье слово
По-новому постиг.

Оно звенит и плачет
И чувствует, как грудь.
И горю и удаче
Предсказывает путь.

Оно полно томленья,
Отравы и услад,
Когда живут коренья,
А листья говорят.

Оно полно тревоги,
Когда в бессонный час
Заговорят не боги,
А лишь один из нас.

Оно светло, как реки,
Как сонмы вешних рек,
Когда о человеке
Затужит человек.

И нет доверья слову,
И слово — пустоцвет,
Коль человечьим зовом
Не прозвенит поэт.

Что мне луна и травка,
И сад прекрасных роз,
Коль человечья давка
Безжалостна до слез.

Постиг иное слово
Я в буре наших дней:
Природа — очень ново,
Но человек — новей!

Петр Орешин.

Татьяна.

Скрылся полустанок,
Сыпет месяц стужей,
Прыгают курганы,
Как горбы верблюжьи.

И за каждым словом,
Мой ямщик, пугаясь,
Бредит Пугачевым
И лихим Буслаем.

Приютились просто,
Вербы на погосте,
Кланяются версты,
Как хозяйки — гостю.

...«Где село... Гадай-ка,
В эдаком тумане?..
Что ж... Свернем к хозяйке—
На печь к тараканам!.. —

Надо ж отдышаться
И коням усталым,
Не впервой валяться,
Нам на постоялом!..».

«Что ты пьян, аль бредишь?..
Или сам я пьяный?.. —
Нет, ямщик, поедем,
Ждет меня Татьяна!..

Аль страшась погони
Воровской за нами,
Ты боишься — кони
Опрокинут сани!.. —

Видишь на опушке,
Гонится вдогонку,
Наша деревушка
С церковью в сторонке!..».

...На деревне свистом
Ветер в перебранку,
Хочет с гармонистом,
Разорвать тальянку.

«Выйди, Таня, в сени,
Подойди к окошку,
Видишь: твой Евгений
Под окном с гармошкой!

Где сестрица, Оля?..
Убегла с уланом?..
Что ж... помчимся в поле
В санках на буланом!..

Лягут пеной косы, —
В снеговом тумане,
По степным откосам
Понесет буланый.

Будет серебриться
Лунный свет ночами
И в твоих ресницах
Путаться лучами...»

...«Выйди, Таня, в сени,
Подойди к окошку
Видишь: твой Евгений,
Под окном с гармошкой!..».

Петр Чихачев.

Зеленый дождик.

Дождик подмосковный
С тютчевских небес
Каплей баснословной
Распускает лес.

Тянет смолкой... Вот он,
Милый запах гроз:
Громовым отлетом
Обдает с берез.

Липко пахнут клены...
Дождик смолк — и вдруг
Вновь поток зеленый
Зашумел вокруг.

Мне же не случайно
Тепел дух с берез:
Я в зеленой тайне
Где-то сердцем рос.

И одной судьбою
Тютчевских небес
Называл порою
И себя, и лес...

Вдруг — и звонко ахнет
Взлетом топора —
Взмах — и сладко пахнет
Блеклое «вчера».

Стало в небе чисто,
Смолк зеленый шум,
Много водянистых
Ландышей и дум.

Ну, а там далеко,
Где труба пыхтит,
Дождиком высоко
В крышу тарахтит.

Где же смолк ты, юный
Шелест прошлых мест?
Где синеешь лунный,
Белоствольник лес?

Грянуло — и пали
Свежестью громов
Радуги и дали
В полукруг холмов.

Вот он веселится —
Подмосковный дом!
Вот — и он резвится
Баснословный гром!

Ник. Зарудин.

Песня о винтовке.

Только что и были у меня на свете:
Конь мой тонконогий, быстролетный ветер.

Да еще любила светлая такая,
Что березка в поле, женка молодая.

Был и друг любимый, был и друг сердечный, —
Я своей рукою спас его из сечи.

Да еще осталась от того от боя
Верная винтовка, что ношу с собою.

. . . .

Этой ночью страшной, ночью этой дикой
Не напрасно, видно, я проснулся, крикнул.

Видел только месяц, что вставал над бором,
Как любезный друг мой подбирался вором!

Как он из конюшни вывел вороного
И умчался тенью в перелесок снова.

Не заржал ретивый, молча, вынес в поле! —
Видно, мало гриву я чесал да холил!

Друг не оглянулся и не вспомнил сечи,
Лишь глаза горели, как пылают свечи.

И в седле высоком женка молодая
Не кричала звонко, не рвалась рыдая.

Лишь одна осталась над моей подушкой
Черная винтовка с неподвижной мушкой.

Подождите, други, у путины дальней, —
С пулею пришлю я вам привет прощальный;

Выйду на дорогу, молча, встану в тени:
Верная винтовка другу не изменит.

Сергей Малахов.

Встреча с весной.

(Красноармейская).

В ту ночь впервые, с глазу на глаз,
Я встретил весну:
Она, не начав рассказа,
Меня потянула ко сну.

Но я рукавицей провел по глазам,
И, за руку взяв, сказал:
— Мне по уставу спать нельзя,
Как бы я ни устал.

С винтовкой готовой я на посту,
Подсумок открыт.
Ты видишь звезды в тучах растут,
И в окнах огонь горит.

Но тучи шли черней и черней,
А окна гасли в ночи.
Гараж затихал, и среди кирпичей
Моя лишь подметка стучит...

И снова весна подступает ко мне,
Журчаньем ручья крича,
И снегом сочится из-под камней
И ветром льнет у плеча.

Геннадий Фиш.

Цыганка.

Памяти Есенина

Он всегда один и тот же, этот город,
Серая, бесплодная страна.
Безъименных и бездомных свора
Вечно чем-нибудь и кем-нибудь пьяна.

Любят здесь окраины глухие,
А затем, чтоб не краснеть до слез,
Проституток уводя в пивные,
Где гармошка воет, словно пес.

Не к добру расколота бутылка,
И цыганка плещет рукавом, —
Ведь Москва — ей каторга и ссылка,
Степь голодная и вольная — ей дом.

Вот припомнятся под рявканье гармоники
Берега бушующих костров, —
Разгадать ли в старом рваном соннике
Все значение бродяжьих снов.

Ах, и мы кочевничьей любовью
Захлестнулись, словно ниткой бус,
Мы, вскормленные твоей ржаною кровью,
Старая, соломенная Русь.

Ты становишься, ты стала уж другою,
Трезвая, железная страна,
И на внука за хромой сохою
Уж не смотрит бабка из окна.

Запыхтел, зафыркал грузный трактор,
Черноземом плескаясь в полях,
Только так же сумрачно и сладко
Пахнет сыростью в рябиновых кустах,

Только также над посевом озими,
Над березками, над плесенью болот,
К морю южному, в заплатанные просини
Журавлиный тянется полет.

Ну, а здесь, вот в этом пьяном сбродище
Забулдыг, поэтов и дельцов,
Ты попробуй, разыщи сокровище,
Нежное, как шум березняков.

Ты попробуй, разыщи-ка память
О себе, о юном, о простом,
О звенящих перепелках над снопами,
О плече под белым рукавом.

Варвара Вольтман.

Военно-полевые суды в Москве.

Н. Ростов.

Эта область карательной политики царского правительства чрезвычайно трудна для исследования, в виду глубокой тайны, окутывавшей эти суды. В печать попадали имена осужденных и только. Состав суда составлял государственную тайну чрезвычайной важности, так что даже в официальных отношениях выдержки из приговоров военно-полевых судов сообщались в таком виде:

> «Принимая во внимание, что свидетельскими показаниями не установлено его непосредственное участие в разбойном ограблении конторы (речь идет о Федоре Киндякове по делу об ограблении конторы Франка, об этом ниже. *Н. Р.)*, суд постановил — по лишении его всех прав состояния, подвергнуть ссылке в каторжные работы без срока.
>
> Председатель: генерал-майор N.
>
> Члены:
> Подполковник N.
> Подполковник N.
> Капитан N.
> Капитан N.».

Делопроизводство военно-полевых судов, видимо, вообще не существовало. Во всяком случае они не имели ни бланков, ни печатей, ни канцелярии. Даже департамент полиции не мог добиться от московского градоначальника точного отчета о военно-полевом судопроизводстве. Тщетно мы искали того, что может быть названо «делом» военно-полевого суда, завершившегося приговором. Может быть, где-либо в архивах Московского военного округа и остались следы военно-полевой юстиции, так как, согласно секретному приказу военного министра, протоколы военно-полевых судов должны были быть переданы в секретный отдел штаба округа.

Найденный совершенно случайно и переданный нам протокол заседания военно-полевого суда целиком подтверждает нашу мысль. Вся процедура суда была воистину чрезвычайно скоропалительна.

Этот протокол состоит из двух обыкновенных писчих полулистов бумаги. Весь он написан рукой председателя суда полковника Погорелова. Это указывает на то, что на зеседания суда никто, кроме членов суда, не допускался. На этих же полулистах имеются подлинные записи командующего войсками Московского военного округа, ген. Гершельмана. Наличие этих записей указывает на то, что приговоры до приведения в исполнение конфирмовались, — обстоятельство совершенно новое. Согласно п. 5 «Правил о военно-полевых судах» — «Приговор по об'явлении его на суде немедленно вступает в законную силу и безотлагательно, во всяком случае не позже суток, приводится в исполнение». Между тем генерал Гершельман приговор военно-полевого суда утверждает. Но ведь если он имел право утверждать, то естественно, что отсюда вытекало и право не утверждать. Или, может быть, это было простая формальность? Но она находится в полном противоречии с п. 5 официально опубликованных правил. Остается предположить другое — наравне с официально опубликованными правилами 20 августа 1906 года не существовала ли секретная инструкция о применении этих правил?

Вся процедура военно-полевого суда, согласно приводимому протоколу, имеет следующий вид:

> «1906 г. сентября 24 дня учрежденный в г. Москве командующим войсками военно-полевой суд в составе председателя командира 4-го гренадерского Несвижского полка полковника Горелова и членов: подполковников — 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка Синицкого и 4-го гренадер. Несвижского полка Юрасова и капитанов— 2-го гренадерского Ростовского полка Константинова и 3-го гренадерского Перновского полка Рябкова при делопроизводителе того же полка штабс-капитане Иванове, рассмотрев дело об именовавшем себя Ефремовском мещанине Николае Семенове Пирогове, а впоследствии назвавшемся крестьянином Московской губ., Подольского у., Десинской вол., дер. Курякина, Николаем Стрельцовым, 22 лет, преданном военно-полевому суду приказом по войскам Московского военного округа от 24 сентября за № 421, по обвинению в преступных деяниях, предусмотренных в ст. 1627 и 1633 уложения о наказаниях и ст. 279 XXII кн. св. военных положений 1869 г., основываясь на собственном полном сознании подсудимого и имеющейся в деле переписке, суд признал подсудимого Николая Пирогова, он же Николай Стрельцов, виновным в том:
>
> 1. Что, принадлежа к социал-революционной партии, боевой организации, он в сообществе с несколькими незадержанными лицами совершил с револьвером в руках разбойное нападение и ограбление 21 сентября казенной винной лавки в селе Ельне, Берядинской волости, Можайского уезда, и
>
> 2. в том, что при задержании его обнаружил попытку к вооруженному сопротивлению.

А потому, руководствуясь высочайшим повелением от 20 августа сего года и на основании 1627 и 1633 ст.ст. ул. о нак. и 279 ст. XXII кн. св. военных положений — постановил:

Подсудимого Николая Пирогова, он же Николай Стрельцов, по лишении всех прав состояния, подвергнуть смертной казни через повешение. Вещественные по делу доказательства представить вместе с делом.

Председатель полевого суда: полковник Погорелов.

Члены:

Подполковник Синицкий.
Подполковник Юрасов.
Капитан Константинов.
Капитан Рябков».

На этом приговоре ген. Гершельман сделал наверху надпись:

«Утверждаю.

Московский генерал-губернатор и командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Гершельман. 24 сентября 1906г. 7 час. вечера».

Далее протокол гласит:

«Просьба подсудимого Стрельцова, он же Пирогов. По окончании заседания суда подсудимый Стрельцов заявил:

«Я прошу дать знать брату и матери. Адрес брата: Остоженка, Троицкий пер., дом Фокина. Адрес матери: Богородский уезд, село Аниское, учительнице Варваре Николаевне Стрельцовой. Из отобранных денег прошу выдать 1 р. 50 к., так как эти деньги мои собственные».

Председатель суда: полковник Погорелов.

Делопроизводитель суда: штабс-капитан Иванов».

На этом полулисте ген. Гершельман надписал:

«Свидание с родными, если кто поспеет приехать, разрешаю. Гершельман».

Характерно, что в этом приговоре нет традиционного «по указу его императорского величества». Согласно основным законам карать кого бы то ни было судьи могли только волею императора, который передавал им таким образом частицу своей власти. В данном же случае военно-полевые судьи облекались в области наложения кар исключительной властью.

Пирогов-Стрельцов был повешен в Сущевском участке в 1 ч. 30 м. ночи на 25 сентября. Характерно, что политическое содержание настоящего дела было вытравлено из напечатанного официального сообщения, где Стрельцов фигурирует как признанный виновным «в нападении на поезд и ограблении».

Ниже мы приведем ряд эпизодов из практики военно-полевой юстиции. Мы отнюдь не собираемся дать исчерпывающую картину в этой области. Выше мы указывали на те трудности, которые лежат на пути исследователя этой области. Характерно, что официальные списки казненных находятся в полном противоречии с действительностью.

В марте 1907 года департамент полиции обратился к Московскому градоначальнику с следующим запросом:

«Благоволите возможно скорей прислать именные списки казненных в пределах градоначальства по приговорам военно-полевых судов со времени их учреждения с указанием места, времени исполнения приговоров. За директора Харламов».

Градоначальство ответило следующим списком казненных:

1. Бывший студент Владимир Владимирович Мазурин, руководитель боевых дружин (д. № 442).

1 сентября 1906 г.

2. Крестьянин Евгений Георгиевич Зверев — вооруженное сопротивление, начальник боевой дружины оппозиции п. эсер. (д. № 510).

3 сентября 1906 г.

3. Анатолий Владимирович Морозов, член террористической группы (д. № 564).

9 сентября 1906 г.

4. Константин Григорьевич Смирнов (д. № 564).

9 сентября 1906 г.

5. Николай Афанасьевич Гаврилов-Старостин (д. № 564).

9 сентября 1906 г.

6. Петр Дмитриевич Колков (д. № 564).

9 сентября 1906 г.

7. Неизвестный, бросивший бомбу в Рейнбота (д. № 1156).

2 ноября 1906 г.

8. Дорофей Дементьевич Романенко (д. № 1155).

16 ноября 1906 г.

9. Михаил Николаевич Ганшин (д. № 1026).

11 ноября 1906 г.

10. Иван Федорович Курцевич (д. 1010).

4 декабря 1906 г.

11. Константин Иванович Епифанов (д. № 1075).

28 декабря 1906 г.

12. Эдмунд Николаевич Новицкий (д. № 320).

1 марта 1907 г.

13. Михаил Николаевич Чеботаревский (д. № 320).

1 марта 1907 г.

14. Борис Николаевич Безродецкий (д. № 320).

1 марта 1907 г.

15. Иван Захарович Овсянников (д. № 320).

1 марта 1907 г.

Общее примечание: приговоры в отношении всех 15 лиц были приведены в исполнение в городе Москве».

Сопоставив этот список с газетной хроникой полевых судов с 1 августа 1906 года по 1 марта 1907 г. (по «Русским Ведомостям» и «Русскому Слову»), мы убедились, что список этот, во-первых, далеко не полон, — в нем отсутствует ряд имен, фигурирующих в газетах, как казненных полевым судом; во-вторых, одно имя — Ив. Фед. Курцевич — отсутствует в газетной хронике. Поэтому мы дадим только те материалы о лицах, помещенных в этом списке казненных, которые являются в печати впервые. Может быть, наша работа явится толчком к более детальному изучению этого вопроса.

1. Дело Андреева и Мазурина.

В этом деле было много неясного. Это относится, главным образом, к Андрееву, в связи с его оправданием полевым судом.

После ограбления московского купеческого общества взаимного кредита департамент полиции предложил московскому охранному отделению обратить особое внимание на В. Мазурина. Но последний не давался в руки охранки. Только 11 мая 1906 г. два филера охранного отделения проследили Мазурина в Сокольниках, когда он шел на собрание. Увлекшись наблюдением, они проникли на место собрания, но здесь были уличены и расстреляны. (один из них оказался только раненым). Получив доклад об этом происшествии, директор департамента, Вуич, 17 мая телеграфировал начальнику московского охранного отделения:

«Сообщите, почему Владимир Мазурин, наблюдаемый 11 мая, до сих пор не арестован».

Полковник Книпович на это ответил:

«Имею честь донести вашему превосходительству, что В. Мазурин 11 мая был замечен наблюдением в лесу в то время, когда он проходил на собрание. Смятение, вызванное убийством наблюдавших за сходкой филеров, и быстрое бегство участников собрания не дало возможности взять Мазурина под наблюдение после расстрела филеров, и с тех пор Мазурин более в сфере наблюдения не появлялся, несмотря на все принятые к обнаружению его меры».

29 августа 1906 года В. Мазурин был прослежен на Николаевском вокзале, откуда он пошел вместе с Павлом Андреевым в Сокольники. Наружное наблюдение установило затем его путь на Патриаршие пруды, где и решено было его задержать. Отряд сыщиков, городовых окружили В. Мазурина и Андреева. Последние начали убегать, отстреливаясь. Мазурин, раненый в плечо, был арестован уже на Долгоруковской улице. Конвоировав-

шим его городовым он предложил: «Берите сколько угодно денег, только пустите меня, а если нет, то убейте меня здесь». По дороге в участок, он успел выбросить какую-то записку. На допросе у ротмистра Колоколова он отказался от всяких показаний и не подписал протокола.

Андреев же показал следующее:

«Меня арестовали за револьвер, а как узнали, что у меня револьвер — я не знаю, арестовали меня около Садовой, на Бронной, недалеко от Патриарших прудов. Никакого сопротивления полицейским чинам не оказывал при аресте; я принадлежу к партии социалистов-революционеров, в каковую партию я вступил после декабрьского события 1905 года. Кто кроме меня состоит членом означенной партии я не могу назвать, потому что дал честное слово не называть; вообще о составе, деятельности и средствах организации партии социалистов-революционеров дать какие бы то ни было сведения не могу по сказанной уже причине; отобранное у меня оружие — собственность организации, так как я член боевой дружины. Сегодня до ареста я гулял по городу Москве с Володей Мазуриным, с которым я познакомился недавно — неделю тому назад, меня с Мазуриным познакомили другие товарищи, которых назвать я не могу, на собрании в Сокольниках.

«Сегодня с Мазуриным я встретился на улице около Николаевского вокзала, а туда я пошел из своего дома, Дьяковка, меблированные комнаты «Ока»; шел я в то время в Сокольники — гулять.

«С Мазуриным я гулял вместе в Сокольниках, где никаких собраний не было; из Сокольников вернулись обратно в Москву; около Сухаревой башни сели в конку и поехали до Патриарших прудов приблизительно; вышли из конки вместе и пошли; около церкви, какой именно не знаю, что около Бронной — в виду погони полицейских чинов я и Мазурин разбежались, после чего меня арестовали. Больше ничего показать не имею».

Личность В. Мазурина была установлена фотографом Александром Горбуновым, фотографировавшим его 26 мая 1904 г., когда он был арестован по делу социал-революционеров. Помимо городовых и охранников, в аресте Мазурина участвовал и легковой извозчик Александр Никаноров, № 7979. По ходатайству охранного отделения ему дана была награда в 25 рублей и «в виду могущих быть покушений на его жизнь» ему переменили номер.

О полевом суде над Мазуриным читатели «Каторги и ссылки» уже знают по статье Жук-Жуковского.

1 сентября 1906 г. за № 11174 приставом 3 уч. Рогожской части было получено следующее секретное отношение:

«Препровождая при сем состоявшийся 31 августа и утвержденный московским генерал-губернатором приговор военно-полевого суда по делу мещан: Владимира Мазурина и Павла Андреева предлагаю вашему высокоблагородию привести этот приговор в исполнение

безотлагательно не позже рассвета сего числа в отношении Владимира Мазурина.

Генерал-майор: Рейнбот.

Подполковник: Климович».

С казнью Мазурина спешили и поэтому в суматохе забыли, что Андреев оправдан. Последние три слова в этом отношении вставлены после.

В статье Жук-Жуковского мы имеем подробное описание казни Мазурина в Таганской тюрьме. Ныне в этом можно усумниться, ибо в таком случае приведение в исполнение приговора не было б поручено приставу. Из практики московских полевых судов мы знаем, что вслед за таким отношением следовала казнь в участке. Надо думать, что и Мазурин был казнен в Рогожской части. Андреев за ношение оружия был московским градоначальником приговорен к 3 месяцам тюрьмы. 9 сентября московская охранка писала в департамент полиции:

«Задержание Павла Андреева последовало в виду совместного появления его 29 августа на улицах города Москвы с разыскивавшимся мещанином Владимиром Мазуриным — одним из самых выдающихся деятелей боевой дружины оппозиционной фракции партии социалистов-революционеров и участника ограбления 7 марта сего года банка Московского общества взаимного кредита и расстрела 11 мая 1906 года 2 агентов Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в гор. Москве.

«При допросе Павел Андреев, не отрицая своего знакомства с названным Мазуриным и именуя его «Володей Мазуриным», не пожелал дать по сему более подробные об'яснения, ограничиваясь указаниями «недавно знакомы», «лишь вместе гуляли» и т. д., что по сопоставлению со временем вступления Андреева в состав боевой дружины партии социалистов-революционеров совершенно не заслуживает доверия. До сего случая неблагоприятных сведений об Андрееве не поступало.

«На основании изложенного и признавая, что в интересах охранения общественной безопасности и порядка пребывание мещанина гор. Переяславля Павла Михайлова Андреева как в гор. Москве, так и в пределах Европейской России безусловно вредно, — ходатайствую перед вашим высокопревосходительством о внесении произведенной по обстоятельствам задержания мещанина Павла Андреева переписки на рассмотрение особого совещания, образованного согласно 33 ст. положения о государственной охране, высочайше утвержденного 14 августа 1881 года, на предмет высылки его, Андреева, в административном порядке в один из отдаленнейших уездов Восточной Сибири, с подчинением гласному надзору полиции на срок не менее пяти лет».

Это ходатайство было удовлетворено.

2. Дело Евгения Зверева.

26 августа 1906 года департамент полиции писал московскому градоначальнику в связи с имевшими место случаями стрельбы по городовым на улицах Москвы и убийством околоточного Щукина:

«Имея в виду, что никто из стрелявших не задержан, между тем, как розыск виновных вследствие участившихся в последнее время случаев нападения на чинов администрации имеет особо важное значение, департамент полиции просит ваше превосходительство сделать зависящее распоряжение о принятии всех мер к изобличению лиц, причастных к означенным преступлениям. Трусевич».

На следующий день Зуев телеграфировал ему же:

«Примите все меры к обнаружению стрелявших 15 августа в городовых против ресторана «Волна» и на углу Каретного ряда. О результатах розыска сообщите».

Охранное отделение напрягло все силы и уже 30 августа доносило в департамент полиции:

«12 августа на собрании летучего отряда у Симонова монастыря, где находился и начальник отряда В. Мазурин, арестованный 29 августа, было решено убить двух городовых, которые принимали участие в задержании 8 августа дружинников. Выполнить это решение взялся Е. Зверев с пятью дружинниками, которые 15 августа и произвели нападение на городовых у ресторана «Волна» и убили околоточного надзирателя Щукина».

Розыски Е. Зверева увенчались успехом. В 12 ч. дня 1 сентября его заметили на лихаче в Б. Троицком пер. Для ареста его туда были командированы околодочные Миронов и Цецко. Но Зверев успел скрыться. Около 2 ч. дня дворник завода Гогенталь Вакиров, знавший ранее в лицо Зверева, увидев его вышедшим из дома Хлудовской богадельни, указал его городовому Мордвинову, который вместе с другим городовым, Сергиевским, погнался за ним. Догнав Зверева, Мордвинов схватил его за руку, но Зверев вырвался, бросился в ворота дома Ловягина и выстрелил в преградившего ему дорогу городового Сергиевского. Пуля случайно попала в рабочего Черноусова, который по доставлении в больницу умер. Зверев же скрылся в подвальное помещение, где был обнаружен и арестован дворником Воробьевым. Торжествовавший полковник Климович в тот же день телеграфировал директору департамента полиции:

«1 сентября. Приговор над Мазуриным сегодня приведен в исполнение. Сегодня же задержан помощник его по боевому делу, Евгений Георгиевич Зверев, оказавший вооруженное сопротивление и ранивший в живот своего сообщника, начальника боевой дружины завода Гогенталь, Черноусова. Один городовой легко контужен».

Участники этого ареста получили награды: околоточный 50 руб., Воробьев 25 руб. и все остальные по 15 руб. В тот же день Е. Зверев был предан военно-полевому суду. Приказом командующего войсками суд был назначен на 2 сентября в 4 час. дня. Но судьям было невтерпеж, и уже к 2 час. дня они собрались, но были вынуждены ожидать 1½ часа, пока Зверев был доставлен. На всю процедуру суда ушло меньше одного часа. В ночь с 2-го на 3-е Зверев был казнен.

3. Нападение на зеркальное заведение Франка.

6 сентября 1906 года шестеро вооруженных совершили нападение на зеркальный магазин Франка. В тот же день пять предполагаемых участников этой экспроприации — Анатолий Владимирович Морозов, Константин Григорьевич Смирнов, Николай Афанасьевич Гаврилов-Старостин, Петр Дмитриевич Колков и Федор Киндяков были арестованы.

П. Д. Колков на допросе показал: «Я сегодня вместе с четырьмя другими лицами, из которых знаю лишь К. Смирнова, принимал участие в ограблении магазина Франка. Отобранный у меня револьвер наган был не заряжен, так как я считал, что служащие конторы испугаются и не окажут сопротивления».

Несколько более подробные показания дал Н. А. Гаврилов-Старостин: «Я признаю, что был сегодня в конторе Франка с целью ограбления, при мне был заряженный браунинг, нас вел неизвестный мне молодой человек, носивший кличку «Чума», также «Сокол», лет около 27, роста выше среднего, худощавый, блондин, без бороды. Он не задержан. Револьвер мне дал он же. Деньги из кассы взяты им же. Он говорил, что принадлежит к партии социал-революционеров и что грабеж будет произведен на партийные нужды».

О сущности этого нападения охранное отделение сообщало департаменту полиции:

> «По полученным сведениям в последних числах августа из существующих в Москве революционных организаций выделилась небольшая группа лиц наиболее крайнего направления, присвоившая себе наименование сначала «террористическая группа», а потом «автономная группа». Группа эта внепартийна, состоит из весьма ограниченного количества членов — 12 — 13 человек и задачей своей ставит исключительно террористические акты и экспроприации, при чем до сих пор не выяснено, в чью пользу эти экспроприации будут совершаться. Активно группа выступила один раз, а именно 5 членов группы совершили ограбление конторы Франк, окончившееся поимкой всех участников, кроме Наумова».

По сведениям охранного отделения Наумов и был тот шестой участник, который стоял во главе нападения и унес 600 рублей из кассы. Все участники были взяты в разных местах, после нападения. Хотя по правилам о военно-полевых судах ему подлежали лица, взятые на месте преступления, тем не менее 7 сентября Гершельман предал всех пятерых полевому суду.

В заседании суда свидетели отрицали присутствие Ф. Киндякова в группе, совершившей нападение. Тем не менее суд, приговорив четырех к смертной казни, приняв во внимание, что виновность Киндякова не установлена, все-таки приговорил его к бессрочной каторге.

8 сентября Рейнбот писал приставу 4 уч. Мещанской части:

«Препровождая при сем приговор Московского военно-полевого суда, предлагаю вашему высокоблагородию означенный приговор привести в исполнение сего числа до рассвета в здании Сокольнического исправительного отделения. О последующем донести».

Ротмистр Власов, в 1 час пополуночи, получив это предписание, в 3 часа ночи на 9-е сентября совершил казнь.

4. Покушение на генерала Рейнбота.

30 октября 1906 года, в 11 ч. 45 мин. утра, на Тверском бульваре в московского градоначальника ген. Рейнбота была брошена бомба. Рейнбот остался невредим. Бросивший бомбу оказал вооруженное сопротивление, ранил околоточного охранного отделения Кувшинникова, был сам тяжело ранен в голову и задержан.

На другой день, 31 октября, генерал Рейнбот на бланке охранного отделения писал прокурору судебной палаты:

«Срочно. Секретно.

По приказанию г. московского генерал-губернатора прошу ваше превосходительство препроводить в канцелярию генерал-губернатора законченное судебным производством дознание о покушении на мою жизнь 30 сего октября на предмет предания покушавшегося неизвестного человека военно-полевому суду».

В тот же день полевой суд был сконструирован. Так как у него не было собственных бланков, то пришлось пользоваться бланками 7 гренадерского Самогитского полка. Председателем суда был назначен полковник Голосов. Остальной состав суда остался в абсолютной тайне. Местом заседания был избран Арбатский полицейский участок, где содержался тяжело-раненый неизвестный.

В тот же день, 31 октября, полковник Голосов представил генералу Рейнботу следующий рапорт:

«Экстренно. Секретно.

Г-ну московскому градоначальнику.

Рапорт.

Прошу распоряжения о высылке в заседание военно-полевого суда (Арбатский полицейский дом) 1 ноября с. г. к 11 часам утра:

а) лиц, поименованных в прилагаемом при сем списке в качестве свидетелей по делу о покушении на жизнь московского градоначальника 30 октября с. г.;

б) эксперта подполковника артиллерии Федора Егоровича Колонтаева;

в) врача Арбатского приемного покоя;

г) неизвестного человека, обвиняемого в покушении на убийство.

Прошу и ваше превосходительство прибыть на то же заседание суда к 11 часам утра.

Список свидетелей на обороте.

Председатель суда: полковник Голосов».

Свидетелями были: помощник градоначальника Коротков и агенты охранного отделения:

1) Ив. Бор. Волков, 2) Ив. Тим. Мина, 3) Ник. Вас. Салтыков, 4) Петр Троф. Петров, 5) околоточный Чернявский, 6) В. Роликов и 7) Дан. Скворцов.

В день взрыва помощник Рейнбота Коротков посетил покушавшегося и нашел его в довольно спокойном состоянии, хотя временами он впадал в беспамятство. Посетил неизвестного и сам Рейнбот; перед судом он выразил желание поговорить с ним. Но оказалось, что устная беседа невозможна, так как раненый в голову неизвестный оглох и не слышал предлагавшихся ему вопросов. В виду этого Рейнбот свои вопросы предложил в письменной форме.

— За что вы хотели меня убить? — спросил Рейнбот.

Неизвестный ответил:

— Я хотел убить не вас, а представителя власти.

— В чем проявлялся лично мой произвол?

— Вообще постановлено уничтожать представителей власти. Над всеми поставлен приговор, который я и исполнил.

— Кто вам дал право поставлять и исполнять приговоры?

— Народ, — ответил неизвестный и закрыл глаза.

Несмотря на тяжелое ранение головы, неизвестный был приговорен к смертной казни и повешен в ночь с 1 на 2 ноября. Перед казнью к нему вернулся слух и он отвечал на вопросы.

Накануне суда смотритель арестного помещения участка сделал попытку вступить в переписку с неизвестным, повидимому, с целью установить его личность. Ночью 31 октября он передал ему записочку:

«Я вам завтра приготовлю бульон из курицы. Смотритель».

Неизвестный ответил (привожу текстуально):

«Мне безразлично, чем бы ни подкрепиться, но только одно прошу перед совершением казни, чтобы я был бодр, вот чего я желаю».

На другой день эту записочку смотритель препроводил в охранное отделение.

Казненный впоследствии оказался рабочим чайной развесочной В. Перлова Гавриилом Александровичем Александровым, 23 лет.

5. «Пропаганда действием».

Двадцать шестого февраля 1907 г. в 8 часов в Москве в квартире студента Б. Н. Безродецкого состоялось небольшое собрание анархистов, где дебатировался вопрос об индивидуализме и коммунизме. Четверо участников, придя к выводу о необходимости пропаганды идей анархизма действием, имея при себе браунинги, отправились разоружать городовых, с целью терроризировать полицию. Около часа ночи, пройдя по Софийской набережной, группа подошла к стоявшему на посту городовому Именову и обезоружила его, после чего стала удаляться к Замоскворецкому мосту. Обезоруженный городовой поднял тревогу. На свистки откликнулись городовые с другой стороны моста. Тогда группа повернула к Спасским воротам и к этому времени уже вступила в перестрелку с преследовавшими их городовыми. Спасские ворота оказались запертыми. Преследуемые стали убегать вдоль Кремлевской стены и здесь у трактира Гусева убили городового Горина, преградившего им путь с обнаженной шашкой.

После этого группа разделилась. Двое, преследуемые городовыми, продолжая отстреливаться, побежали к Александровскому саду. Один из них, оказавшийся студентом Эдмундом Николаевичем Новицким, был ранен в ногу и задержан. Второй, студент Михаил Николаевич Чеботаревский, был сбит с ног сторожем Савиным, произвел несколько выстрелов и был задержан городовыми. Остальные побежали на Красную площадь, легли за кучу снега, вступили в перестрелку с преследовавшими их городовыми и, наконец, сдались. Они оказались студентом Борисом Николаевичем Безродецким и бежавшим из ссылки бывшим телеграфистом Иваном Захаровичем Овсянниковым.

Арестованные на допросе показали:

Овсянников: «Вечером 26-го в квартире Безродецкого собрались человек 5—6. После совещания решили в числе четырех итти по улицам города Москвы и отнять у городовых, у кого только можно, оружие. Намерения лишать кого-либо жизни как у Овсянникова, так и у его товарищей не было. Убийство городового произошло случайно, в целях самозащиты. Неизвестно, кто сделал два выстрела и городовой упал».

Овсянников заявил, что он анархист-коммунист. От подписи протокола отказался, ибо «он принципиально против каких бы то ни было подписей казенных бумаг».

Безродецкий: «26-го вечером собрались товарищи для совещания по другим делам; около полуночи, немного, может быть, ранее, все ушли, а Безродецкий, Овсянников, Чеботаревский и Новицкий отправились вооруженные на улицу, чтобы ограбить нескольких городовых не столько ради самого оружия, сколько ради пропаганды действием. Намеерния убить кого бы то ни было у них не было. Убийство городового произошло случайно, в целях самозащиты».

Спрошенный М. Н. Чеботаревский «на все вопросы молчал. Ответил лишь, что у него есть мать А. Э. Чеботаревская, живущая в д. 4, по Хлебному переулку». И даже протокол допроса гласит:

«Задержанный Чеботаревский, как оказавшийся, по наружному виду, сильно побитым, отправлен для оказания медицинского пособия (!) и содержания под стражей в приемный покой при Арбатском полицейском доме». Относительно избиения Чеботаревского городовой Копкин показывал: «Кто нанес побои Чеботаревскому, я не знаю, я его не колотил». Эту же фразу стереотипно повторяют и остальные городовые, арестовавшие Чеботаревского: Ковалев, Копыгин и Иванников. Больше никого при аресте не было. А между тем Чеботаревский оказался люто избитым.

Новицкий: «Убийство городового произошло случайно. Он не знает, кто мог это сделать. Браунинги принес 26 февраля на квартиру Безродецкого один товарищ, известный под кличкой «Петра». Ни к какой определенной партии не принадлежит».

Новицкий «по болезни» даже не мог подписать протокол.

В тот же день московский градоначальник вошел с ходатайством к генерал-губернатору о предании всех четырех военно-полевому суду.

Военно-полевой суд не смог установить, кто убил городового, но все-таки приговорил всех к смертной казни.

28 февраля московский градоначальник получил из департамента полиции телеграмму:

«Благоволите телеграфировать, в каком порядке предполагается направить дело о студенте Чеботаревском. Директор Трусевич».

Полковник Книпович ответил:

«Дело Чеботаревского направлено в военно-полевой суд».

На телеграмме же Трусевича сделана надпись:

«В 7 час. утра 1 марта повешен».

Так неожиданно-трагически закончилась эта удивительная попытка «пропаганды действием».

Коран и его социальная идеология.

(Глава из книги, посвященной социальным и политическим идеям восточной теократии).

М. Рейснер.

Мусульманская идеология, как известно, родилась около крупного центра торговых путей, сосредоточенного возле Мекки (древней Макорабы) и Ятриппы, позднейшей Медины. Караванная торговля арабов происходила в крупном об'еме еще до начала нашей эры и носила некоторые черты, сближавшие ее с современными формами обширных предприятий. Мелкие капиталы участвовали в караванной торговле при помощи многочисленных вкладов на сооружение караванов, благодаря чему сооружались порой весьма крупные торговые экспедиции. Из таких городов, как Мекка, ежегодно отправлялись караваны осенью в Емен и Абиссинию, весной — в Сирию. Предметами вывоза были кожа, ладан, клей, драгоценные металлы; предметами ввоза — разного рода ткани, шелк и предметы роскоши. По сведениям от начала VII века мы имеем до 6 экспедиций такого рода. В их состав входили многие тысячи вооруженных верблюдов со стоимостью товаров до 50.000 золотых динариев (динарий равняется 15 франкам). Богатые купцы обыкновенно становились во главе экспедиции и удерживали до половины всей прибыли в свою пользу, но остальная половина шла на вознаграждение тех мелких вкладчиков, которые участвовали в сооружении каравана иногда не более, как одним или двумя динариями (Железнов. Очерки политической экономии, Москва 1908 г., стр. 525 — 526. А. Мюллер, История Ислама, I. СПБ 1895, 26, 27, 28, 29. Бартольд, Ислам, Пг. 1918, стр. 4 — 6).

Караванная торговля Аравии, которая шла проторенными путями через пустыни от одного населенного пункта к другому и от одного оазиса с колодцами к следующему, дополнялась также морской торговлей арабов, служивших посредниками между Азией, а в частности Индией и Средиземным морем. Впоследствии при установлении арабского владычества на южных и восточных берегах Средиземного моря эта торговля получила очень крупное развитие. С одной стороны арабские караваны шли из Сирии на Восток через Алеппо и Багдад, а с другой — по Красному морю они добирались до Персидского залива и вывозили оттуда товары, которые на другом конце торгового пути подхватывались венецианскими и генуэзскими галерами (Хоррабин, Экономическая география в марксистском освещении, Москва 1925 г., стр. 41, 45, 46). Такое значение аравийских торговых путей особенно в эпоху оже-

сточенной борьбы между Византией и ново-Персидским царством должно было необходимо привести к крупным изменениям как в самой Аравии, так и в отношении этой страны к ее ближайшим соседям. Ибо совершенно очевидно, что интересам крупной арабской торговли жестоко противоречил факт полной разрозненности кочующих и оседлых арабов, северной и южной стороны Аравии, населенной в первой своей части разбойниками — кочевниками, а в южной — оседлыми и подчас весьма состоятельными участниками международного торгового оборота. Ибо естественно, что кочующие арабы, хозяйство которых исчерпывалось наличностью верблюда и лошади, представляли собой постоянную угрозу торговым путям и караванам, так как, поскольку они, с одной стороны, являлись проводниками и наемною охраной караванов, постольку же при малейшей возможности они занимались их грабежом. Распадение же всех этих групп на бесчисленное количество друг от друга, независимых родов делало совершенно невозможным какое-нибудь общее соглашение с ними в общих интересах — хотя бы в виде уплаты дани какому-нибудь одному крупному вождю или шейху.

Потребности мировой торговли совершенно необходимо толкали арабов, особенно же ведущих караванную торговлю, к необходимости об'единения и общей организации. Только таким образом было возможно обеспечить безопасность торговых путей и этим самым защитить торговлю от ежеминутных и притом очень тяжелых потрясений. Крупные убытки от непрестанных грабежей, от которых не спасали даже сравнительно большие караваны — были основным и чрезвычайно веским убеждением к арабскому об'единению. Характерно, что так как мелкие вкладчики караванной торговли страдали не только не меньше, но, наоборот, значительно больше от отсутствия безопасности торговых путей, то и мысль об единении всех арабов как кочевых и оседлых в одну великую общину родилась в голове именно мелкого торговца Магомета, сына Абдалаха (или Абдуллы) из рода Хашима, который хотя и принадлежал к господствующему в городе Мекке племени корейшитов, но в то же время отнюдь не был в числе знатнейших граждан. Нас не интересует здесь его деятельность в качестве религиозного реформатора, как такового. Достаточно сказать, что Магомет выступил со своею религиозною проповедью отнюдь не в молодые годы, а, следовательно, имел полную возможность использовать и свой жизненный опыт в качестве торговца и те познания, которые он приобрел о различных религиях среди весьма смешанного населения торговых городов. Не надо забывать, что в этих центрах арабской торговли находились в большом числе не только иудеи, персы, но и многочисленные крестьяне всевозможных сект и исповеданий. Надлежит отметить также и другой момент, а именно—тот, что проповедь Магомета имела успех вовсе не потому, чтобы ему удалось войти в широкие массы и сразу поднять их движения при помощи удачно найденной идеологии, отвечающей их социальным, а в особенности классовым интересам. Такого успеха в качестве проповедника и пророка Магомет не имел. Его учение привлекло к себе внимание и последователей лишь под влиянием весьма реальных фактов и доказательств. К ним принадлежат в первую голову его удачные опыты по

организации торговой конкуренции города Ятрипы с Меккою и использование системы грабежа по отношению к караванам Мекки. Как свидетельствуют все исследователи, Магомет проявил себя здесь не столько как пламенный пророк и религиозный проповедник, но как превосходный организатор, которому в высшей степени пошло на пользу его новое учение. Первые начатки корана (куран — т.-е. писание), таким образом, оправдали себя на практике, как превосходное орудие организации и единства, и если под знамя этого учения начался основательный приток верующих, то опять-таки не под влиянием какой-то религиозной жажды, а отлично обнаруживших себя на деле предписаний нового закона. Единая организация первоначальной военно-религиозной общины настолько оправдала себя, что, во-первых, стала ячейкой, из которой развилось грандиозное здание мусульманского халифата, а, во-вторых, доставила корану высшую руководящую и организационную роль в создании мусульманской теократии. Если искать аналогии в западно-европейском религиозном движении, способном напомнить возникновение и рост мусульманства, то ближе всего сюда подходят различные течения европейской реформации, которые точно так же возникли под непосредственным давлением капитала и, в первую голову, капитала торгового.

Здесь возникает естественный вопрос, который подсказывается наличностью в Аравии монотеистических религий, которые могли непосредственно дать идею единства в лице либо христианского Иисуса, либо иудейского Ягве. Казалось бы, наиболее простым и дешевым способом для создания нужной арабам идеологии могло служить основное понятие единого божества, лежавшее в центре и тех и других верований. И если даже считать, что христианские течения были недостаточно представлены в городах Аравии и производили впечатление не столько единобожия, сколько многобожия (троицы), то спрашивается, почему столь последовательный образ еврейского Ягве не был непосредственно заимствован арабами, а следовательно, не повлек за собою прямого обращения их в иудейство. Действительно, в коране находим мы весьма многочисленные места, где Магомет полемизирует с христианством именно на почве единобожия и многобожия. Как кажется, местные христианские верования у него оставили, в конце концов, совершенно твердое впечатление, что христиане веруют не в одного бога, а в нескольких, при чем наравне с богом-отцом они почитают не только бога-сына, т.-е. Иисуса, но также и богиню-мать, а именно деву Марию. Такое представление божества в виде особого божественного семейства, где в наличности имеются и отец, и мать, и сын, уже потому было для Магомета неприемлемо, что местные язычники, поклонники родовых божеств в виде священных камней, не раз предлагали Магомету устроить родственное сближение между богом-отцом и старыми богинями (Лат, Узза и Манат) путем провозглашения последних непосредственными дочерьми Магометова бога-отца (Мюллер, История Ислама, т. I, стр. 74—75. M. Hartmann, Der Islam, Leipz. 1909, стр. 4).

Вот почему одним из основных признаков божества, по учению Магомета, является лишение его свойств отца и главы какого-бы то ни было божественного семейства. Отрицание отеческого характера и семейных связей

между богами или даже лицами одной какой-нибудь троицы направлены у него как против многобожия, так и христианства: «Он создатель небес и земли; откуда будут у него дети, когда у него не бывало подруги?». Или, как сказано в другом месте, бог «никогда не имел детей». А поэтому у него «не было соучастников царствования», для него «никогда не требовался какой-либо защитник от унижений». Даже более того, «богу не свойственно иметь детей». Если же Магомет вместе с христианами готов признать непорочное зачатие девой Марией Иисуса от бога как творца, то именно потому, что Иисус почитается здесь лишь в качестве человека и божьего посланника, рождающегося от Марии несколько чудесным путем: рождение происходит от духа божьего без всякого отца, ибо предполагается, что для бога нет ничего невозможного. Но это нисколько не значит, чтобы можно было «милостивому усвоять детей». «Милостивому не свойственно иметь детей», а Иисус есть не сын, не бог, а чудесным образом созданное творение божие. Как говорит бог: «В сохранившую девство свое вдохнули мы от духа нашего и поставили ее и сына ее знамением для миров». И такое отрицание наличности у бога детей Магомет об'ясняет в другом месте: «У бога нет никаких детей; вместе с ним нет никакого бога. В противном случае каждый бог захватил бы то, что сотворил он, и одни из них были бы выше других». Другими словами было бы нарушено всякое единство, а между богами могло бы возникнуть некоторое соперничество. И что Магомет в данном случае был не совсем неправ, показывает общий миф о боге-отце и сыне, где первый подвергает второго мучительным истязаниям и даже смерти... (Коран, перевод с арабского языка Г. С. Саблукова, 3-е издание, Казань 1907 г., Сура 6, ст. 101, Сура 17, ст. 111, С. 19, ст. 36, 19,21, 91—94, С. 21, ст. 91, С. 23, ст. 93, С. 72, ст. 3). Нельзя не видеть, что такое лишение бога отцовских черт и отцовского характера сразу налагает на Аллаха (ал-илах, т.-е. бог) магометан особые черты некоторой трезвости и холодности, резко отличающей его от бога христианского. Сближение, таким образом, остается только между Аллахом и Ягве.

Нет никакого сомнения, что между этими двумя образами божества существует громадное сходство. И недаром Магомет в своем учении делает постоянные и чрезвычайно обширные ссылки на библейскую историю заповеди Ягве, его закон и пророков. По толкованию мусульманского проповедника, Аллах и есть собственно тот же Ягве, который лишь послал нового пророка в лице Магомета, а с ним вместе дополнил и исправил ветхий завет новым учением, которое должно заменить собою старый еврейский закон. И если мы вчитаемся в коран, то увидим, что на самом деле заимствования Магомета у юдаизма так велики, что без натяжки мусульманство, подобно христианству, можно считать одним из прямых и непосредственных преемников библейского закона. Воспринята и основная заповедь обрезания у евреев, заимствованы основные положения десяти заповедей, использовано и понятие божества, которое избрало определенный народ и намерено доставить ему всевозможное блаженство под условием точного исполнения его велений и запретов. В особенности воспринята кораном обширная система материальных наказаний на

земле и после смерти так же, как каталог соблазнительнейших наград в этом и том царстве, которая отличает собой чрезвычайно резко всю систему древне-израильской идеологии. С этой стороны, можно сказать, иудейство вполне подходило к запросам арабского купечества, и то же самое должно заметить о ряде правовых положений, находящихся в библии. Отношение к рабам, положение женщины, даже ряд правил, имеющих целью поддержку социально слабых элементов — все это не только годится, но и на самом деле входит в идеологию и правовой строй мусульманства. Казалось бы, ничто не препятствовало общей рецепции юдаизма со стороны арабского населения, а следовательно, и наиболее экономному разрешению вопроса об организации и единстве. И даже те специально военные и завоевательные обетования, которые были даны Ягве избранному народу, могли бы быть без труда перенесены на арабов, способных таким путем влиться в общий состав еврейской религиозной общины, укрепить и расширить ее. Как мы знаем из истории Магомета, он неоднократно делал усилия и попытки к сближению с оседлым в Аравии еврейством и особенно чувствительно был затронут крайне отрицательным отношением их к новой религии. В коране остались до сих пор многочисленные страницы, где Магомет горько жалуется на евреев, их неспособность увидеть в мусульманстве религию Авраама, Исаака и Иакова и нетерпимость, с которой они встречали все его усилия дополнить старый закон и отчасти заменить его богооткровенным кораном.

И, однакоже, такое об'единение было совершенно невозможно. И это по двум основаниям. Во-первых, еврейство не могло сделать нужных уступок, а, во-вторых, интересы арабов далеко не могли бы удовлетвориться даже самыми широкими их уступками. После разрушения Иерусалима еврейский закон уже был лишен той жизненной основы, которая сообщала ему малейшую способность к дальнейшим изменениям, он перешел, что называется, на консервацию в общинах диаспоры, и притом в той своей форме, которую наложила на него теократия иерусалимского жречества. И если бы был еще возможен какой-либо пророк среди евреев, то, за потерею Палестины, лишь в среде и на почве общин рассеяния. Вместе с тем с падением второго храма настолько уже закончилась эпоха обычных пророков, что появление его в диаспоре не могло означать ничего другого, как сошествие на землю последнего пророка благовестия, т.-е. сына божьего, или мессии. Относительно же такого пророка и мессии существовало совершенно определенное указание, что он выйдет непременно из среды самого избранного народа, и даже из племени Давидова. Магомет абсолютно не удовлетворял этим требованиям, и не в его целях было ставить себя в ответственное и затруднительное положение еврейского чудотворца и спасителя. Но если бы даже арабские иудеи пошли на самые широкие уступки, то и тут ничего бы не вышло потому, что они никоим образом не смогли бы отказаться ни от теократического устройства, ни от Мессии, а за отсутствием каких-либо законных форм религиозного законодательства не смогли легализовать для всего еврейства своих уступок. Слишком сложный багаж вынесли они с собой из своего исторического прошлого. И приспособить — да еще в законной форме — свою

тонко разработанную космогонию, историю, догматику, нравственное и юридическое законодательство и социальный строй к потребностям полуварварского, разбойничьего и торгового народа для них было совершенно немыслимо. Попросту говоря, здесь встретились идеологии двух народов: одного — только выходящего на широкую историческую арену, другого — уже завершившего свою основную культурную работу и лишенного каких бы то ни было надежд на широкое национальное существование. И если даже существует известное сходство между первыми выступлениями древнееврейских семитов и начальными шагами семитов-арабов, то во всяком случае последние должны были снова начать с самого начала тот путь, который уже проделан евреями.

Вопросы крайнего упрощения сложной исторической, метафизической, нравственной и юридической ткани старого закона нуждались в разрешении не только потому, что мы здесь имеем начало и конец в некоторых пунктах сходного процесса. В основе несходства лежали и другие более глубокие причины. Завоевание Ханаана превратило, как можно полагать на основании достаточных данных, еврейских кочевников в земледельцев. Лишь впоследствии к этому основному крестьянскому и сельскохозяйственному ядру присоединились наслоения, с одной стороны, феодальной собственности, а с другой — торгового капитала. Поэтому вся идеология древнего юдаизма была от начала до конца проникнута именно земледельческими и широкими крестьянскими интересами. Как мы уже знаем из библейской истории, основным содержанием всех договоров народа с Ягве и различных обетований была прежде всего земля и возможность процветания мелкого хозяйства. Пророки приходили главным образом к этой крестьянской массе и вещали ей грядущий мужицкий рай.

Сам Мессия есть лишь орудие для выполнения этой основной задачи. На крестьянстве основывалась теократия второго храма. И даже в моменты наибольшего развития еврейского торгового капитала основным тоном и важнейшим содержанием религиозной идеологии был крестьянский мир земледельца, сидящего под своей смоковницей и виноградниками. Этот мотив, осложненный в эпоху эллинизма идеей искупления, дал возможность впоследствии об'единить библию с новой европейской культурой, где крестьянин сохранил свое господствующее положение в производстве. Несомненно, оседлые арабы представляли собой в большинстве подобную категорию мелких земледельцев. В коране, как мы увидим дальше, большую роль играют и каналы орошения, и ручьи, и виноградники, и смоковницы. Упоминаются и хлебные поля. Но едва ли не главную роль играют финиковые пальмы оазисов, стада верблюдов и овец, табуны лошадей и—что еще характернее—корабли и мореходные суда среди волн бурного моря. С другой же стороны, весь коран по своему трезвому рационализму, сухой расчетливости, постоянному измерению и взвешиванию, также как индивидуалистическому характеру, носит ярко выраженные черты интересов не крестьянства, а торгового, да еще вдобавок воинствующего капитала. Основные классовые интересы, которые ищут своего удовлетворения в этой книге нового «писания», — это совершенно явные, а порою даже весьма грубо выраженные интересы мелкой и крупной

торговой буржуазии. В ряде очень существенных пунктов они совершенно противоречат классовым интересам земледельца, наложившим свою печать на библейский закон Ягве. Такое классовое несовпадение двух идеологических систем, само собой, исключило и возможность более или менее полного и широкого принятия арабами иудейского вероучения.

Если мы теперь обратимся к самому понятию божества в коране, то сразу же должны будем отметить специфический характер торгово-индивидуалистической идеологии. Уже отсутствие «отеческих» свойств превращает самого бога в подлинного индивида, который лишь из самого себя почерпает все проявления своей личности. С этой стороны коран дает нам совершенно исключительное напряжение личного начала в божестве: «Он — бог — един, крепкий бог. Он не рождал и не рожден: равного ему кого-либо не бывало». «Богу принадлежит царственная власть над небесами, землею и над тем, что есть между ними. К нему возвращение всего... Он прощает тому, кого хочет, и наказывает того, кого хочет». «Он полновластен над своими рабами». «Ни один лист древесный не падает без его ведома». «Он производит творение и со временем опять уничтожает его». Как сам бог говорит своими собственными устами, даже при сотворении людей и гениев он признавал только свои собственные личные цели: «Я, — говорит он, — сотворил гениев и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Или, как он говорит в другом месте: «Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, только для проявления истины». В основе акта творения, следовательно, лежит исключительно личная воля божества. И совершенно так же он лично руководит всею жизнью на земле, а в особенности жизнью и деятельностью людей. На этом основано и предопределение, которое для земных тварей приводит к неизбежной и рабской зависимости от воли творца. «Всякому имеющему душу надобно умереть не иначе, как по воле бога, сообразно книге, в которой определено время жизни». Точно так же и во время самой жизни: «все дела во власти бога». «Каждому из вас, — говорит бог, — мы вложили устав и дорогу». «Кого бог захочет подвергнуть искушениям, того тебе никак не защитить от бога. Тем, у которых сердец бог не захочет очистить, будет посрамление в здешней жизни, будет великая мука в будущей жизни». Он «может послать на вас казнь или сверху, или снизу из-под ног, или одеть вас одеждой разногласий и заставит вкусить беды друг от друга». «По своей воле бог оставляет некоторых людей», чтобы «они, исступленные, скитались по распутиям нечестия». «Если бы он захотел, то всех... поставил бы на прямой путь». По своему желанию, однако, сотворил он «для геенны... великое число гениев и человеков: у них сердца непонимающие... у них очи невидящие... у них уши не слышащие... они, как скоты, — и даже больше, чем они, — блуждают». Некоторых людей бог «незаметно» доводит «до погибели, так что они того и не узнают». Иногда по воле бога все совершается так, чтобы некоторые люди «и издохли неверными». «Душа может веровать только по изволению бога». Даже в тех случаях, когда бог сначала доставляет «житейские выгоды», он делает это для того, чтобы впоследствии их постигла «лютая казнь». «Бог вводит в заблуждение кого хочет, и ведет прямо, кого хочет». В этом бог

ничем не связан, кроме своей собственной воли. «Бог делает, что хочет». Это относится и к целым народам: «Никакой народ не ускорит наступления назначенной для него поры и не отсрочит ее». Поэтому иногда на запросы пророков бог прямо отвечает: «Это так с тобой устроил я для себя» (Коран).

Приведенные положения корана не оставляют ни малейшего сомнения в том, что мы имеем дело не только с каким-то предопределением, которое носило бы общий характер фатума, или судьбы, обязательной для бога и людей, как это было в древнегреческой религии, или хотя бы общей и равной для людей, но встречаемся с личной волей божества, принимающей полнейший характер личного произвола. Бог — это, можно сказать, весьма энергичный и деятельный хозяин, который дела свои ведет преимущественно без посредства приказчиков и сам определяет, кого ему желательно пустить по одной дороге и кого по другой, какую степень свободы предоставить тому или иному, какими бедствиями или испытаниями обставить отдельное лицо, семьи и народы, при чем, однако, этот личный бог предпочитает согласно данному им откровению иметь дело, как это принято в хороших коммерческих отношениях, с отдельными людьми лично или непосредственно с тем, чтобы получить желательные, нужные ему результаты. Такой бог менее всего склонен связывать свою свободу каким-то особым договором или взаимными обещаниями. Он действует, как купец, избирающий пути там, где это ему наиболее выгодно, и оставляет за собой возможно широкую свободу действия. Такая аналогия между действиями богатого и мудрого коммерсанта, с одной стороны, и бога по учению корана—с другой, получает подтверждение далеко не только на основе приведенных нами соображений. Напротив того, коран, хотя и несколько непоследовательно, указывает на некоторую борьбу между человеком и богом, которая ведется, конечно, лишь в рамках, назначенных самим божеством, и приводит к непременной победе бога над человеком. Это своего рода игра или божественный спорт, исход которого предопределен в пользу сильнейшей стороны. Вполне естественно, что человек в таких случаях прибегает не к силе, которой у него нет, но к общему орудию всех слабых — к хитрости. Как тут происходит дело? И коран отвечает на это без малейших колебаний: «Они хитрили, и бог хитрил, но бог — самый искусный из хитрецов». Иногда люди, постигнутые несчастьем, пробуют обмануть бога, тогда они умоляют его «и лежа, и сидя, и стоя», но когда бог удаляет от него несчастье, тогда человек «уходит, как-будто он никогда не умолял... об удалении постигшего его несчастия». Но никакие ухищрения не помогут: «Бог быстрее всех в ухищрениях». «Хитрость во всей своей полноте у бога: он знает, что усвояет себе каждая душа». И если люди «ухитрились своей хитростью», то и бог «ухитрился своей хитростью, так что они и не догадались» (С. 3 — 47, с. 10 — 13, 22 — 23, с. 13 — 42, с. 27 — 4, 51, с. 7 — 182). Такая «хитрость» всемогущего бога по отношению к слабой твари, являющейся полной игрушкой в руках своего всемогущего хозяина, вызывает, конечно, довольно горькое чувство, ибо божия «хитрость верна». Она выглядит несравненно хуже хитрости абсолютного духа в философии Гегеля, который при помощи ее стремится к диалектике саморазвития и самопознания. У Ма-

гомета это — просто обожествление крупного капиталиста-коммерсанта, который в наперед рассчитанной безошибочной игре ставит ловушку несчастной бедноте и забавляется тем, как его маленькую хитрость он побеждает своими ловкими и страшными ухищрениями. Перед нами бог не только в качестве индивида, каким мы его встречаем на любом рынке, но и прямо во образе какого-то обожествленного, на небе водворившегося, всемогущего купца.

Коран, впрочем, и не стесняется прямо поставить отношение человека к богу на чисто утилитарную почву известной выгоды и прибыли. И если Аллах получает известное удовлетворение от поклонения ему человеческих существ, которых он собственно и создал для этой цели, то тем покорным, смиренным, послушным, благодарным из числа верующих, которые выполняют его желания и соблюдают его закон, он непрочь доставить очень крупные выгоды. И не раз Магомет именно тем оправдывает необходимость поклонения единому богу — Аллаху, — что другие боги совершенно бессильны, и поэтому «ни пользы нам не принесут, ни вреда нам не нанесут». Этот аргумент мы находим в коране необычайно часто. Только один бог Магомета оказывается настолько сильным, что он может уделить достаточно «щедрот и благоволения» своим почитателям. В этом смысле с таким хозяином, как бог, стоит иметь дело. И если он выступает перед нами не раз в совершенно неприкрытой форме купца, то с таким небесным богачом и чудотворцем действительно стоит затеять торговлю. И в коране много раз повторяются подробнейшие перечисления всего, что может бог, что он сделал и что еще сделает, для того, чтобы показать, что тут известный оборот с божеством не только не будет убыточным, но, наоборот, приносящим большую прибыль. Приведем здесь некоторые подтверждения того, что мы не преувеличиваем основной точки зрения и что, подобно тому, как у евреев шла речь о клятвенном договоре всего избранного народа с Ягве, здесь у другой семитской отрасли — арабов — господь находится в своего рода торговой сделке с каждым из своих последователей. «Радуйтесь о вашем торге, — говорит пророк, — которым вы сторговались с ним (т.-е. с богом)». «Бог купил у верующих жизнь их и имущество их, платя им за них раем». И такую сделку нельзя считать невыгодной, ибо люди «бедны, нуждаясь в боге, а бог богат». И когда верующие «читают писание божие, совершают молитвы, тайно и явно делают пожертвования, то они «ждут торговли, которая не будет неприбыльною: плату им он даст верно и увеличит ее им из щедрот своих». Подобные отношения уподобляются и другим финансовым операциям, и тот, «кто хочет дать взаем богу хороший заем», тот не просчитается, так как бог «вдвое» заплатит ему за него и даст еще сверх того «щедрое вознаграждение». Это, так сказать, торговля с известной премией: «Творящие милостыню, они дают взаем богу хороший заем, — получат сугубую отплату: им будет щедрое воздаяние». «Это лучшая» для людей «торговля» — уверяет нас пророк — приносить известные жертвы богу. И если иногда земная торговля должна быть оставлена ради исполнения обязанностей к богу, то это оправдано потому, что в торговых отношениях с божеством «больше для вас добра, если вы знаете». — «Если вы даете в ссуду богу хорошую ссуду, он вдвойне отплатит вам» (Коран).

Богатство и могущество бога, как одного из контрагентов торгового оборота между верующими и Аллахом, как мы видели выше, есть важнейшее основание для того, чтобы поддерживать со «всемогущим» деловые отношения. И коран, можно сказать, наполнен описаниями того сверх'естественного богатства, которое присуще «богу Востока и Запада». И в то время, как другие боги совершенно бессильны и не могут принести «ни пользы, ни вреда», бог, которого проповедует Магомет, выступает перед нами в исключительном ореоле своей чисто материальной силы и богатства. Уже на примере евреев мы видели, какую громадную роль играют чисто материальные награды и наказания в направлении к жизни и деятельности верующего. Нужно отметить, что коран в этом отношении не знает себе соперников. Единый бог мусульман — это прежде всего господин физической природы и материальных благ. Рисуя его силу в этой области, пророк, как кажется, прибегает к самому важному и вместе с тем решающему аргументу в пользу своего единобожия. Страницы корана, посвященные изображению материальной мощи божества, прямо бесчисленны. Нам остается выбрать прямо несколько случайных мест в качестве иллюстрации и образца для сказанного. Так, в 16-й главе, или суре, которая именуется «Пчелы», Магомет следующими чертами изображает нам всемогущество божие: «Он творит человека из семени», это положение в других случаях дополняется еще картиной всего физиологического процесса утробной жизни и рождения человека, при чем именно бог остается все время истинным творцом человеческого существа, рождающегося «из сгустившейся крови, потом из куска мяса, то красиво сложившегося, то некрасиво сложившегося», отмечаются затем рост и младенчество и т. д. В подобных изображениях весьма замечательна точность и подробность, с которой изображается почти научно-естественный процесс. Бог, далее, все создает для человека. В этом смысле он принимает характер заботливого хозяина, предусматривающего опять-таки все мелочи и снабжающего человеческое существо прежде всего необходимыми материальными благами. «Он творит скот: от него вам теплая одежда и другие полезные вещи; от него вам также и пища; от него вам приятность в то время, когда вечером загоняете его в стойло, и в то же время, когда утром выпускаете его на пастбище». И опять-таки мы находим любопытные подробности материалистического свойства: «Бог сотворил всех животных из воды: из них некоторые ходят на чреве своем; некоторые ходят на двух ногах, а некоторые ходят на четырех. Бог творит, как хочет». Однако у этого творения всегда есть определенная цель — животные созданы для человека. Поскольку эти животные не служат человеку в пищу, постольку они переносят «тяжести в те страны, в которые вы могли бы достигать только с утомлением для себя». Он «творит коней, мулов, ослов для того, чтобы вам на них ездить и щеголять ими». В этом случае животное выступает как орудие транспорта, что особенно необходимо при условиях караванной торговли. Без бога, следовательно, и здесь никак не обойтись. Также бог заботится о снабжении всего живого водою: «от нее вам питие, от нее растения и трава, на которой пасете стада». Как это происходит? — Ответ на это, подобно прежним положениям, носит характер своеобразной физики: «бог движет

облака и соединяет между собою, образует из них тучу... из недра ее льется дождь... низвергает он с неба горы града. Он проливает его на кого хочет и уклоняет его от кого хочет. Блеск молнии его почти уничтожает зрение». Водою «возвращает он для вас хлебные посевы, маслины, пальмы, виноградные лозы и всякие плоды». Бог же создал и травяной покров, «как разнообразно» поле «своими цветами». С этой агрономией тесно связаны погода и другие физические явления. Но и здесь опять-таки снова и снова повторяется утилитарная точка зрения, представляющая мир в виде специально заготовленного склада вещей и явлений, приспособленных для человека: «Во власть вашу он отдал море, чтоб из него питались вы свежим мясом, из него доставали себе украшения, какие на вашей одежде». Море играет, конечно, особую роль в качестве необходимого пути сообщения для торговли: «корабли с шумом рассекают его, чтоб вам доставить благотворение его и возбудить вас к благодарности». По божьей воле распределены и вместе сближены два моря: «одно из них пресное, сладкое, другое соленое, горькое». С практической целью поставлены на земле «горные твердыни, дабы она с вами не колебалась». Проведены «реки и дороги, чтобы вам ходить прямыми путями». Воздвигнуты «горные вершины», ибо они «вместе со звездами указывают вам прямые пути». Даже поставлены «на небе созвездия зодиака», размещены на нем «светила солнца и луны» — «для освещения». Ночь и день имеют то предназначение, чтобы человек во время дня работал, а ночью отдыхал, а то и другое для «назидания того, кто захочет вразумиться»... (Коран, с. 6 — 95 — 99, 142 — 145, с. 7 — 52 — 56, с. 10 — ст. 3 — 7, 23, с. 13 — 3 — 4, 17 — 18, с. 15 — 16 — 26, с. 16 — 3 — 16, 82, 83, с. 22 — 5 — 7, с. 24 — 43, 44, с. 25 — 47 и т. д.). Мы не можем здесь привести всех подробностей, которые охватывают собой не только точные изображения роста и созревания маслины, винограда и других плодов, подробное изображение использования вьючных животных, или даже перечисление всяческих предметов домашнего хозяйства, данных богом на пользу человека, при чем, как оказывается, даже появление и исчезновение тени есть какое-то материальное знамение для верующих. Это завело бы нас слишком далеко. Обильный материал дает нам полное право сделать одно бесспорное заключение. Отношение человека к богу по системе корана основано прежде всего на точном учете его материального могущества и желании наилучшим образом использовать это могущество. Именно для таких совершенно утилитарных целей каждый отдельный верующий вступает в свою выгодную «торговлю» с божеством и, несмотря на все свое рабское состояние, пользуется предоставленной ему небесным собственником свободой для того, чтобы возможно лучше использовать свое участие в частном божеском капитале, обнимающем собою весь мир.

Нельзя не отдать справедливость той изумительной рациональной системе, которая с неумолимой последовательностью преобразует всю вселенную в единое хозяйство всемогущего небесного капиталиста. Крайне характерно, что здесь совершенно исключены какие бы то ни было сантиментальные и вообще идеалистические моменты. И поскольку богу даются здесь постоянные титулы «милостивого», «щедрого», «прощающего» и т. п., то это

нисколько не исключает основного тона, ибо ведь и на земле при господстве железных отношений капиталистической зависимости, крупный капиталист без особенного ущерба для себя всегда имеет возможность выступить в виде «милостивого» и «щедрого», без каких бы то ни было особых смягчений основного утилитарного и строго рационального мотива. В значительной степени поэтому справедливо утверждение корана, которое делает эту книгу своего рода воплощением логики. Ибо, «если бы он (коран) был не от бога, то наверное нашли бы... в нем много противоречий» (Коран, с. 4 — ст. 84). Воистину, поскольку идет речь об основной рационалистической ткани, таких противоречий здесь нет. И если подойти к корану с точки зрения «весов правды», — которые в конце концов решают оценку заслуги и предрешения, то мы должны признать, что нет ни малейшего преувеличения в той квалификации, которую дает сам себе бог Магомета: «Мы, — говорит он, — самый верный из счетоводцев» (Коран, с. 21 — ст. 48).

Как известно, одним из принципов хорошего ведения дел является умело поставленная реклама. И если мы с этой точки зрения подойдем к корану, то не можем отказаться от впечатления, что перед нами имеется один из лучших образцов именно этого рода искусства. В живописании тех благ, которые может получить в виде награды тот или иной верующий, давший богу в ссуду хорошую ссуду, Магомет не знает себе равных. Уже с внешней формы коран представляет собой подобие поэтического произведения, ибо написан рифмованной прозой, хотя сам пророк отрицает звание поэта. Но где доходит он до высочайшего напряжения поэтического дара, это воистину в тех местах, где он соблазнительнейшим образом рисует блага, ожидающие верных, покорных, послушных и щедрых на милостыни и жертвы для божьего дела. Надо отметить, что такие обещания здесь даются с гораздо большим благоразумием, нежели это мы можем видеть на примере древнеизраильского Ягве. Как известно, у евреев награда должна была последовать уже на земле, и только книга Иова знаменует собою переворот в этом отношении — когда с великой горечью и болью в виду трагических судеб, постигших Израиль, пришлось отказаться от земных наград и наказаний в пользу небес. Уже христианство в своей социальной идеологии сделало тот счастливый шаг, что оно, за исключением сектантских течений, перенесло окончательный расчет с господом богом в потусторонний мир и тем избегло реального контроля на местах. Мусульманство в этом отношении и следует скорее христианству, чем иудейству. Здесь тоже, конечно, имеется и расчет на земные блага. Недаром изображается сила божия и ее богатства в различных явлениях здесь на земле и между прочим в различных видах удачи и счастия здешнего бытия. Но коран гораздо осторожнее еврейства. Когда выставляются все дары и благодеяния природы и человеческого общества, производимые и создаваемые богом, то по общему правилу Магомет главным образом напирает не на будущие, а уже на совершившиеся благодеяния и требует за них непрестанно все новой и новой благодарности. Поэтому и в число людей, неугодных богу, входит в качестве особой и довольно крупной категории именно разряд «неблагодарных», неспособных оценить все благодения божества, начиная от солнца и звезд,

семи сфер неба, покоющегося без столбов, и кончая маслиной, мулами, домами и кораблями при перевозке товаров. За это должно быть «благодарными». Но не этот земной фонд является главным основанием для деловых отношений между верными и богом. И здесь Магомет тем более осторожен, что, как он подтверждает не раз и сам, земные богатства часто сопровождают тяжелое нечестие и грехи, а земное благополучие уже потому нельзя считать наверно обеспеченным, что бог весьма часто подвергает даже праведников различным испытаниям и бедствиям, дабы этим самым измерить силу их праведности и долготерпения. Пример Иова играет в коране весьма значительную роль, и Магомет непрочь считать самого Иова одним из посланников божиих. Такой неуверенностью в земных судьбах человека об'ясняется и довольно скептическая формула, которую мы довольно часто встречаем на страницах корана. Она гласит, как своеобразное обращение к верующим: «Может быть вы будете счастливы».

Но есть другая область, где пророк чувствует себя гораздо свободнее и где он может без стеснения раскрыть великолепные витрины благ, приготовленных богом для его верных. Это потусторонний мир, начинающийся с момента смерти и последующего воскресения. Эти события не представляют для Магомета ни малейших затруднений. В своей полемике с людьми, отрицающими жизнь после гроба, он аргументирует чрезвычайно удачно и при том при помощи весьма рациональной и даже натуралистической философии. Он несколько раз повторяет в коране одну любопытную формулу, которая дает представление о своеобразной диалектике творения: «Истинно, бог, выводящий росток из хлебного зерна, из финиковой косточки, изводит живое из мертвого и мертвое изводит из живого». (Коран, с. 6 — ст. 95.) Таков действительно непреложный закон природы, который в устах Магомета становится одним из признаков всемогущества божия. С этой точки зрения действительно оспаривать возможность воскресения мертвых нельзя, и недаром наш пророк так часто рисует процесс происхождения различных существ, как одно из проявлений великого божественного производства. Воскресение мертвых есть поэтому лишь второе рождение в силу того же произвола божества, как и первое, и оно отворяет двери в новую жизнь, где мы встречаемся с чудесным выбором товара божественного капиталиста. Мы выдвигаем здесь на первый план именно райские склады всяких блаженств. Конечно, божий суд для неисправных должников влечет за собою и нечто иное. В виде сверх'естественного долгового отделения вырастают перед нами грозные картины ада и соответственно адских мучений. Мы на них остановимся несколько ниже, ибо не им отводится первая и основная роль. Подобно тому, как всякая упорядоченная торговля рассчитывает прежде всего на честного и солидного клиента, так и в идеологии мусульманства основная роль предоставлена не аду, но раю. Простое сравнение того места, которое уделяется сравнительному изображению рая и ада, дает нам понять, что террору и методам устрашения во всяком случае здесь отводится второстепенное положение. Бог устами Магомета прежде всего старается привлечь людей в состав клиентов великого райского дома путем пред'явления подробнейших каталогов тех благ, которые

выставлены в райских обителях и становятся доступными всем, даже самым скромным клиентам, т.-е. верующим, честно выполнившим свои обязательства по отношению к божественному хозяину.

Изображение рая в той системе корана, какую эта книга имеет сейчас, дает в общем постепенно развивающееся богатство материальных и нематериальных благ. Можно сказать, что изобилие и краски райского блаженства постепенно все развиваются и накапливаются, пока уже в последних главах корана не дают изумительной картины всяческого блаженства. Начинается это последовательное развитие с того, что проводится параллель между земными и небесными благами. «Обольстительна для людей страстная привязанность к женщинам, к сынам, к полновесным талантам золота и серебра, к отличным коням, к стадам скота, к полям; но это наслаждение только в здешней жизни; прекраснее же жилище у бога». — Но это жилище, как мы увидим дальше, качественно весьма мало отличается от «здешней жизни». Напротив, «сады утех», или «сады радости», представляют собой не что иное, как лишь безмерное увеличение земных благ, но с тем отличием, что ни труд, ни болезни, ни горе более не отравляют невозмутимого блаженства: «Для благочестивых у господа их сады, по которым текут реки». В этих садах «они (т.-е. праведные) будут вечно с чистыми супругами под благоволением божьим». Количественный признак дает указание и на «обширность» таких садов, которая так же велика, как обширность небес. Особенно подчеркивается наличность в этих садах «рек», которым дано вечное течение. Такое сочетание растительности и реки или вообще постоянно текущих источников — живо напоминает нам аравийские оазисы — единственные места отрады и утешения для кочующих или идущих с караванами бедуинов. Величайшее благо земли в представлении жителей пустыни перенесено целиком на небеса и являются там одним из наиболее соблазнительных благ божьего рая. «Сады, по которым текут реки» — это основа всей божественной торговли. К этому еще иногда присоединяется укрывающая от солнца «тенистая тень». И не надо думать, будто обитатели рая далеко уйдут от свойственной им земной психики. Конечно, между ними водворится великий мир, да и трудно представить себе иную картину среди такого невероятного изобилия и блаженства. Но по отношению к другим людям, оставшимся по ту сторону райских врат, они сохранят достаточное количество своекорыстия и злобы. Характерны для этого картинки, которые рисует нам Магомет, где изображается разговор между блаженствующими праведниками и наказанными грешниками через особую завесу или преграды, лежащие между ними. Первое движение блаженных после помещения их в сады утех будет состоять в том, что, взирая на обитателей огня или ада, они воскликнут: «Господь наш, не помещай нас купно с людьми беззаконными». Когда же обитатели огня станут просить райских жителей о том, чтобы они излили от рая на страдальцев «какую-либо малость воды, или что-либо из того, чем наделил» их бог, то праведные в чисто земном самодовольствии «скажут: бог то и другое запретил для неверных». Такое настроение у обитателей рая отнюдь нельзя назвать ни милосердным, ни даже лишенным самых грубых признаков самодовольства, какие свойственны и на

земле имущим по отношению к неимущим. Благодаря материальной и рационалистической окраске корана весьма прозрачно рисуется нам подлинная земная и вместе с тем классовая подоплека противоположения рая и ада, которую мы не раз встретим в весьма мистических учениях важнейших религий. Ибо рай есть не что иное, как дальнейшее развитие тех благ, которые дает богатство. Ад — тех мучений, которые и без того присущи бедности и в особенности нищете. Фантастические символы и образы, которыми так часто окружаются эти два полюса потустороннего мира, с успехом скрывают истинную подкладку такого противоположения. В коране, благодаря его трезвости и реализму, эти следы выступают с необычайной яркостью. Богачи небес, или праведные, противополагаются нищим ада, как собственники — неимущим, и неудивительно, что речь их звучит буквально так же, как любой отказ богатых на крик о помощи со стороны бедняка. Между землей и небесами устанавливается только одна разница. И если на земле иногда праведные страдают, а грешники богатеют, то на небесах классовое разделение получает полную законченность и облик совершенной справедливости: в богачи здесь попадают только праведные, а грешники целиком нисходят на положение мучимых и страдающих (Коран).

Развитие рая идет далее именно в направлении все возрастающего богатства от простого пребывания под «тенистою тенью» среди вечных рек эдемского сада, вплоть до прекрасно обставленной и обмеблированной квартиры, или, вернее, общежития привилегированных обитателей небес. Уже в 13-й суре среди благ рая упоминаются всевозможные закуски и блюда, ибо «снеди в нем (т.-е. в раю) — постоянны». К этому постепенно присоединяется и некоторое духовное благо, которое впрочем ограничивается лишь отношениями внутри самого сада. Как говорит бог: «мы отнимем ту ненависть, какая была в сердцах их: они, как братья, будут сидеть одни против других на ложах» Интересно отметить, что у этих праведников предшествующая «земная ненависть» отнюдь не препятствует им попасть в рай. Эдемский сад вместе с тем несколько осложняется обстановкой, ибо постепенно появляются «ложа». Следующие главы корана делают и дальнейшие надбавки. Вдобавок к ложам уже упоминаются «золотые запястья», «зеленые одежды», «из штофа и атласа». В дальнейшем изложении на золотых запастьях появляются и «жемчуга». Подтверждается, что «одежда на них (т.-е. на праведных) там будет шелковая». Вообще же жизнь будет «благоустроенная». Пища обогащается появлением «плодов и всего, чего только потребуют». Что касается супруг, то они тоже «возлягут на седалищах». На-ряду с пищею постепенно обнаруживается и питие. В раю будут обносить всех «круговою чашею с влагой прозрачной, — сладостью для пьющих», от которой — в отличие от земных вин — «не будет головной боли, от которой не опьянеют». Этот мотив блаженного пьянства без опьянения развивается затем весьма подробно. И мы постепенно узнаем, что в «золотых кубках» будет налито питие, «от которого не бывает ни празднословия, ни возбуждения ко греху», — которое имеет в качестве приправы имбирь, приготовлено на камфоре из источника, называемого Сельсебиль. Но как мы можем догадываться, это будет не единственный напиток,

ибо там же будет подаваться «вино наилучшее запечатанное: печать на нем— Мосхус... оно растворено влагою Таснима, источника, из которого пьют приближенные к богу». Для желающих не будет недостатка в реках не только из воды, но из молока, «вина приятного для пьющих» и «из меда очищенного». Такому же развитию подвергаются и все остальные обещанные в раю блага. Кушания и пития будут подаваться на золотых блюдах и в кубках. Для услуг появятся в саду отроки, «подобные сберегаемым жемчужинам. Эти вечно юные отроки будут разносить не только кубки, братины, чаши с напитком», с «плодами», но и «с мясами птиц, каких пожелают». К золотым кубкам присоединяются также и серебряные и хрустальные. Юноши приобретают вид «рассыпанного жемчуга». В таком же об'еме возрастают и все остальные богатства. У постелей оказывается «подкладка из шелковых тканей». Под деревьями возникают «шатры». Спасенные возлежат уже «облокотившись на зеленые подушки и на прекрасные габкарийские ковры», на ряду с шелковыми тканями одеваются «одежды из зеленого атласа», и соответственно расцветает пышность окружающей природы: среди деревьев произрастают «лотосы, не имеющие шипов», «бананы, на которых висят ряды плодов», к ним присоединяются и пальмы, и гранаты, и всякие иные деревья разных родов. Но воистину завершением этой жизни безгранично богатых людей являются их любовные утехи. Само собой разумеется, что Магомет весьма мало заботится о доставлении женщинам счастья любви. Он на них смотрит целиком, как на своего рода инструменты блаженства, которые тем более доступны человеку, чем он богаче и важнее. Поэтому уже на земле пророк предоставил себе 9 жен, не считая невольниц, а остальным верным дал возможность приобретать до 4 законных жен в прибавку к различным невольницам. Покупать этих жен, конечно, могли только богатые. И вот это счастье богачей переносится и в райскую обитель. В эдеме у каждого будут жены, «скромные взглядами, светлоокие, подобные бережно хранимым яйцам». Они будут «равными по возрасту», т.-е. вечно молодыми. По наружности они изображаются, как «добротные, красивые, черноокие», «черноезеничные, велеокие, подобные хранимым жемчужинам». При чем выходят они в раю замуж «девами, мужьям милыми», другими словами, в раю будет сосредоточен самый наилучший живой товар, какой только можно было найти в семьях и на базарах Востока. Этим заканчиваются материальнейшие блага великого рая, который только может создать фантазия богатого человека. Можно сказать поэтому без преувеличения, что верующие, которые честно выполнят свои обязанности по сделке с господом-богом, станут прямо миллионерами и неслыханными богачами в царстве небесном. Характерно, что среди благ, указанных в раю, нет почти ни одного, которого нельзя было бы обеспечить при помощи крупных денег и приобрести на рынке и на земле. Вечное здоровье и молодость представляют здесь как бы единственное исключение.

(Окончание следует).

Искусственный отбор и законы Менделя.

Проф. Н. А. Иванцов.

В Санта-Роза, в Калифорнии, скончался недавно Лютер Бёрбенк, слава которого, как культиватора полевых, огородных, плодовых и цветочных растений, прогремела во всему свету. Он сумел вывести вишни без косточек, кактусы без колючек и много других диковинок за пятьдесят лет своей деятельности.

Как было это достигнуто?

«Бёрбенк умел высматривать одного избранника из ста тысяч конкурентов и успевал с неподражаемым искусством сливать в одну две формы жизни, казалось бы совершенно между собою несовместимые».

К этому и сводится получение новых пород, как растений, так и животных.

Выведение новых пород требует громадного терпенья, большого таланта, любви к делу и, в последнее время, научного знания, помогающего верным и по возможности коротким путем достигать того, к чему ранее приходили ощупью.

О том, как выводит человек культурные породы растений и животных, и будет наша речь.

Основной прием, как показал Дарвин, состоит в том, чтобы отбирать на племя таких животных или размножать такие экземпляры растений, которые хотя бы в слабой степени обнаруживают желательную для нас особенность. Возьмем пример. По западным берегам Европы встречается растение из семейства Крестоцветных Brassica oleracea, или дикая капуста, с длинным стеблем и продолговатыми листьями, верхними цельнокрайними, нижними большей величины, широким и с боковыми вырезами; цветы собраны кистью; плод — стручек. Листья, хотя и без особого удовольствия, могут быть употребляемы в пищу. Пересадим дикую капусту на хорошо обработанную и удобренную почву. Здесь она будет развиваться лучше и даст листья большей величины и более сочные. Беда в том, что эти свойства, целиком зависящие от лучшего питания и большого количества влаги, по наследству не передаются. При возвращении в прежние условия все полученные таким образом изменения исчезают, и сочные растения, выращенные на хорошо удобренной

и влажной почве, на бедной почве теряют свой рост и свою сочность. Подобного рода изменения, не передаваемые по наследству, принято называть теперь модификациями или флюктуациями. Как указал Дарвин, никакого значения для получения новых пород такие ненаследственные изменения, зависящие, главным образом, от непосредственного воздействия внешних условий, конечно, иметь не могут.

Но растения, выращенные при одних и тех же условиях из одних и тех же семян, как и животные, происходящие от одних родителей, всегда отличаются друг от друга хотя бы незначительными признаками. Поведем далее дело так, чтобы брать семена с таких экземпляров нашей капусты, которые хотя бы в слабой степени обнаруживают желательную для нас особенность. В очень многих случаях, хотя и не всегда, оказывается, что индивидуальные изменения передаются по наследству. Такие изменения передающиеся по наследству, все равно будут ли они большие или маленькие, захватывать один признак или несколько, принято теперь называть мутациями.

Соберем у пересаженной на гряды капусты семена только с таких экземпляров, у которых листья особенно велики и сочны, а ствол короче, хотя они и выросли в тех же условиях, как и другие. Выращенные из них растения будут в общем хотя бы немного лучше. Возьмем и из них семена с растений с наиболее сочными и бо́льшими листьями и будем продолжать такой искусственный отбор, или селекцию, из поколения в поколение, накапливая желательную для нас особенность. В конце концов, через длинный ряд поколений, мы получим нашу кочанную капусту. Но мы можем обратить свое внимание и на другой признак и его подвергнуть отбору, или селекции. Мы можем брать семена с экземпляров с наиболее закрученными и сморщенными листьями, которые привлекли наше внимание своей большей нежностью. Производя селекцию из поколения в поколение в этом направлении, мы получим савойскую капусту. Подобным же образом, были получены и другие сорта огородной капусты — красная, брюссельская с многочисленными маленькими кочешками на нижней части стебля и мало измененными листьями на верху, цветная, у которой листья мало изменились, а недоразитые большею частью цветы собраны вместе в плотную головку, которая и употребляется в пищу, кольраби или репная капуста, стебли которой расширены над землею в большое утолщение, похожее на репу, и т. д. Замечательно при этом, что самые цветы, семенные стручки и зерна, которые не подвергались отбору, не представляют у различных сортов капусты никакого различия или же оно крайне слабо.

Дарвин приводит между прочим следующий пример накопления желательной для культиватора особенности действием отбора. Она касается постоянного увеличения плода (ягоды) крыжовника. Манчестер служит столицей садоводов любителей; там ежегодно на выставках выдаются награды от пяти шиллингов до пятидесяти фунтов за самый тяжелый плод, и издается специальный журнал по крыжовнику. Плод дикого крыжовника весит около 120 гран (несколько более половины грамма). Около 1786 года был выставлен крыжовник, весивший 240 гран, т. е. вдвое больше; в 1827 году был полу-

чен вес в 641 гран. в 1825 — в 760 гран, в 1839 году — 781 гран, в 1841 — 784 грана, в 1844 — 852 грана, в следующем году — 880 гран и, наконец, в 1852 году плод крыжовника той же разновидности достиг удивительного веса 896 гран, т.-е. веса, который в семь или восемь раз превышал вес дикого плода и равнялся весу маленького яблока.

Человек стал разводить капусту вероятно уже очень давно. В середине I века римский писатель Колумелла в своем произведении «О сельском хозяйстве» воспел сорта капусты и салата в стихах. Главные сорта капусты существуют по меньшей мере с XVI века. Когда несколько пород получено путем искусственного отбора, выведение дальнейших облегчается скрещиваньем их между собою.

Таким путем через искусственный отбор, или селекцию, получено все множество наших культурных пород и сортов домашних животных и растений. Природа производит последовательные изменения, передаваемые в некоторых случаях по наследству (мутации); человек слагает их в известных желательных для него направлениях (искусственный отбор, или селекция). В этом смысле можно сказать, что человек сам создает полезные для него породы.

Однако, если бы растения и животные не обладали присущей им склонностью к изменениям, передаваемым по наследству, то человек не мог бы ничего сделать. Отбор ничего не может сделать без изменчивости и наследственности, а изменчивость, полагает Дарвин, каким-то образом зависит от действия окружающих условий на организм. Как и почему возникают те или другие передаваемые по наследству изменения (мутации), мы этого до сих пор еще как следует не знаем; это составляет задачу современной биологии. Пока культиватору приходится лишь пользоваться тем материалом, какой предоставляет в его распоряжение природа, но сам он создавать такого материала еще не умеет.

Могущество этого начала отбора — не гипотеза. Многие из заводчиков даже в течение одной человеческой жизни в значительной степени изменили породы рогатого скота и овец и говорят об организации животного, как о чем-то пластическом, подобном глине или воску, которые они могут лепить по-своему желанию. Требуется только терпенье, разведение животных и растений в большом количестве, чтобы было из чего выбирать, и большая опытность, чтобы суметь подметить самые незначительные желательные изменения, часто совершенно незаметные для непривычного глаза. Нужно, подобно Бёрбенку, уметь высматривать одного избранника иногда из тысяч конкурентов. В Саксонии, напр., есть специалисты, составившие себе ремесло из искусственного отбора овец. Овец помещают на стол и изучают, как знатоки изучают картину; это повторяется до трех раз на протяжении нескольких месяцев, при чем овец отмечают и в конце концов оставляют для приплода только самых лучших.

Но бывает и так, что полезные или интересные для человека изменения возникают внезапно или одним скачком. Нередко даже резко выраженные отличия проявляются у животных одного помета, у растений в семени из одной и той же коробочки. Иногда появляются даже настолько резкие

уклонения в организации, что им дают название уродливостей. Но нет возможности провести какую-либо определенную черту отличия между уродливостью и менее резкими изменениями. Если такие изменения оказывались наследственными, то человек мог ими воспользоваться для своих целей. Никогда, конечно, полагает Дарвин, не пришло бы в голову человеку получить трубастого голубя, пока он не увидел птицы с ненормально развитым хвостом, или дутыша, если бы ему не попалась птица с сильно развитым зобом. Чем необычайнее и ненормальнее были эти особенности, тем скорее они могли остановить на себе внимание заводчика. Такие случаи были и при выведении хозяйственных пород домашних животных. Так, напр., в Массачузетсе (Америка), как указывает Дарвин, в 1791 году родился барашек с короткими кривыми ногами и длинной спиной, как бывает это у такс. Изменение оказалось наследственным, и от этого единственного барашка развели полууродливую так называемую выдровую или анконовую породу. Так как эти овцы не могли прыгать через загородки, то думали, что эта порода будет цениться; но она была затем заменена мериносами и исчезла.

Другой пример, также приводимый Дарвином. В 1828 году на французской ферме Мошан появился мериносовый барашек, замечательный своей длинной, гладкой, прямой и шелковистой шерстью. Изменение также оказалось наследственным, и в 1833 году заводчик развел достаточное количество таких баранов для всего своего стада, а еще через несколько лет он уже мог продавать производителей своей новой породы. Шерсть этой породы настолько отличается и хороша, что продается на 25% дороже самой лучшей мериносовой шерсти; даже руно полукровков ценится, и они известны во Франции под именем мошановых мериносов. В этом случае интересно отметить следующее. Резкое уклонение в строении обыкновенно сопровождается и другими уклонениями. Так и этот первый мошановый баран и его первые потомки были в то же время маленького роста, с большой головой, гладкими рогами, длинной шеей, узкой грудью и длинными боками. Те особенности, которые не представляли никакого интереса, как недостатки, были удалены разумным скрещиваньем и отбором. Таким же образом, от более или менее резких прокинувшихся изменений, возникли, может быть, таксы с длинным туловищем и кривыми ногами, безрогий скот, белые и черные разновидности различных пород домашних животных и др... Но это лишь редкие случаи, и никто, конечно, полагает Дарвин, не подумает, что наши лучшие породы получились одним резким уклонением от естественного вида. Мы имеем несомненные доказательства, что они выведены путем продолжительного отбора и накопления часто самых ничтожных отклонений в желательную для человека сторону.

Многие ботаники полагают, что ворсильные шишки, употребляемые для наведения ворса на шерстяных тканях — только разновидность естественного вида ворсянки, и такие уклонения могли возникнуть внезапно в сеянцах этого растения. Подобные резко выраженные изменения нередко наблюдаются у растений и получили у садоводов название «спортов», что значит игра.

Внезапные изменения встречаются также в отдельных цветочных или листовых почках и образующихся из них цветах и побегах у взрослых растений. Им дано название «почковой вариации». Так, напр., у одного английского садовода одно дерево из 400 или 500 экземпляров, дающих фиолетовые сливы, принесло приблизительно в десятилетнем возрасте ярко-желтые сливы совершенно нового сорта. На одном кусте крыжовника выросли одновременно четыре сорта ягод — мохнатые красные, гладкие красные, более мелкие, зеленые и желтые с бурым оттенком. У боярышника с густо-розовыми цветами вырос пучок совершенно белых цветов. Моховые розы не раз давали центифолии, вполне или отчасти лишенные моха. Красные розы давали белые цветы. На листьях различных сортов растений вследствие почковой вариации часто появляются каемки, пятна или крапинки белого, желтого или красного цвета, или же изменяется форма листьев. У обыкновенного картофеля отдельная почка, или глазок, иногда вариируют и дают новые разновидности; иногда даже все глазки клубня вариируют одинаково и одновременно, так что весь клубень принимает новый характер. Отдельный глазок клубня у одной старой фиолетовой разновидности картофеля сделался белым; глазок был вырезан, посажен отдельно, и этот сорт с тех пор широко распространился. В другом случае картофель белого цвета дал два красных и два белых клубня; красный сорт был также размножен обычным способом, глазками. Голубая разновидность гиацинта давала отпрыски с белыми цветами с красной серединой. Растения с простыми цветами дает иногда на отдельных ветвях цветы махровые, или наоборот. Мы взяли только несколько из многочисленных примеров, приводимых Дарвином в его сочинении «Изменение животных и растений в домашнем состоянии».

Растения размножаются не только половым путем — семенами, но также так называемым вегетативным — отпрысками, черенками, отводками, луковицами, глазками, т.-е. почками; черенки сажаются в землю и там укореняются; глазки прививаются к другому, обыкновенно дикому, сорту того же растения или к близкому к нему виду. Только таким путем возможно разведение растений, дающих бессемянные плоды или сильно махровые цветы, в которых тычинки превращены в лепестки, и которые или совсем не дают семян или очень мало и, следовательно, не могут размножаться половым путем. Очевидно, такие сорта могли быть получены только путем почковой вариации и вегетативного размножения. В других случаях, изменения, возникающие вследствие почковой вариации, могут размножаться и посредством семян. Во всем этом нет ничего удивительного, так как то, что мы называем растением, есть в сущности целая колония особей, представленных отдельными почками. Многие из наших самых красивых и полезных продуктов получились вследствие почковой вариации.

Заводчики часто ставят себе определенную цель — произвести новые породы, превосходящие в том или другом отношении по своим качествам все до сих пор полученное — вывести, напр., породу коров с особенно большим удоем или дающую лучшее мясо, овец с особенно тонкой и густой шерстью, особенно жирных свиней, махровую форму цветов, свеклу с увеличенным ко-

личеством сахара в клубнях и т. п. Эту форму отбора называют сознательным или методическим отбором.

Насколько быстро получаются желательные результаты, если отбор производится сознательно, на это указывают хотя бы следующие примеры, приводимые Дарвином. В Англии, Германии, Франции, а также в последнее время и у нас, существуют общества для разведения птиц, собак и других животных, которые устраивают периодические выставки. За лучших животных выдаются премии. Английские жюри выставок куроводства, как сообщает Дарвин, поставили задачей, чтобы гребень у испанского петуха торчал прямо кверху, между тем как раньше он свисал на сторону, и вот через пять всего лет эта цель была достигнута; они потребовали, чтобы у кур известной породы были бородки, и через шесть лет было выставлено 57 групп бородатых кур.

При этом выводя новые породы домашних животных или растений, человек считается исключительно со своей собственной пользой или прихотями, совершенно не обращая внимания на то, будут ли особенности, которые он хочет развить, полезны для самого организма. Развиваются и такие особенности, которые были бы прямо вредны для их обладателей, если бы последним пришлось жить в естественных условиях. Такова, напр., очень обычная у наших домашних животных белая или черная окраска. У диких животных белая окраска встречается только у тех, которые живут в снежных пустынях Крайнего Севера, где она имеет значение покровительственной окраски, помогая животным лучше скрываться от своих врагов или незаметнее подкрадываться к своей добыче. Таковы полярный заяц, белый медведь, песец, белая куропатка, полярная сова. Черная окраска встречается у животных ночных или ведущих подземный образ жизни, как, напр., у крота. В других условиях белая или черная окраска бросалась бы резко в глаза и сильно бы им мешала. Однако у самых разнообразных диких животных, как птиц, так и зверей, прокидываются изредка белые или черные экземпляры. Но они не могут оставить после себя потомство, так как являются менее приспособленными и погибают. Человек же от таких экземпляров выводит породы белых лошадей, коров, коз, кроликов, собак, кошек, голубей, канареек и т. д. У некоторых домашних пород голубей клюв так мал, что их птенцы даже с помощью своих родителей не могут пробить скорлупы яйца и им приходится помогать; в естественном состоянии такие голуби должны были бы неминуемо погибнуть. Турманы, кувыркающиеся в воздухе, в свободном состоянии были бы быстро истреблены ястребами и коршунами. Йоркширские свиньи настолько жирны, что с трудом могут двигаться. Дикие овцы отличаются смелостью, сообразительностью; выведенные от них домашние овцы глупы, слепо идут за вожаком. Человек, выводя домашние породы овец, все свое внимание обратил на шерсть и стадные инстинкты — покорность, позволяющую держать овец огромными стадами; умственные способности этому только мешали, и строптивые, т.-е. более сообразительные и самостоятельные, экземпляры устранялись отбором, так же как предпочитают получать телят от коров кротких, а не бодливых. Точно также у растений. Не может быть и

речи, что в естественном состоянии груши-бессемянки или махровые розы, не дающие семян, должны были бы быстро вымереть.

Однако, выводя новые породы животных и растений, человек далеко не всегда ставит себе вполне определенные задачи. На-ряду с сознательным отбором и гораздо чаще имеет место та форма отбора, которую можно назвать бессознательным отбором. Она состоит в том, что человек просто желает иметь «лучших» животных или «лучшие» растения, не отдавая себе ясного отчета в том, в чем заключается это «лучшее», и пускает на приплод только таких животных или берет семена от таких растений, которые ему кажутся лучшими, или, еще проще, уничтожает тех, которых находит худшими. При этом он даже и не задается целью улучшить породу в том или другом отношении, но лишь сохранить ее хорошие качества или, как говорят заводчики, чистоту крови. В результате, однако, порода изменяется именно благодаря тому, что человек, так действуя, производит бессознательный отбор Дарвин приводит следующий пример бессознательного отбора. Два заводчика овец в Англии получили производителей от одной и той же породы, которая в течение пятидесяти лет сохранялась в чистокровном состоянии. Оба заводчика стремились к тому, чтобы своих овец также сохранить в чистокровном состоянии, и пускали на приплод только таких, у которых признаки породы, по их мнению, были выражены лучше всего. В результате получились две породы овец, настолько различные между собою, что их можно было бы признать совершенно разными породами. Очевидно, у каждого из обоих заводчиков были различные представления о тех требованиях, которым должна удовлетворять чистокровная порода, и в результате бессознательно производимого ими отбора получились разные породы.

Такой бессознательный отбор применяется даже дикарями и применялся первобытными человеческими расами. У дикарей также есть стремление иметь лучших домашних животных, а насколько они ценят их, показывает хотя бы то, что жители Огненной Земли, стоящие на одной из самых низших ступеней культуры, еще сравнительно недавно во время голода убивали и пожирали своих старых женщин, но старались сохранить собак.

Бессознательный отбор начал действовать с самых древних времен, как только человек приручил и стал разводить тех или других животных, стал возделывать те или другие растения. Нет ничего удивительного, что, накопляя небольшие изменения из поколения в поколение, в течение тысячелетий, человек мог достичь огромных результатов, особенно когда бессознательный отбор постепенно переходил в сознательный.

На-ряду с искусственным отбором, или селекцией, в выведении новых пород домашних животных и растений большую роль играет также скрещиванье.

Ранее полагали, что вообще дети наследуют поровну свойства отца и матери, что если какой-либо признак имеется только у одного из родителей, то он будет передан детям в половинном размере, к внукам дойдет только в размере одной четверти и т. д., и таким образом постепенно будет изглажен.

Отсюда берут свое начало и ходячие между заводчиками названия — полукровки, четверть крови и т. п.

Исследования австрийского монаха-ученого Грегора Менделя, опубликованные им в 1865 году, показали, что это не так, и что передача признаков по наследству при скрещиваньи подчинена вполне определенным законам. Открытие Менделя прошло, однако, в свое время незамеченным. На него обратили внимание только в 1900 году, когда другие исследователи стали заниматься теми же вопросами и убедились, что основные законы наследственности при скрещиваньи давно уже открыты Менделем. С каждым годом за открытыми Менделем законами признается все более и более общее значение, и под них удается подвести самые запутанные случаи. Создалась особая наука **генетика** или **учение о наследственности**. Мы можем здесь познакомить своих читателей с законами Менделя лишь в самых общих чертах, поскольку это нужно для понимания образования пород домашних животных и растений путем скрещивания.

Вряд ли кто из сколько-нибудь образованных читателей не слышал о законах Менделя. Но вместе с тем у многих из них составилось, может быть, представление, что это что-то очень сложное и хитрое, особенно если они видели работы по генетике, в которых целые страницы испещрены сложными буквенными формулами вроде алгебраических. На самом деле эти законы по существу очень просты — так же просты, как основные законы химии, хотя формулы отдельных химических соединений бывают и очень сложны.

Возьмем два сорта нашей «ночной красавицы», один с красными цветами, другой—с белыми. Скрестим их друг с другом, то-есть опылим красные цветки пыльцей, взятой с белых, или наоборот — это все равно. Из полученных семян вырастут при новом посеве растения все с цветами смешанной окраски — розовыми. Это поколение будет **гибридным**, т.-е. помесью. Обратите внимание на то, что оно все будет одинаковым — розовым; ни белых, ни красных цветов мы в нем не получим. В этом и состоит первый, установленный Менделем, **закон однородности первого поколения** при скрещиваньи.

В этом случае гибрид, или помесь, представляет собою нечто среднее между родительскими формами — цветы не красные и не белые, а розовые. Но так бывает лишь в редких случаях. Несравненно чаще наблюдается другое.

Возьмем горох с красными и белыми цветами и произведем скрещиванье путем искусственного опыления. Первое поколение получится также все одинаковое — закон однородности первого поколения будет соблюден, но оно будет не розовое, а красное, как одна из основных форм, взятых для скрещивания. Здесь красный цвет оказался более сильным, чем белый, и закрыл собою последний. Такие признаки называют **доминирующими** или преобладающими, те же, которые первому поколению не передаются — **рецессивными** или отступающими. На-ряду с законом однородности первого поколения гибридов наблюдается таким образом, в большинстве случаев, **правило преобладания** или **доминирования**. Какой при-

знак будет доминировать над другим, заранее сказать нельзя — это может решить только опыт.

Вернемся к ночной красавице. Получив первое, гибридное, поколение с розовыми цветами, получим от него путем взаимного скрещиванья гибридов между собою или, как это возможно у растений, путем самоопыления второе поколение. Мы могли бы ожидать, что это поколение, происходящее от розовых родителей, также все будет розовое. На самом деле однако оказывается не так. Если только мы оперировали с достаточно большим материалом, потому что менделевские законы, как имеющие статистический характер, оправдывается только на большом материале, во втором поколении мы получим только половину растений с розовыми цветами, т.-е. гибридных, а половину чистых — поровну с красными и белыми цветами, всего, следовательно 2 части гибридных розовых, 1 часть чистых красных и 1 часть чистых белых. В этом состоит второй менделевский закон — з а к о н р а с щ е п л е н и я: при скрещиваньи гибридов между собою они дают потомство, половину которого составляют такие же гибридные формы, тогда как другая половина делится поровну между исходными чистыми формами. Признаки, исчезнувшие в 1 поколении, вновь проявляются во 2 поколении у половины его особей.

Если мы в дальнейших поколениях белые цветы будем опылять пыльцей, взятой с белых же цветов, у нас всегда будут получаться растения с белыми цветами. Точно так же при взаимном опылении красных цветов будут получаться растения с красными цветами. При взаимном опылении гибридных розовых цветов получится, как и ранее, половина растений с розовыми цветами, гибридных, половина чистых — поровну белых и красных. Так будет итти дело и далее.

Остается еще один случай — что произойдет, если мы опылим розовые цветы, гибридные, пыльцей одного из чистых сортов — белого или красного (или наоборот, что все равно). Можно было бы ожидать, что мы получим цветы более красные или более бледные, чем гибридные розовые первого поколения — то, что у скотоводов называется четвертью крови. Но на деле опять-таки бывает не так. В таком случае во втором поколении будет также наблюдаться расщепление — половина растений получится с гибридными розовыми цветами, половина с чистыми — красными или белыми, смотря по тому, какой сорт был взят для скрещиванья.

Таким образом никаких помесей с четвертью крови никогда не получается. При размножении гибриды, или помеси, дают половину таких же гибридов — «полукровок», половину вполне чистых форм.

Мы имеем в настоящее время и об'яснение, почему это так происходит. Но вдаваться в эти подробности мы здесь не будем.

У гороха, при доминировании красного цвета над белым, получается как будто нечто иное, но в сущности то же самое.

Первое, гибридное, поколение в этом случае получается, как мы видели, все красное. Получим от него путем самоопыления или скрещивания гибридов между собою второе поколение. Можно было бы ожидать, что оно

все также будет иметь красные цветы. На самом деле, однако, оказывается не так. К нашему удивлению среди гороха с красным цветами получатся и экземпляры с белыми цветами — рецессивный признак, как будто исчезнувший в первом поколении, вновь выступит наружу в части второго поколения. При этом число красных и белых форм, если опыт был произведен в достаточно широких размерах, будет вполне определенное, а именно, красных (доминантных) получится втрое больше, чем белых (рецессивных). Во-втором поколении происходит, таким образом, расщепление признаков в отношении трех частей особей с доминантным признаком на одну часть с рецессивными — 3 : 1. Мы имеем здесь, в сущности, то же самое, что и у ночной красавицы, — только то, что у ночной красавицы было розовым, здесь, благодаря доминированию красного над белым, будет красным. Это доказывает последующее разведение. Белые цветы при самоопылении дают растения с белыми же цветами — чистые. Из красных при самоопылении или взаимном скрещивании, одна треть, т.-е. четвертая часть общего числа, так же как у ночной красавицы, даст растения все с красными цветами, т.-е. окажется чистой. $^2/_3$ красных, т.-е. половина общего числа поколения, будет следовать тому же закону расщепления, в данном случае в отношении 3 : 1, как первое поколение, т.-е. окажется гибридным. Так как доминирование одних признаков над другими при скрещивании наблюдается гораздо чаще, чем их смешение, то дальше мы и будем считаться с этой формой расщепления в отношении 3 : 1.

Нетрудно заранее предсказать, что получится при скрещиваньи гибридного красного гороха с чистым белым или чистым красным. Как мы видели на ночной красавице, в этом случае потомство делится пополам между гибридной формой и чистой. Если мы скрестим гибридный красный горох с белым, у нас получится в потомстве половина чистого белого и половина гибридного красного, дающего при самопылении расщепление в отношении трех красных к одному белому. При скрещивании гибридного красного гороха с чистым красным у нас также получится половина гибридного красного и половина чистого красного, но вследствие доминирования красного все поколение по наружному виду будет одинаково. Однако поверочное самоопыление покажет, что только половина экземпляров дает чистое красное потомство; у половины на три части красных прокидывается в потомстве одна часть белых, т.-е. половина — гибриды.

Законы единообразия первого поколения гибридов и закон расщепления являются основными законами наследственности при скрещивании. Эти законы, как было подтверждено многочисленными последующими исследованиями, одинаковы как для растений, так и для животных. Посмотрим, какое значение могут они иметь для заводческой практики.

Предложим, что среди наших овец прокинулся барашек с особенно длинной шерстью, или мы получили такового от другого заводчика, разводящего длинношерстых овец, и мы хотим сами развести породу овец с длинной шерстью. Как нам нужно поступить, и возможно ли это, если в нашем распоряжении всего только один такой баран на все стадо?

Длинношерстость может быть или доминатным признаком, или рецессивным.

Скрестим этого единственного барана с простыми овцами. Если длинношерстость доминантна, мы получим первое поколение все доминантное, т.-е. длинношерстое; среди него будут и барашки и овечки. Как будто цель наша достигнута, длинношестая порода получена без дальнейших хлопот. Но радоваться еще нечему. Мы знаем на основании 1-го закона Менделя, что все это поколение по существу является гибридным, а нам нужно получить чистую длинношерстую породу.

Скрестим этих гибридов 1-го поколения между собою. Во втором поколении у нас получится (приблизительно) одна четвертая часть приплода с короткой шерстью — она нам не нужна. Из остальных, как мы знаем на основании 2-го закона Менделя, две трети, хотя и с длинной шерстью, будут по существу гибридным, т.-е. в потомстве их при взаимном скрещивании будет прокидываться четвертая часть овец с короткой шерстью; такие заводчика не удовлетворят. Только одна треть из них будет чистой длинношерстой — она-то нам и нужна. Но как ее отобрать, как избавиться от похожих на нее гибридов?

Какие экземпляры длинношерстых овец во 2-м поколении будут чистыми, какие гибридными, мы можем узнать это, скрещивая их с нашими короткошерстыми овцами. Если при таком скрещивании приплод получается наполовину длинношерстый, наполовину короткошерстый (приблизительно), значит мы имеем дело с гибридом — нам не нужен ни он, ни его потомство. Если приплод будет весь одинаковый — длинношерстый, значит мы имеем дело с чистой формой; ее только мы и оставляем для дальнейшего разведения, приплод не годится, так как он весь гибриден.

Так как во втором поколении, полученном от скрещивании гибридов между собою, мы будем иметь уже, конечно, и самцов и самок, то, отбирая описанным способом чистые длинношерстые экземпляры, мы можем далее скрещивать их между собою и получить чистую длинношерстую породу, в потомстве которой не будет прокидываться короткошерстых экземпляров. Это возможно, конечно, лишь при разведении овец в достаточном количестве. Если мы достаточно обильного материала не имеем, нам остается из поколения в поколение отбирать и скрещивать друг с другом длинношерстые экземпляры. Постепенно порода будет очищаться, увеличится в числе и затем может быть окончательно очищена тем проверочным способом, как сейчас было описано.

Если длинношерстость будет признаком рецессивным, то первое поколение от скрещивания длинношерстого барана с короткошерстыми овцами получится все короткошерстое. Прежний заводчик пришел бы в отчаяние и всех этих «ублюдков» мог бы уничтожить вместе с незадатливым родителем, чтобы сохранить по крайней мере чистоту крови собственной породы. Теперь же мы знаем, что в таком случае заводчик может только радоваться, потому что получение чистой породы значительно упрощается. Длинношерстые экземпляры в таком случае могут быть только чистыми. Наше первое

короткошерстое поколение все сплошь гибридное; в нем под короткошерстостью скрыта длинношерстость. Нужно только ее выявить. Скрестим весь наш короткошерстый гибридный приплод между собою. Во втором поколении у нас получится (приблизительно) три части короткошерстых овец и одна часть длинношерстых. Последние все будут чистыми, и цель наша будет достигнута без дальнейших хлопот. Или же из первого, гибридного, поколения мы можем взять самок и покрыть их тем же длинношерстым бараном. У нас получится половина короткошестого, гибридного, приплода и половина чистого длинношерстого. Из сказанного ясно, что, зная законы наследственности при скрещивании, заводчик, отбирая на приплод те или другие экземпляры, может итти разнообразными путями, как удобнее в каждом отдельном случае. Он может действовать уже не наугад, как ранее, а планомерно-сознательный искусственный отбор вступает в новую стадию планомерно-сознательного отбора.

При разведении растений дело облегчается тем, что они могут быть разводимы в гораздо больших количествах, и у некоторых из них возможно самоопыление.

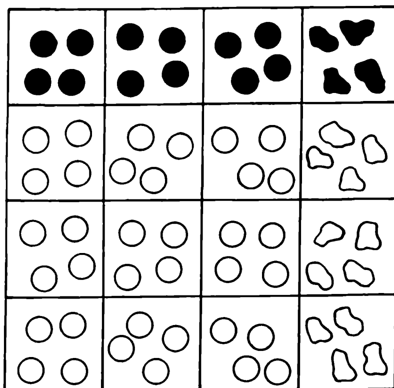
3-й менделевский закон — закон независимости признаков — гласит, что каждая пара признаков при расщеплении ведет себя так, как если бы других признаков не было, т.-е. подчиняется двум первым законам самостоятельно. Этот закон в настоящее время требует известного ограничения. Некоторые признаки являются тесно связанными между собою и подчиняются закону расщепления так, как если бы составляли один признак. Но в эти осложнения мы вдаваться не будем.

Мендель скрещивал два сорта гороха — один с желтыми круглыми семенами, другой с зелеными морщинистыми. В первом поколении получились семена все одинаковые — круглые желтые, так как круглая форма доминирует над морщинистой, а их желтый цвет доминирует над зеленым. Все это поколение, как мы знаем, — гибридное. В данном случае оно вышло в одну из родоначальных форм, так как в ней были сосредоточены оба доминантных признака. Если бы мы взяли горох с круглыми зелеными семенами и горох с морщинистыми желтыми, то скрещивание обоих сортов все равно дало бы семена круглые желтые — в них смешались бы признаки семян родительских форм.

Во втором поколении, при скрещиваньи гибридов 1-го поколения друг с другом или их самоопылении, должно произойти расщепление каждой пары признаков в отношении 3 : 1, т.-е. получится три части круглых семян и одна часть морщинистых, при чем в обеих группах будет по три части желтых и по одной части зеленых. В общем получится четыре сорта семян: круглые желтые, круглые зеленые, морщинистые желтые и морщинистые зеленые. Так как в каждой паре признаков расщепления идет в отношении 3 доминантных к одной части рецессивных, то, чтобы получить количественные соотношения, нужно (3 : 1) помножить на (3 : 1); получим 9 частей круглых желтых, 3 части круглых зеленых, 3 части морщинистых желтых и 1 часть морщинистых зеленых.

Наглядно это можно представить так:

Пусть нарисованный на бумаге квадрат изображает всю сумму второго поколения, полученного от скрещиванья между собою гибридов первого поколения, или их самоопыления. Разделим его горизонтально на четыре равные полосы, из которых три заполним кружочками, одну — неправильными фигурками. Это будет изображать у нас расщепление по отношению к форме семян: втрое большая часть с кружками будет представлять круглые семена, с фигурками—морщинистые. Разделим теперь тот же квадрат на четыре полосы в вертикальном направлении и кружки и фигурки в одной из них зачерним. Это будет изображать у нас расщепление по отношению к цвету семян— светлых (желтых) втрое больше, чем черных (зеленых). Всего получим 16 квадратиков. Из них покрытые светлыми кружками будут обозначать семена круглые желтые — их 9; покрытые светлыми фигурками будут обозначать семена морщинистые желтые — их 3; с черными кружочками — семена круглые зеленые — их также 3, и, наконец, на долю семян морщинистых зеленых остается один квадратик — с черными фигурками.



Сколько из них них будет чистых, сколько гибридных?

Мы знаем, что по отношению к каждой паре признаков во втором поколении получается половина гибридов и половина чистых, из последних одна четверть общего числа поколения с одним признаком и одна четверть с другим признаком. Таким образом закроем на нашей схеме верхнюю половину (две горизонтальных полосы), как гибридную по отношению к форме, и левую половину (две вертикальных полосы), как гибридную по отношению к цвету. Чистыми в отношении обоих признаков — формы и цвета — останутся только четыре квадратика, и именно один из девяти с круглыми желтыми семенами, один из трех с круглыми зелеными, один из трех с морщи-

нистыми желтыми и единственный с морщинистыми зелеными (с двумя рецессивными признаками), или для каждой комбинации $^1/_{16}$ общего числа особей в поколении. Все остальные будут гибридными в отношении одного или обоих признаков.

Зная эти закономерности, заводчик может обсудить в каждом случае, как ему следует производить отбор, если он желает вывести новую чистую породу со смешанным (комбинированными) признаками двух пород домашних животных или растений.

Предположим, мы имеем две породы кроликов — одну серую с прямыми ушами, другую белую с висячими ушами, и желаем вывести серую породу кроликов с висячими ушами (вислоухую).

Нам нужно прежде всего знать, какие из этих признаков являются доминантными, какие — рецессивными. Мы скрещиваем обе породы между собою и получаем гибридов первого поколения. Положим, что они все вышли белыми с прямыми ушами. Повидимому, дело проиграно, и так вероятно подумало бы большинство заводчиков в прежнее время. Но ничуть не бывало — это самый благоприятный для нас случай: оба признака, которые мы хотим скомбинировать, оказались рецессивными, а рецессивные признаки при дальнейшем расщеплении, как мы знаем, остаются всегда чистыми. Скрестим наших гибридов между собою. Во втором поколении мы получим, в среднем, из каждых 16 кроликов 9 белых с прямыми ушами, 3 белых с висячими ушами, 3 серых с прямыми ушами и одного серого с висячими ушами. Последние все будут чистыми — их-то мы и отбираем для дальнейшего разведения. Если мы разводим кроликов в большом количестве, то таких экземпляров получится достаточное количество, чтобы иметь от них многочисленное чистое потомство серых вислоухих кроликов.

Труднее будет дело, если заводчик хочет скомбинировать от разных пород оба доминантных признака или один доминантный и один рецессивный. Но, зная формулы расщепления, он всегда сумеет найти надлежащий более короткий путь применительно к наличным обстоятельствам. Мы не будем останавливаться подробно на этих вопросах, так как они являются слишком специальными.

При скрещивании двух рас, различающихся тремя парами признаков, первое поколение также получается все одинаковое, с одним доминантными признаками, заимствованными от одной или разных рас, смотря по их распределению. Во втором поколении произойдет расщепление в отношении (3 : 1). (3 : 1). (3 : 1), т.-е. получим восемь групп в численном соотношении 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1. Каждая пара признаков в отдельности расщепляется в отношении 3 : 1.

Все это проверено многочисленными опытами как над растениями, так и над животными, и дает применение для практики.

Законы расщепления оправдываются тем точнее, чем больше по своему количеству тот материал, с которым мы оперируем. Если мы скрестим серую мышь с белой, первое поколение получится все серое. Во втором поколении мы должны ждать расщепления в отношении трех серых на одну белую. Но,

если мы скрестим друг с другом двух гибридов из первого поколения, и самка даст четырех мышат, то лишь в очень редких случаях три из них будут серыми, один белым — могут получиться и все серые, или все белые, три белых на одного серого или тех и других поровну. Но, если мы будем проделывать наш опыт с большим числом мышей, то расщепление во втором поколении будет тем ближе к отношению трех к одному, чем больше было взято мышей для опыта. Отсюда понятно, что и применение к практике менделевских формул расщепления дает хорошие результаты лишь в тех случаях, когда заводчик располагает большим материалом и когда размножение идет особенно быстро. Что возможно в крупных хозяйствах, то невозможно в хозяйствах маленьких. Растения отличаются от животных преимуществом быстроты размножения. Они дают ежегодно семена сотнями и тысячами. По отношению к растениям и получены результаты весьма важные в практическом отношении. Так, напр., английские сорта пшеницы отличались своею урожайностью, но содержали по сравнению с менее урожайными континентальными сортами менее клейковины и не давали при печении хорошего хлеба. Скрещиваньем и отбором (селекцией) был получен новый сорт пшеницы с большой урожайностью и большим содержанием клейковины. Точно таким же образом получают путем скрещивания и отбора желательных комбинаций растения с крупными семенами и морозостойкие или с крепким стеблем. В Америке путем скрещивания обыкновенных крупных кактусов, покрытых колючками, с мелкими кактусами, лишенными шипов. Бёрбенку удалось получить новую комбинацию крупных мясистых кактусов без колючек, годных для корма скота и могущих расти в засушливых пустынях, где не может произрастать почти никакое другое растение. Таким образом удалось увеличить площадь для сельского хозяйства (скотоводства) за счет местности, которая ранее совершенно не была. для этого пригодна. Из животных хорошие и быстрые результаты получаются пока лишь для тех, которые быстро достигают половой зрелости и дают большой приплод, каковы куры, различные грызуны — кролики, морские свинки, крысы, мыши, над которыми и производятся в настоящее время лабораторные опыты. Для этих пород получены уже новые стойкие комбинации. Особенно удобным об'ектом для опытов оказалась чрезвычайно быстро размножающаяся американская плодовая мушка дрозофила. Но на этом дело, несомненно, не остановится — что сегодня производится в лаборатории, завтра выносится в жизнь. Раз мы знаем в настоящее время, каким путем нужно итти, чтобы получить породы с желательными для нас свойствами, мы сумеем рано или поздно и осуществить свои предначертания, точно так же, как химик, раз он знает формулу какого-либо вещества, может определить и то, из каких других веществ оно может быть получено, и какие методы нужно избрать для его получения, а техник применяет его знания на практике, строит фабрики и заводы и получает необходимые вещества наиболее дешевым способом.

Получение разнообразных пород животных и растений обязано искусственному отбору (селекции), производимому человеком. Когда-то этот отбор производился бессознательно, затем он стал сознательным — человек

стал ставить себе определенные задачи, которые и осуществлял, но он все же шел к своей цели более или менее ощупью, наугад. В настоящее время, благодаря открытию законов наследственности и образования комбинаций сознательный отбор становится вместе с тем и планомерным — заводчик или культиватор определяет наиболее верные пути, по которым должно итти к намеченной цели.

Перед нами открываются, после открытия законов наследственности при скрещивании, обширнейшие перспективы. Представляется теоретически возможным комбинировать и отбирать в желательных сочетаниях признаки различных пород животных и растений, привить, так сказать, один или несколько признаков, заимствованных от других пород, к любой породе. Но при всем том искусство культиватора, вооруженного современными научными знаниями, все же остается ограниченным. Он может получать новые расы путем перегруппировки тех особенностей, которые уже имеются в наличном материале, но не в состоянии вызвать появление совершенно новых особенностей, передаваемых по наследству, или мутаций. Причин возникновения мутаций мы до сих пор не знаем, а потому и управлять ими не можем; можем только пользоваться тем, что сама природа дает нам помимо нашего ведома и желаний.

Это — проблема будущего.

Прежде чем закончить наш очерк, остановимся на двух важных подробностях.

Согласно первому закону Менделя, первое поколение гибридов, получающееся от скрещивания двух рас, различающихся одной или несколькими парами признаков, всегда бывает одинаковое — с доминантными признаками, заимствованными от обоих производителей. Всякий, однако, по личному опыту знает, что при скрещивании двух собак разных пород потомство получается нередко самое разнообразное. То же самое наблюдается часто при скрещиваньи двух сортов наших цветочных растений. Таким образом первый закон Менделя, повидимому, не оправдывается?

Никакого противоречия первому закону Менделя здесь нет. Дело в том, что большинство наших собак, равно как и большинство наших цветочных и плодовых растений, не являются чистыми породами, а помесями, гибридами, и притом часто очень сложными, в которых соединено несколько пар различных признаков и за видимыми доминантными признаками скрываются рецессивные. Первый закон Менделя касается только чистых пород, здесь же мы имеем скрещивание гибридов между собою или с одной из чистых пород. При этом, как мы знаем, в потомстве всегда наступает расщепление, и в части его вновь проявляются рецессивные признаки. От этого при такого рода скрещиваниях потомство и задается и в мать, и в отца, и неизвестно в какого молодца, кровь которого в скрытой форме примешана к крови одного или обоих из родителей.

Этим об'ясняется и другое обстоятельство, имеющее место в растениеводстве.

Громадное количество наших культурных растений, в особенности и плодовых и цветочных, получено скрещиванием других сортов и являются сложными гибридами. Если с этих помесей собрать семена и посеять, то только часть из них, и иногда весьма небольшая, воспроизведет такие же растения, от которых были взяты семена. Это будет тем реже, чем больше признаков различных рас соединены при повторных скрещиваниях. Получить расу с такими же признаками, но чистую, которая, не теряя своих достоинств, размножалась бы семенами, возможно, но это требует громадного труда и терпенья. Поэтому растениеводы для сохранения определенного сорта пользуются обыкновенно другим путем, — размножением его вегетативным путем — через черенки, отводки или прививку, обыкновенно окулировку. С молодой ветви выведенного сорта вырезывают почку — «глазок» и приживляют его под кору дикого растения или растения другого, менее ценного сорта. Так размножаются культурные, обыкновенно помесные сорта яблонь, других плодовых деревьев, роз и т. п. Крыжовник, многочисленные наиболее ценные сорта которого также представляют собою помеси, размножается отводками, садовая земляника — усами и т. д...

Домашние животные размножаться вегетативным путем не могут. Если при скрещивании их различных рас и получается ценное в том или другом отношении потомство, выделить чистую породу с теми же особенностями, требует большого труда и времени — этим об'ясняется то, что животные дали сравнительно не так много различных домашних чистых рас — всего более собаки и голуби, которые являются одними из самых древних приобретений человека и разводились не только из-за приносимой ими пользы, но и как предметы роскоши и моды. Собаки дали до двухсот чистых рас, голуби более 150, но многие из этих рас весьма мало различаются между собою. Между тем яблонь мы имеем до тысячи разновидностей, роз до трех тысяч. Однако большинство из них являются гибридными; целая большая группа роз так и носит название — чайных гибридов. Семенами они размножаться не могут, так как или совсем не дают семян, или очень мало вследствие сильной махровости, или же семена не воспроизводят, за немногими исключениями, тех растений, от которых они получены. Но скрещиванием чуть не ежегодно получаются новые интересные гибридные же комбинации, которые и размножаются помощью прививки, а частью также помощью черенков.

Дневник Кости Рябцева.

(Картины из жизни школы второй ступени).

Н. Огнев.

Первый триместр 1923/24 г.

Первая тетрадь.

15 сентября 1923 года.

Уже половина сентября, а занятия в школе еще не начинались. Когда начнутся — неизвестно. Говорили, что в школе ремонт, а я сегодня утром пошел в школу и увидел, что никакого ремонта нет; наоборот, там и людей никаких не было, и спросить было не у кого. Школа стоит растворенная и пустая. По дороге купил у какого-то мальчишки за три лимона эту тетрадку.

Когда пришел домой, то подумал, что делать нечего, и я решил писать дневник. В этом дневнике я буду записывать разные происходящие события.

Мне очень хочется переменить имя «Константин» на «Владлен», а то Костями очень многих зовут. Потом Константин — это был такой турецкий царь, который завоевал город Константинополь, а я плевать на него хотел с шестнадцатого этажа, как выражается Сережка Блинов. Но вчера я ходил в милицию, и там мне сказали, что до 18 лет нельзя. Значит, ждать еще три с половиной года. Жаль.

16 сентября.

Я думал, придется придумывать, что писать в дневник, а оказывается, сколько угодно найдется. Сегодня утром пошел к Сережке Блинову, он мне сказал, что занятия в школе начнутся двадцатого. Но самое главное — это наш разговор с Сережкой насчет Лины Г. Он мне сказал, чтобы я не шился с ней потому, что она дочь служителя культа, и мне, как сыну трудящегося элемента, довольно стыдно обращать на себя всеобщее внимание. Я ему ответил, что, во-первых, я никакого всеобщего внимания на себя не обращаю, и что Лина мне одногруппница и сидит со мной на одной парте, и поэтому вполне понятно, что я с ней шьюсь. Но Сережка мне ответил, что пролетарское самосознание этого не позволяет, и, кроме того, по мнению шкрабов и всех бывших учкомов, я оказываю (будто бы) на нее вредное влияние. Что она, на место ученья, шатается со мной по улицам, и, вообще, может идеологически прогнить. И еще Сережка сказал, что всякое шитье с девчатами,

как с таковыми, нужно прекратить, ежели желаешь вступить в комсомол. Я с Сережкой разругался, пришел домой, и вот теперь пишу в дневник то, что не успел досказать Сережке. Лина для меня не существует, как женщина, а только, как товарищ, да и вообще я на наших девчонок смотрю отчасти с презрением. Их очень интересуют тряпочки да бантики, и еще — танцы, а самое главное — сплетни. Если бы за сплетни сажали в тюрьму, ни одной девчонки в нашей группе не осталось бы. А что мы в прошлом году ходили с Линой в кино, так это потому, что больше не с кем было. А Лина так же любит кино, как и я. Ничего удивительного нет.

С нетерпением жду открытия школы. Школа для меня все равно, что дом. И даже интересней.

20 сентября.

Школа, наконец, открылась. Был страшный шум и возня. В нашей группе все старые ребята, а из девчат прибавилось две. Одна — белобрысая, с косой и бантом вроде пропеллера. Ее зовут Сильфида, хотя она не заграничная, а русская. Девчата сейчас же прозвали ее Сильвой. Ее фамилия — Дубинина.

Другая — черная, стриженая, в черном платье и, вообще, вся черная, и никогда не смеется. Что-нибудь скажешь ей, она сейчас же: — Фу, ффу, фффу, ффффу, — паровозит. Потом она все горбатится и ходит, как тень. Зовут ее Зоя Травникова.

27 сентября.

В нашей школе вводится Дальтон-план. Это такая система, при которой шкрабы ничего не делают, а ученику самому приходится все узнавать. Я так, по крайней мере, понял. Уроков, как теперь, не будет, а ученикам будут даваться задания. Эти задания будут даваться на месяц, их можно готовить и в школе, и дома, а как приготовил, — иди отвечать в лабораторию. Лаборатории будут вместо классов. В каждой лаборатории будет сидеть шкраб, как определенный спец по своему делу: в математической, например, будет торчать Алмакфиш, в обществоведении — Никпетож, и так далее. Как пауки, а мы — мухи.

С этого года мы решили всех шкрабов сократить для скорости: Алексей Максимович Фишер будет теперь Алмакфиш, Николай Петрович Ожигов — Никпетож.

С Линой не разговариваю. Она хочет пересаживаться от меня на другую парту.

1 октября.

Дальтон-план начался. Парты отовсюду вытащили, оставили только в одном классе, в нем будет аудитория. Вместо парт, принесли длинные столы и скамейки. Я с Ванькой Петуховым слонялся целый день по этим лабораториям и чувствовал себя очень глупо. Шкрабы тоже пока толком не поняли, как быть с этим самым Дальтоном. Никпетож оказался, как всегда, умней

всех. Он просто пришел и дал урок, как всегда, только мы сидели не на партах, а на скамейках. Со мной рядом села Сильфида Дубинина, а Лина совсем на другом конце. Ну, и чорт с ней. Не очень нуждаюсь.

Сегодня всех насмешила Зоя Травникова. Она начала проповедывать девчатам, будто покойники встают по ночам и являются к живым. А некоторые ребята подошли и прислушались. Вот, Ванька Петухов и спрашивает: «Что ж, ты сама покойников видела?» — «Ну да, видела». — «Какой же из себя покойник?» — спрашивает Ванька. — «Они такие синие и бледные, и будто не евши очень долго, и завывают». Тут Зоя такую страшную рожу сделала и руками разводит. А Ванька говорит: «Это ты все врешь, по-моему, покойники серо-буро-малиновые и хрюкают вот так: уи, уиии, уиии...». И захрюкал поросенком. Зоя обиделась и сейчас же зафукала, запаровозила, а ребята расхохотались.

3 октября.

С Дальтоном выходит дело дрянь. Никто ничего не понимает: ни шкрабы, ни мы. Шкрабы все обсуждают каждый вечер. А у нас только и нового, что скамейки вместо парт, и книги прятать некуда. Никпетож говорит,что теперь это и не нужно. Все книги по данному предмету будут в особом шкафу в лаборатории. И каждый будет брать, какую ему нужно. А пока шкафов-то нет?

Ребята говорят, что это был какой-то лорд Дальтон, из буржуев, и что он изобрел этот план. Я так скажу: на кой нам этот буржуазный план. И еще говорят, что этого лорда кормили одной гусиной печенкой и студнем, когда он изобретал. Посадить бы его на осьмушку да на воблу и посмотреть. Или по деревням заставить побираться, как мы в колонии, бывало. А с гусиной печенки — это всякий изобретет.

Сильфида все вертится, и сидеть с ней рядом неудобно. Я посылал ее несколько раз к чорту, а она обозвала меня сволочем. Я спросил у девчат ее социальное происхождение, и узнал, что она — дочь наборщика. Жалко, что она не буржуйка, а то бы я ей показал.

4 октября.

Зоя Травникова опять всех разозлила. Встала и говорит загробным голосом: «По-моему, нужно сажать в темный карцер, особенно мальчишек. Иначе с ними не справишься». Все как загудят, как засвистят! Сначала было общее негодование, а потом она извинилась и говорит, что пошутила. Хороши шутки, нечего сказать! Она вся черная, с ног до головы, и ее зовут теперь: «Черная Зоя».

Было собрание нового учкома. Они выбраны на месяц.

5 октября.

Сегодня вся наша группа возмутилась. Дело было вот как. Пришла новая шкрабиха, естественница, Елена Никитишна Каурова, а по-нашему, — Елникитка. Стала давать задание и говорит всей группе: «Дети!». Тогда

я встал и говорю: «Мы не дети». Она тогда говорит: «Конечно, вы дети, и по-другому я вас называть не стану». Я тогда отвечаю: «Потрудитесь быть вежливой, а то можно и к черту послать». — Вот и все. Вся группа за меня, а Елникитка говорит, — сама вся покраснела: «В таком случае потрудитесь выйти из класса». Я ответил: «Здесь, во-первых, не класс, а лаборатория, и у нас из класса не выгоняют». Она говорит: «Вы невежа». А я: «Вы больше похожи на учительницу старой школы, это только они так имели право». Вот и все. Вся группа за меня. Елникитка выскочила, как ошпаренная. Теперь пойдет канитель... Ввяжется учком, потом шкрабиловка (общее собрание шкрабов, потом школьный совет. А по-моему, все это пустяки, и Елникитка — просто дура.

В старой школе над ребятами шкрабы измывались, как хотели, теперь мы этого не позволим. Нам Никпетож вычитывал из «Очерков бурсы», как даже взрослых парней драли прямо в классе, у порога, да я и сам читал в разных книжках, как зубрить заставляли и давали разные клички и прозвища ученикам. Но тогдашние ребята и понятия не имели о таких временах, в которые нам пришлось жить. Мы ведь перенесли голод, холод и разруху, нам и семьи приходилось кормить, и самим за тысячи верст за хлебом ездить, а некоторые и в гражданской войне участвовали. Еще трех лет не прошло, как война кончилась. После скандала с Елникиткой я обо всем этом задумался и для раз'яснения и проверки своих мыслей хотел говорить с Никпетожем, но он был занят, вся лаборатория была полная. Тогда я пошел в математическую, к Алмакфишу, и выложил ему то, что я думал про нашу жизнь. Алмакфиш ответил мне непонятно. Он мне сказал, что все, что мы пережили, доказывает количественно — изобилие эпохи, а качественно — стоит по ту сторону добра и зла.

Я не это совсем и думал, я хотел только ему доказать, что с нами не имеют права обращаться, как с детьми или с пешками, но мы с ним не договорили, потому что тут же ребята пришли его спрашивать насчет математики. А Алмакфиш зачем-то завел про добро и зло. Мне так кажется, что ни зла, ни добра не существует; верней, что̀ зло для одного, для другого может быть добром, и наоборот. Если лавочник наживает сто процентов на товаре, это для него добро, а для покупателя зло. Так, по крайней мере, из политграмоты видно.

6 октября.

Ну, и навалили заданий... За месяц, даже меньше, то-есть, к 1 ноября, нужно прочесть уйму книг, написать десять докладов, диаграмм начертить восемь штук, да еще устно уметь отвечать, то-есть даже не отвечать, а разговаривать по пройденному. У каждого ученика — свое задание. Да, кроме того, нужно еще проработать задания по физике, химии и электротехнике практически. А это — неделю торчать в физической лаборатории.

Сегодня меня и Сильфиду вызывали в учком. А в учкоме сидит Сережка Блинов и еще другие. Оказывается, она на меня насплетничала, что я ее ругаю всякими словами, как в очередях. Ничего подобного не было. Когда

вышли, я ее дернул за бант, она заревела и дралка. Нет, с девчатами рядом сидеть — интеллигентщина. Завтра пересяду.

7 октября.

На шкрабиловке решили передать наше дело с Елникиткой на школьный совет и предложили разобрать дело общему собранию. Общее собрание будет завтра. Чем кончится — неизвестно, только мы не позволим называть себя детьми.

Сегодня вышел первый номер стенгазеты: — «Красный ученик». Сначала все заинтересовались, а потом оказалось — буза. Статейки скучные. Написано все про ученье, и чтобы вести себя хорошо. В редакционной комиссии — Сережка Блинов и еще другие.

Получил записку: — «Ты напрасно интересничаешь, все девчата не хотят иметь с тобой ничего общего». Я и не знаю, как это интересничают. Наверное, Лина. Она подружилась очень с этой новой девчонкой, Черной Зоей, и они постоянно сидят у печки и шушукаются. Даже тогда, когда все играют, они торчат у печки. Им, наверно, очень хочется, чтобы кто-нибудь к ним прилез, а мальчишки и внимания на них не обращают. Очень нужно. Черную Зою прозвали еще «Фашисткой», потому что фашисты тоже постоянно в черном ходят. А она и не понимает, хоть и злится. Вообще, наши девчата разбираются в политике меньше, чем ребята.

8 октября.

Я только что из школы. Сейчас кончилось общее собрание, на котором разбирали мое дело с Елникиткой. Умней всех говорил Никпетож. Он сказал, что все это — пустяки, что каждый школьный работник должен уметь подходить, а у Елены Никитишны подход еще не выработан, а выработается потом. А про меня шкрабы говорили, что я грубый парень и что на меня нужно оказывать моральное воздействие. А Зинаидища — это наша заведующая — сказала, что я — глубокий мальчик, но не умею сдерживать своих инстинктов. Как это их сдерживать, я не знаю, а вот когда она называет меня мальчиком — терпеть не могу. Но с Зинаидищей спорить трудно: в случае чего, позовет в учительскую, и давай отчитывать. После такой отчитки киснешь целый день. Дальше про общее собрание: ни с того, ни с сего выступила фашистка Зоя Травникова и говорит, что со мной сладу нет, что я к девчатам пристаю, и прочее. Тут я обозлился страшно. Во-первых, я с ней и слова не сказал, а, во-вторых, она никаких доказательств представить не может. И вся наша группа на нее зашикала, потому что это против всяких групповых правил — доказывать на своего же товарища на общем собрании. В конце голосовали, что я должен перед Елникиткой извиниться, а я сказал, что пусть раньше она извиняется, что назвала нас детьми. Теперь дело пойдет на школьный совет. Я так думаю, что Елникитка будет засыпать меня по естественной, вот и все.

Домой мы шли с Ванькой Петуховым, и Ванька говорит, чтобы я не поддавался, и что поддаваться — хуже. Ванька торгует папиросами, а патента

у него нету. Старший мильтон гонял и гонял Ваньку с угла, а Ванька все не поддавался, и теперь мильтону надоело, и Ванька торгует сколько хочет. А ему без торговли нельзя, потому что у него больная тетка и сестра, а работник он один, да еще учиться нужно. Хорошо, что у меня отец портной, и я у него один, а то бы тоже пришлось торговать папиросами.

10 октября.

Сегодня в аудитории Елникитка об'ясняла задание, а Сильва сидела со мной рядом, на одной парте, и все вертелась, а я ее нечаянно задел локтем, и тогда Сильва завизжала. Елникитка спрашивает, что такое, и Сильва, конечно, насплетничала. Елникитка сказала, что я хулиган, а я спросил у нее, что такое хулиган, и как надо понимать это слово, а она об'яснить толком не могла. Потом я спросил у Никпетожа, что такое хулиган. Оказывается, хулиган, это такой человек, который причиняет зло другому без всякой пользы для себя. А какое же зло я причинил Сильве? Что ж, я в кашу ей наплевал, что ли?

12 октября.

Во время обеденного перерыва мы играли в зале в лапоть. А лапоть — это такая зимняя игра, вроде футбола. У нас под лестницей хранится лапоть, который мы вытаскиваем, когда нужно играть. Все становятся в кружок и начинают этот самый лапоть лупить изо всей силы ногами, чтобы вышибить из круга. А в середине стоит один, кто ловит лапоть. Если поймал, может становиться на место того, кто последний ударил. Вот, мы играли, играли, лапоть летал аэропланом, как вдруг я наподдал, лапоть вылетел из круга и прямо по лицу Зинаидище: она в это время входила в зал. Вот она обозлилась-то! Сейчас же топнула ногой — это у нее такая привычка — и кричит: «Прошу перестать. Кто это сделал?» Все замолчали. Тут она и давай говорить жалкие слова: «Я думала, что у нас в школе еще поддерживается это правило, что виновный сознается сам, и что если он не сознается, значит, трус», и тому подобное. Я не выдержал, и спрашиваю: «Конечно, виновный должен сознаться, только в чем же он виноват?» — «А виноват в том, — отвечает Зинаидища, — что позволяет себе слишком резкие движения и не считается с возможностью всяких повреждений». Тогда я сказал, что это я. Зинаидища подошла ко мне, схватила за руку и говорит: «Пойдем». Тут на меня нашло какое-то оцепенение, и я пошел за ней в учительскую. Как примется она меня пилить. Я этого хуже всего не люблю. Я и сказал ей: — «На что же тогда самоуправление, если шкрабы во все вмешиваются и все время делают выговоры. Обратитесь в учком, он меня и подтянет». А она отвечает: «Вы прежде всего должны помнить, что вы еще не человек, а только личинка. Вы не можете отвечать за свои поступки». И опять пошла чистить на все корки.

Когда я отчистился, лапоть уже кончился и обеденный перерыв тоже. Если бы я был дружен с Сережкой Блиновым по-прежнему, я пошел бы к нему поговорить насчет самоуправления и шкрабов. А теперь не с кем —

разве с Ванькой Петуховым... Я уже давно собирался записаться в ячейку, да ячейка у нас очень бездеятельная: она вполне бы могла отбавить форсу у шкрабов, а ни во что школьное не вмешивается, заседания ячейки для всех открыты, но на них так скучно, что никто из беспартийных не ходит. Все только политика, да про производство: вроде скучного урока. А когда кто-нибудь из ребят возьмется сделать доклад, так просто засыпаешь.

13 октября.

Был школьный совет. Разбирали мое дело с Елникиткой, и Зинаидища тоже ввязалась и рассказала про лапоть. Постановлено на меня оказывать моральное воздействие. Никпетож отвел меня в пустую лабораторию и стал со мной разговаривать. Только он ни слова не сказал про мой характер, а все толковал про Дальтона. Он говорит, что учителя смотрят теперь на преподавание не так, как встарину. Раньше смотрели так, чтоб как можно скорей набить ученику голову всякой всячиной, а когда ученик кончит школу, все у него из головы в два счета вылетало. Одним словом, надо было наполнить пустой сосуд, а что он может вылиться, это им было плевать с шестнадцатого этажа. А теперь на ученика смотрят как на костер, который только разжечь, а дальше он уж сам гореть будет. Вот, для этого и вводится Дальтон-план, чтобы сами ученики как можно больше работали головой. Я сказал, что это очень трудно, и, наверное, никто не сдаст зачетов к 1 ноября. А Никпетож говорит, что это не важно, и что, в конце концов, все поймут пользу Дальтона. Я пока что не понимаю. Потом я его спросил, как по его мнению: хулиган я или нет. Он сказал, что по совести этого не думает, а что резкость у меня есть, которая потом, с годами, пройдет. Когда я ушел от Никпетожа, мне стало очень весело, и я с пением пошел к Елникитке извиняться. Подошел к естественной лаборатории, а оттуда как выскочит Елникитка, да как начала меня крыть: и что я и сам не занимаюсь, и другим не даю, и всякое такое прочее. Я обиделся, показал ей кукиш и ушел. Теперь опять потянет на школьный совет. И отца теперь вызовут. Чорт с ними. По-моему, Елникитка ни капельки не разжигает костер, а скорей его гасит.

Мне опять прислали записку:

— Хотя в тебя влюблена одна д., ты не думай, что ты очень интересный. И надо бросить ругаться, а то с тобой разговаривать не хотят.

По-моему, опять Лина.

15 октября.

Вчера было воскресенье, и я пошел с Сильвой в кино. Почему я пошел именно с Сильвой, а потому, что, оказывается, у ней есть возможность доставать контрамарки. Была картина: «Остров разбитых кораблей». Еще в фойе я заметил Лину и Черную Зою, — они очень подружились между собой и постоянно шушукаются. И вдруг, после картины, Лина подходит ко мне и говорит: «Поди-ка сюда на минутку». Я пошел, а Сильва сейчас же ушла домой. Тогда Лина говорит: «Хотя ты со мной и не разговариваешь, но

я тебе должна сказать, что, может быть, ты меня скоро перестанешь видеть. А потом передай своей Сильве, что я ее ненав-в-вижу. Я повернулся, прошел мимо Черной Зои, а она стояла, как статуя. Чего они ко мне лезут?

20 октября.

У нас все экскурсии: то на фабрику, то в музей. Писать некогда.

22 октября.

ИКС все выходит, и никто не может узнать, кто его пишет. По-моему, старшие группы. А теперь еще пошло по рукам, только со строгим предупреждением, чтобы не засыпаться шкрабам,—П-К-Х. Это значит: Приложение к Х, то-есть к ИКСУ. В этом П-К-Х всякая похабщина, смешная до чортиков.

23 октября.

Каким-то образом П-К-Х засыпался Никпетожу. Никпетож пришел и давай размазывать про любовь и про отношения мужчины и женщины, точно мы сами не знаем. Меня, однако, поразило то, что он сказал, будто любовь— цветущий сад, а тот, кто занимается похабщиной, тот в этот сад гадит. Володька Шмерц еще переспросил: «Неужели правда, что цветущий сад?». А Никпетож ответил, что да, да еще какой: — сияющий, яркий, и золотой, и серебряный. Ребята хихикали, девчата на них шикали, а Черная Зоя, Фашистка, встала и говорит: «И, кроме того, любовь бывает до гроба». Никпетож ее спрашивает: «То-есть как до гроба?» А она: «И не только до гроба, а даже после гроба. Я, — говорит, — знала одного человека, который любил мертвую девушку». И рожа при этом у ней сделалась страшная, словно она сама мертвец, даже ребята перестали хихикать. А Никпетож сказал, что это уже неестественность, и что мертвое тело так быстро разлагается и превращается в землю, что ни о какой любви к мертвецам не может быть и речи. После этого я задумался. У нас, правда: как соберутся одни ребята, без девчат, так и пошла похабщина и матершина. При девчатах не решаются. Я посоветовался с Ванькой Петуховым, а он говорит, что это — ничего, что все взрослые мужчины так. Это-то правда, что взрослые так. А у меня отец никогда не ругается по-матерному, хотя у нас женщин нет: мать давно умерла, только поденщица ходит прибирать иногда.

А со мной что творится, я не знаю: то хочется остаться одному, то наоборот — хочется в толпу, и чтобы яркий свет горел, и чтобы музыка играла, и чтобы меня все поздравляли. А на-днях, когда ходили на экскурсию, мне вдруг захотелось на глазах у всех лечь между рельсов под трамвай, и чтобы трамвай надо мной прошел. Я уже пошел к трамваю, да меня ребята затолкали.

24 октября.

Скоро сдавать зачеты за октябрь, а у меня еще ничего не готово. Проклятый Дальтон — словно ватой голова набита. Я и не предполагал, что так трудно заниматься в одиночку.

25 октября.

У нас появилась новая стенгазета, которую издает «об'единенный коллектив младших групп», и она называется «Катушка». Этой газетой сразу все заинтересовались, потому что она об'явила анкету: — «может ли в нашей школе девочка дружить с мальчиком». Я списал те ответы, которые были вывешены на стенке, рядом с газетой:

1. Если сойдутся характерами, то могут.

2. Девочка не может дружить с мальчиком, потому что у мальчиков и у девочек совсем другие убеждения и интересы. (Это писала Фашистка.)

3. Я думаю, что можно, только не со всеми. У нас в школе так бывало. Но стоит только появиться хорошему отношению, как со всех сторон несутся насмешки и поневоле заставляют прекратить. Все понимают в ином освещении.

4. Нет. Девочки — дух противоречия. (Это написал я.)

5. Можно, если бы некоторые девочки не так презрительно относились к мальчикам, отчего подрывают отношения остальных девочек к последним.

6. Ответить на этот вопрос все-таки трудно. Я, например, понимаю дружбу двояко. Во-первых, у мальчиков и у девочек должна быть коллективная, общая дружба, и, по-моему, она возможна. Но есть вторая дружба, это дружба отдельных лиц, которые как-то сходятся между собой, и у них появляется дружба. И эта дружба может быть между мальчиком и девочкой, но, конечно, не у всякого мальчика со всякой девочкой, и наоборот. В общем,— дружба есть что-то хорошее и высокое, к чему мы не должны отрицательно относиться.

7. По-моему, в теперешнее время не может, так как всякая дружба, в конце концов, сведется к более сильному чувству с той или другой стороны. (Это писала Лина, я видел.)

26 октября.

Произошел серьезный случай.

Зою Травникову давно уже окрестили «Черной Зоей» и «Фашисткой», и никто на это не обращал никакого внимания, только она обижалась. Но вот, сегодня в аудитории Никпетож рассказал нам про Муссолини и фашистов во всех подробностях, и как чернорубашечники брали Рим, и как они потом расправлялись с коммунистами.

Во время обеденного перерыва мальчишки сговорились между собой, окружили Зою, и начали петь:

— Мы фашистов не боимся, пойдем на штыки...

Зоя сначала заревела, потом начала драться, а мы только смеялись. Как вдруг Зоя как трахнется на пол. Мы сейчас же петь перестали, подходим к ней, а она — как мертвая. Лицо бледное, зубы сжаты. Все испугались, побежали за водой и давай ее спрыскивать. А она все не приходит в себя. Тут прибежала Елникитка, она была дежурная, стала на нас ругаться, велела из аптечки принести нашатырного спирта. Мы принесли, Елникитка

дала ей понюхать, тогда Зоя как будто стала приходить в себя. Тут Елникитка опять напустилась на нас, и всех разогнала.

После этого Никпетож, как руководитель нашей группы, собрал всех в аудиторию, и было собеседование насчет кличек. Сначала выясняли, какие у кого клички. У девчат оказалось у каждой по нескольку кличек, у ребят меньше. Одну из девчат зовут: — Собака, Кишка, Грымза, Капуста. Долго спорили, потом решили так: кто заявит протест против своей клички, того так больше не звать. Сейчас же все девчата зашумели, и одна за другой потребовали, чтобы их кличками не звать. Все это было записано.

Только, по-моему, все это интеллигентщина. Вот, меня зовут Козлом, и я нисколько не обижаюсь.

30 октября.

Сегодня опять был обморок с Черной Зоей. Она, по обыкновению, сидела около печки с Линой, потом они поссорились, что ли, — и вдруг Зоя трах на пол. Опять притащили воду, нашатырь, насилу оттерли. Зинаидища вызвала Зою в учительскую и долго с ней говорила. Странная девчина, эта самая Зоя. По-моему, она очень много думает насчет мертвецов, оттого и в обморок падает.

31 октября.

Завтра начало сдачи зачетов. Вчера просидел всю ночь, и сегодня тоже придется. Самое скверное то, что книг нету. В лабораториях и в библиотеке разобрали ребята: — тоже готовятся. Откуда же взять?.. Покупать... — денег нету. Сегодня буду чертить диаграммы по обществоведению.

Все-таки, напрасно у нас в школе ввели Дальтона.

Вторая тетрадь.

1 ноября.

Конечно, я засыпался по математике, по физике, а по естественной даже и не пробовал сдавать зачет. Оказывается, это будет называться «задолженность». Когда сдам, тогда и ладно. А до тех пор крестик не поставят. Мне все-таки неловко: у нас больше половины группы сдали все зачеты. Никпетожу я, конечно, сдал. И диаграммы представил.

Начинают готовиться к октябрьским торжествам. Меня выбрали в комиссию, а кроме меня из нашей группы — Сильфиду Д.

2 ноября.

Должно было состояться общее собрание для выбора новых учкомов и для отчета старых. На этом собрании Сережка Блинов хотел выступить против самоуправления. Почти все ребята согласились его поддерживать, а из девчат только часть. Но потом, с первых же слов, решили перевыборы отложить, и устроить их после октябрьских торжеств.

3 ноября.

Мы решили как следует разукрасить все здание школы зеленью и флагами. Шкрабы сказали, что они вмешиваться не будут, а мы сами должны все сделать. Это — вася, без шкрабов куда хлеще. Сильва, оказывается, не такая дура и интеллигентка, как я думал. Танцовать она не любит, а бант носит пропеллером потому, что мать велит. Я ей посоветовал не обращать внимания, а она ответила, что любит мать, и потому ее слушается. Вот этого я немножко не понимаю: — против убеждения носить бант. Я бы нипочем не стал носить бант, хотя папеньку очень уважаю и люблю.

Завтра поедем за елками за город. Ура!

5 ноября.

Почти все готово. Устроили иллюминацию в виде красной звезды над самым парадным. Все лаборатории, и зал, и аудиторию украсили флагами и елками. Все хвалят, и мне приятно.

7 ноября.

Все ушли на демонстрацию, даже папенька, а я — дома. Лежу в постели и нисколько не могу ходить. Вчера полез на крышу парадного укреплять надпись: «Да здравствуют советы», да и ссыпался оттуда, и вытянул себе жилу на ноге. Было страшно больно, теперь ничего, только даже встать не могу. А Сильва там же, на тротуаре, меня разула и стала растирать ногу. Сначала я брыкался, потом ничего. Даже вроде как приятно. Потом она же позвала Ваньку Петухова и других, нашла где-то носилки, и меня стащили домой. Значит, и девчонки могут быть хорошими товарищами. Это надо заметить и поговорить на этот счет с Ванькой Петуховым. Теперь от нечего делать буду писать про всех.

Ванька Петухов очень хитрый. 1 ноября все пошли сдавать зачет по математике Алмакфишу, а сдавать зачеты, — когда хочешь, можно. Вот, Ванька и не пошел. А потом узнал, какие Алмакфиш теоремы спрашивает больше всего, и пошел сдавать 3-го, и сдал. Так же и с другими предметами. И теперь у Ваньки задолженности совсем не осталось. А я так не могу. По-моему, из этого никакого костра не выйдет. Нужно самому все пройти, по-настоящему, тогда и в голове останется. И, вообще, все ребята, стоя около лабораторий, шепчутся: «Что спрашивает, что спрашивает?» Совсем, как на экзаменах. Форменная старая школа.

Теперь кто из шкрабов кого преследует.

Елникитка меня терпеть не может, а Алмакфиш — Сильву. Он ее засыпал и по математике и по физике. Она сейчас же в слезы. А Алмакфиш очень ехидный. Сильва говорила, что он все проезжался насчет ее банта: «Банты, — говорит, — носить умеешь, а по математике отстаешь». По-моему, он и права так не имеет. Такое право имели учителя в старой школе.

А Зинаидища преследует Ваньку Петухова. Ее потому зовут Зинаидищей, что она очень высокая. Когда она идет по залу, то кажется, будто

это — Сухарева башня, а мы все — торговцы. Мы даже так играем. Когда Зинаидища покажется в зале, сейчас же начинается:

— Пирожки, пирожки горячие...

— Ира-Ява, зец: облава...

— А вот мануфактура, покупай, дура...

— Старые брюки — подставляй руки...

А Зинаидища идет по зале — и пасть от удовольствия разинула: улыбается потому, что ничего не понимает. А рот у ней большущий, только один желтый зуб торчит. Она думает: «Вот, ребята играют, как хорошо... Если кто-нибудь из центра приедет, — похвалит...» И не подозревает, что мы из нее Сухареву башню разыгрываем. Ее все-таки боятся, и когда ей нужно что-нибудь нам сказать, она топает ногой и кричит: «смирно!». И все сразу молчат. Хотя мы не солдаты, и нечего нам командовать.

Ваньку Петухова она не любит за то, что он торгует папиросами. Для нее он все равно, что беспризорный, и она думает, что он самогонку пьет, и в карты играет, и марафет нюхает, и с женщинами живет... Она ему так и говорит: «Ты всю школу можешь заразить». Ванька, верно, курит, потому что и я курю, да и Сережка Блинов, которого Зинаидища вечно ставит всем в образец, тоже курит. А насчет остального — враки. Правда, все беспризорные Ваньку знают, потому что он им книжки читает, как они неграмотные, и я даже собираюсь вместе с ним пойти посмотреть. Они живут в разваленном подвале одного дома. Дома теперь нет, и подвал засыпало, вот они в этом подвале и живут... Ванька их не боится, он говорит, что из них хорошие ребята есть, хоть бы к нам в школу, только неграмотные. Сначала Ваньке порядком от них доставалось: налетят, с ног собьют вместе с лотком и папиросы тырят, да еще в скулу норовят влепить. Вот Ванька и пошел к ним с книжками: захватил папирос, угостил их, и стал им читать. Они, оказывается, сказки любят, как маленькие. С тех пор они Ваньку не трогают. А Зинаидища ничего этого не знает, и все на Ваньку лается. По правде сказать, один раз мы с Ванькой пробовали нюхать марафет, только ничего не вышло: сначала заболели головы у обоих, потом блевать стали — гадость в общем и целом. А беспризорные, по Ванькиным словам, и жить без марафета не могут.

Никпетож ни к кому не придирается, и поэтому вся группа чувствует к нему доверие. И потом он говорит, что гордится нашей группой, потому что среди нас развито коллективное сознание. Я хотя с этим не очень-то согласен: среди ребят еще есть коллективное сознание, а уж среди девчат... только некоторые разве...

Однако надо позаниматься: буду решать задачки Алмакфишу.

10 ноября.

Сегодня в первый раз вышел из дому — и прямо в школу. На демонстрации, говорят, было очень весело, и будто пошла теперь мода ходить по улице с голыми ногами, в физкультурных костюмах: все, и девчата тоже. Я считаю, что это очень хорошо, потому что юбки пылят, и потом ману-

фактуры на них лишней много идет: все равно ведь женщины штаны носят. И будто на демонстрации все комсомольские девчата были в трусах.

Не успел я притти в школу, как уже сразу получаю записку:

— Здесь без тебя очень скучали. Угадай, кто.

И угадывать не желаю.

Алмакфишу математический зачет сдал: вот что значит дома-то полежать.

11 ноября.

Сегодня воскресенье, было очень длинное общее собрание. Во-первых, отчитывался старый учком. Все шло, как всегда, когда вдруг председатель старого учкома Сережка Блинов заявил, что он в последний раз был в учкоме и больше не будет участвовать, и отказывается от своей кандидатуры навсегда. А причины такие, что учком является «инвалидом на шкрабьих костылях», то-есть ничего самостоятельного предпринять не может, а должен во всем согласоваться со шкрабами. Так как Сережка, вместо «школьные работники» употреблял выражение «шкрабы», ряд шкрабов тут же заявил протест. Затем Зинаидища взяла слово и спросила Сережку, как он считает: что ученики совсем не должны считаться со школьными работниками, и не признавать их за людей, или все же человеческое звание за школьными работниками он оставляет? Сережка Блинов страшно обиделся и не хотел говорить дальше, но его упросили ребята. Тогда Сережка сказал еще, что он считает разные здорованья и вставанья предрассудками, и что он лично не будет этому подчиняться. Зинаидища в ответ ему сказала, что всегда считала его образцовым учеником, и теперь удивляется, какая его муха укусила. Кроме того, считает ли он тоже предрассудками причесыванье и умыванье. Сережка опять обиделся и не захотел дальше разговаривать. Тогда выступил Алмакфиш и сказал, что все это его нисколько не удивляет и что количественно это — изобилие эпохи, а качественно — стоит по ту сторону добра и зла. Мне кажется, это же самое он говорил мне по поводу моего столкновения с Елникиткой, и тоже ни к селу, ни к городу. Несмотря на все убеждения шкрабов, Сережка Блинов остался при своем убеждении, и большинство школы — за него. Только некоторые девчата как будто держат сторону шкрабов, в том числе Лина и Черная Зоя, Зоя, по крайней мере, каждый раз. как Сережка говорил, паровозила: фу, ффу, фффу.

После этого прецендента были выборы нового учкома. К моему удивлению и против всякого желания, попал в учкомы и я. Кроме меня, из нашей группы в учком попала Сильфида Дубинина. Ей везет: как куда меня выберут, так туда и ее. Это ничего: с ней работать можно, она не то, что другие девчата. Учком считается высшим органом самоуправления. Учкому подчинены и санком, и культком и все другие комы. То-есть, это только так называется, что подчинены. а на самом деле — делают, что хотят.

Елникитка встретила меня в коридоре и спрашивает:

— Когда же вы, гражданин Рябцев, соберетесь сдать зачет?

А я отвечаю:

— А вот выучу, гражданка Каурова, тогда и сдам.

Тогда она говорит:

— Теперь все разобрали новые задания, на ноябрь, а вы в хвосте.

Я ответил:

— Успеется, — и дралка. Терпеть ее не могу.

13 ноября.

Не успели меня выбрать в учком, как сразу обнаружилось важное дело. С самого начала занятий в школе идут кражи. Еще месяц тому назад у одного из старших пропала готовальня, потом завтраки и деньги много раз пропадали. А теперь у Ваньки Петухова пропало вдруг, сразу, шесть лимардов. Он их оставил в пальто в раздевальне и ушел, а потом приходит — денег нету. Но дело в том, что Сережка Блинов проходил мимо раздевальни, и видел, что в ней что-то делал Алешка Чикин. Конечно, сразу захотели спросить Алешку Чикина, а его и след простыл. Пришлось мне и Сильфиде Дубининой, как учкомам 3-й группы, итти к Чикину на квартиру. Вот, мы пошли, приходим на квартиру, а его там нету, встречает нас Чикина отец, сапожник, пьяный: «Вам чего?» — Мы рассказали. А отец говорит:

— Это он, сукин сын, я его знаю, он вор, я шкуру с него спущу.

Тогда мы пожалели, что сказали: а может, это не Алешка, а отец его излупит. Остались мы с Сильвой во дворе дежурить, ждать Алешку. Ждали-ждали, а потом вдруг в полной темноте Алешка приходит. Я подошел к нему и спрашиваю:

— Ты почему раньше времени из школы ушел?

— А тебе какое дело?

— А такое дело, что деньги пропали.

Тогда Алешка отпихнул меня плечом, хотел итти и говорит:

— Я иду на квартиру, пусти.

А я отвечаю:

— Ты лучше не ходи до выяснения дела, а то отец тебя измордует.

Тогда Алешка заорал:

— Аааа, так вы ему сказали! Не брал я ваших шести лимардов!

И тут он стал налезать на меня и бить меня прямо по морде. Вдруг его сзади схватывает Сильфида Д., и мы Алешку прижали к стене и спрашиваем:

— А ты откуда знаешь, что шесть лимардов? Мы тебе не говорили.

И он в ответ стал реветь и ругаться по-матерно, и плеваться на нас, и тут мы оба с Сильвой заметили, что от него несет самогоном. Тут он вырвался от нас и убежал. Так как была темнота, мы не могли его догнать и пошли в школу. Там нас ждали все учкомы, и мы все рассказали. Конечно, подозрение еще больше увеличилось, но прямых доказательств не было. Дежурным шкрабом была Елникитка, и она прямо нас спрашивает:

— А чего ж вы его не обыскали?

Мы об'яснили, почему не могли обыскать, а, по правде, нам и в голову не пришло. Дело решили отложить до завтра.

14 ноября.

Алешка Чикин пришел, как ни в чем не бывало, в школу. Его сейчас же в учком:

— Что в раздевальной делал?

— Лазил за хлебом к себе в куртку, — отвечает.

— А почему раньше времени из школы удрал?

— Нужно было домой.

— Так тебя дома не застали Рябцев и Дубинина.

— А я уходил.

— А почему от тебя самогонкой пахло?

— Они врут.

— А откуда ты узнал, что ровно шесть лимардов пропало?

— А я и сейчас не знаю.

Тут он, конечно, нахально соврал, потому что мы ему не говорили, а он первый начал кричать про шесть лимардов. Ну, тут всем стало ясно, что украл он, и с ним не стали больше разговаривать. Теперь встал вопрос такой: как со всем этим делом управиться? Шкрабы пока молчат, — и ладно. Лишь бы они не ввязывались. Но, с другой стороны, так оставить дело нельзя. Мы, все учкомы, очень долго разговаривали, а потом разошлись, ничего не решили. Если мы ничего не решим и завтра, дело придется вынести на общее собрание. Сережка Блинов мне сказал, что дело, наверно, кончится ничем, и что Ванька Петухов сам виноват, что оставил деньги в пальте. Это-то так, а нельзя же, чтобы в школе были кражи, и зачем тогда и учком, если все дела кончать ничем.

15 ноября.

В дело Алешки Чикина ввязалась Зинаидища. Она его наедине отчитывала часа два, потом он выскочил от нее весь заплаканный и — дралка. Так и убежал из школы. Мы, учкомы, тогда пошли к Зинаидище и спросили, на каком основании она помимо самоуправления ввязывается в вопросы, касающиеся самих учеников. А Зинаидища говорит, что она, во-первых, обязана отвечать за порядок в школе, а потом она вовсе не ввязывается, а пыталась оказать на Алешку моральное воздействие. Хорошо. На общем собрании поговорим.

Елникитка собрала нас в своей лаборатории об'яснять с микроскопом размножение папоротников, и тут я ее спросил:

— Как, по-вашему, как произошел человек и, вообще, весь мир?

Она вся покраснела и отвечает:

— Конечно, биологическим путем.

— То-есть, каким биологическим?

Елникитка стала об'яснять про клетку, но мне не это было нужно, и я спросил:

— А бог есть — или нет?

Она опять покраснела и отвечает:

— Для кого есть, а для кого нет, это личное дело каждого.

Тут Черная Зоя заорала, как сумасшедшая:

— Я знаю, для чего он это спрашивает, это он для того, чтобы доказать, что бога нету. А я вот верю в бога, и это мое дело, и никто не смеет мне запретить.

Я было хотел ей ответить, что ей никто и не запрещает, и что вопрос нужно выяснить с точки зрения принципа, но она и слушать ничего не хотела, и я даже думал, что она шлепнется в обморок. Но тут Елникитка опять завела про папортники, Зоя успокоилась, и я решил пока подождать. А когда кончилась естественная, Сильва ко мне подходит и говорит:

— Ты знаешь, они и в церковь ходят.

— Кто они? — спрашиваю я.

— Зоя и Лина.

— А ты — не ходишь?

— Нет, не хожу. Я в бога не верю, хотя мне за это от матери сильно попадает, — отвечает Сильва. — У меня мать старых убеждений, а отец — новых. Я и мать люблю, и отца, а у них постоянно руготня и даже драка. Отец иконы убрал, а мать их опять вынесла. Я сначала была на стороне матери, а потом отец меня убедил.

— А он кто, твой отец-то?

— Наборщик. Заметь, что он сам раньше желтый был, даже бастовал и боролся с Советской властью, а теперь стал красный. Вот мать его и кроет за это. Бабы все на дворе тоже против отца. Соберутся белье вешать, так такая перепалка идет — страсть...

— А ты раньше тоже в церковь ходила?

— Да, когда Дуней была, то ходила. А потом мы с отцом решили, что он будет звать меня Сильфидой, и с тех пор я перестала ходить. Мать и слышать не хочет про Сильфиду, это, говорит, ведьминское имя.

Тогда я подумал и сказал Сильве, чтобы она звала меня Владленом. Она согласилась.

16 ноября.

Сегодня Черная Зоя сдавала за октябрь Алмакфишу, и вдруг как шлепнется в обморок. Ну, теперь этим никого не удивишь: сейчас же опрыскали водой, дали понюхать нашатырю, и она встала. Но на собрании учкома был поднят вопрос об отучении ее от обмороков, и я взялся отучить. Только мне предложили, чтобы без всякого вреда для здоровья. Я это и сам понимаю.

17 ноября.

Было деловое собрание учкома насчет Алешки Чикина. Дело в том, что он в школу не ходит, и домой тоже. Пропал неизвестно куда. Постановили передать школьному совету, что учком ничего не имеет против разыскания Чикина через милицию, но только чтобы не сообщать, что он украл деньги.

24 ноября.

Как только ребята закричали, что с Зоей опять обморок, я сейчас же бросился во двор, кое-что припас и бегу обратно, спрашиваю: «Где?» Мне говорят, что в аудитории. Я сейчас же в аудиторию, смотрю, лежит она, как всегда, бледная и зубы стиснула. Я говорю: «Приподнимите ее чуть-чуть». Ребята приподняли, а я ей сунул за ворот комок снега. Она как вскочит, да как заорет не своим голосом. Ребята захохотали, а уж бежит Елникитка с нашатырем: «Что такое?» — «Да вот, Зоя упала в обморок, а Костя Рябцев ее вылечил...» — «Ка-ак вылечил?» — «Снегом». Тут Елникитка на меня, что это бесчеловечно, и что это не по-товарищески, и что она меня вынесет на общее собрание. Но пришла Зинаидища, посмотрела на Зою и на меня и говорит:

— Елена Никитишна, успокойтесь. Зоя больше в обморок падать не будет.

Зоя засверкала глазищами, запаровозила и дралка, а Зинаидища мне говорит:

— Только, пожалуйста, в следующий раз с моего ведома.

И ушла. А зачем это с ее ведома? Раз я — учком, значит, я обязан.

Скоро сдавать зачеты за ноябрь, а у меня еще и за октябрь не все сданы. Учкомство сильно мешает. Да и редкомиссия тянет писать в «Красный ученик», а времени ни на что нету.

26 ноября.

Открылась запись в комсомол, и мы с Сильвой подали заявления в ячейку. Говорят, что скоро нашу ячейку присоединят к какой-нибудь производственной. Это очень важно, а то на наших собраниях — скучища зеленая.

27 ноября.

Мы с Ванькой Петуховым ходили к беспризорным, и вот что из этого вышло. Я очень люблю таинственность, а это надо было делать очень тайно, потому что, если узнают шкрабы, то из этого может выйти целый прецендент. Было это так. Ванька зашел за мной часов в девять, будто в кино, и мы пошли. Был сильный мороз — градусов двадцать. Пришли мы в этот самый разваленный подвал, нас сначала не пускали, а потом пустили. Подвал громадный, и в нем такой же мороз, как на улице, поэтому в разных углах горят костерики, только они загорожены разным барахлом, чтобы с улицы не было заметно. Когда мы с Ванькой крались по разваленным камням, было очень жутко, так же, как в кино, когда сыщики крадутся. Они нас сначала не тронули, потому что Ваньку знают и считают его за своего. Одеты они все в страшные лохмотья, и запах от ребят идет аховый, все равно как из уборной, даром, что мороз... Их там довольно порядочно, и греются у разных костериков: у одного — места всем не хватит. Как Ванька вошел, все на него накинулись: — «Даешь сказку»? Ванька подсел к костерику и прочел им сказку про серебряное блюдечко и наливное яблочко. Страшная буза. Я и не

подозревал никогда, что такая буза может быть в книжке напечатана. Потом беспризорные ребята просили еще, но Ванька не захотел. Тогда они вытащили самогонку и стали угощать. Ванька выпил немножко, а я отказался. Потом они стали играть в карты, а мы собрались уже уходить, как вдруг кто-то тащит меня к костерику. Я упирался, но тот подтащил к самому огню и орет:—«Ребята, это лягавый». Я поглядел: смотрю—Алешка Чикин, только весь замазанный и в лохмотьях, сразу и не узнаешь. Говорит:

— Ты что, сволочь, прихрял? Сучить сюда явился?

— Пошел к чорту, — я ответил и ну вырываться. Ванька, конечно, за меня вступился, мы вырвались, они за нами, мы отбиваться, тут меня кто-то стукнул прямо под глаз чем-то твердым. Я заорал, потому что было очень больно, но мы с Ванькой выскочили на улицу и дралка. Они было погнались за нами, но тут скоро была освещенная улица и мильтон. Они отстали. Глаз у меня очень сильно болел и распух. Тут мы с Ванькой стали совещаться, как быть, и стоит ли рассказывать кому-нибудь про Алешку Чикина. Решили молчать и никому не рассказывать, потому что его могут здорово притянуть, да и домой ему лучше не показываться: после всего этого отец может убить. Ванька мне тут рассказал, что в этом подвале живут «сшибчики». Они так делают: один прячется в воротах, другой гуляет по улице, как милый. Как идет какая-нибудь барыня с ридикулем, — сейчас же, который гуляет по улице, бросается со всего размаха ей в ноги, а другой из ворот вылетает, выхватывает ридикуль, и оба дралка. Есть и просто воруют из карманов. А то лазают по квартирам. Некоторые и по-русски говорить не умеют, только по-татарски, а воруют не хуже.

Когда я пришел домой, синяк под глазом разросся во всю щеку, папанька сейчас же заметил и спрашивает, что такое. Я ему соврал, что поскользнулся и упал, он мне приложил старый медный пятак. Тут немножко опухоль спала, а завтра в школу придется итти все-таки с синяком.

30 ноября.

Завтра сдавать за ноябрь, а я, конечно, ничего не сдам, а когда сдам — неизвестно... У некоторых тоже такое положение. Хорошо, что подходит срок моему учкомству, а то бы никак не выпутаться. Одна надежда на зимний перерыв. Сильва тоже не надеется сдать ничего — из-за учкомства.

Весь вечер после школы мы с Сильвой проходили по улицам, и она мне очень много рассказывала про свою жизнь. Оказывается, ее отец подал на мать в суд развод, и она теперь не знает, к кому итти жить. И все время дома драка и скандал. Она и старается как можно меньше показываться домой. Потом она стала спрашивать меня про цель жизни. Я ей сказал, что цель в жизни — это прожить с пользой для себя и для других, и потом — бороться за всеобщий коммунизм. Тогда она призналась мне, что ей так тяжело было, что она даже хотела самоубиться. Я ей ответил, что это очень глупо, и что есть люди — живут хуже нас, например: беспризорные. И потом самоубиваться—это интеллигентщина. В старой школе самоубивались из-за шкрабов, а мы в таком положении, что еще можем бороться со шкрабами,

и, кроме того, есть комсомол, в который нас, наверное, примут, потому что мы оба социального происхождения пролетарского. Тогда Сильва успокоилась, и я проводил ее домой.

Третья тетрадь.

3 декабря.

Меня и Сильву утвердили кандидатами комсомола. Это — вася, только плохо то, что надо обязательно посещать заседания ячейки. А и так некогда. Ладно. Как-нибудь справлюсь.

4 декабря.

Сегодня во время занятий в школу явилась милиция. Вызвали Зинаидищу и спрашивают ее: «Ваш ученик Алексей Чикин?» — Она говорит, что наш. «Ну так вот, примите его под расписку, а то он адреса своего не говорит, у нас его держать негде?». — «А как он попал в милицию?» — спрашивает Зинаидища.—«Во время облавы на беспризорных задержан».—Тогда Зинаидища вдруг и говорит: «Нет, я отказываюсь его принимать. Ведите его в коллектор для беспризорных». Это слышали некоторые ребята, и сейчас же это стало известно всей школе. Зазвонил колокол на общее собрание. Вот, отовсюду бегут ребята, книжки побросали; кто отвечал в лабораториях, прямо на середине ответа винта... Шкрабы глаза вытаращили. А это потому, что обыкновенно про общее собрание заранее известно, а тут вдруг, ни с того, ни с сего— в часы занятий. Вот, собрались ребята в зале, шум страшный, крики. Идет Зинаидища, вся бледная, да и другие шкрабы тоже, видно, не в своей тарелке.

— Кто давал звонок на общее собрание? — спрашивает Зинаидища.

— Я, — отвечает Сережка Блинов.

— На каком основании во время уроков?

— А на таком основании, что сейчас вся школа узнала страшную несправедливость, и мы все хотим протестовать.

Сережка это говорит, а сам бледный и заикается.

— Какая же несправедливость? — спрашивает Зинаидища.

— А вот, что Чикина не приняла школа. Чикин — наш товарищ, и обязаны были спроситься у нас.

Тут все как заорут:

— Правильно, Блинов! Долой шкрабов!!

Зинаидища подняла руку, долго так стояла, потому что шум, потом говорит: «Это дело надо разобрать в подробностях. Вот, вы говорите: несправедливость, а я не могла его принять, во-первых, потому, что здесь не детский дом, и жить ему негде, а потом, он жил с беспризорными и, значит, может быть заражен всеми болезнями и всех других перезаразить. Потом, в конце концов, раз у него есть отец, то его нужно отправить к отцу, а вовсе не в школу».

Тут я встал и говорю:

— К отцу его отправлять нельзя, потому что отец его теперь убьет. У него отец — пьяница, и видно, что ему не сладко живется дома, если он в развалленный подвал убежал.

— В какой-такой разваленный подвал? — спрашивает Зинаидища.

— В самый простой, — отвечаю я.

— А вам, Рябцев, откуда это известно?

— А оттуда и известно, что я там сам был, и его видел.

Тут все ребята заорали:

— Браво, Рябцев! Молодец!

А я отвечаю:

— Прошу не орать без толку. Раз я учком, значит, я обязан.

— Ну так вот, — говорит Сережка Блинов. — Школа протестует против того, что заведующая, не спросившись у школы, отправила Чикина в коллектор. И, кроме того, просим сейчас же послать в милицию и доставить его в школу.

— Да что же мы с ним делать-то будем? — спрашивает Зинаидища.

— Там видно будет. Пойдем к нему на квартиру и потребуем у отца, чтобы он его не бил.

— А он вас так и послушает, — ехидно ввертывает Елникитка.

— Скорей нас послушает, чем вас, — это Сережка отвечает. — И, во всяком случае, мы просим школьных работников ответить, как они думают: имеет в школе какое-нибудь значение самоуправление или нет?

— Да! Да! Просим ответить! — закричали все ребята.

— Я удивляюсь, — говорит Зинаидища, — на ту неорганизованность, которая в данный момент проявляется. Сорвали занятия, устроили общее собрание. Ну, с этим-то еще можно примириться, раз вышел такой экстренный случай. Но как ведется это экстренное общее собрание? Ни председателя, ни секретаря. Вопросы скомканы в кучу. Ставится вопрос о Чикине, его не решают, сейчас же перескакивают к другому, принципиальному вопросу. Я дальше на таком собрании отказываюсь присутствовать и ухожу, потому что, по моему мнению, такое собрание — позор для школы.

И пошла. За ней сейчас же Елникитка, за ней бочком Алмакфиш и другие шкрабы. Остался только один Никпетож. Сидит и молчит, как воды в рот набрал. Ребята помолчали, потом опять зашумели. А Сережка стукнул кулаком по столу и говорит:

— Я лично считаю, что председатели всякие — это тоже предрассудок. Можно вполне обойтись без председателя. Вот что, ребята. Я предлагаю здесь остаться только тем, кто не признает такой формы самоуправления, как у нас. И мы решим, что делать. А остальным — уйти. Конечно, и всем школьным работникам — тоже.

Никпетож сейчас же поднялся и ушел. Ушли кое-кто и из маленьких ребят. Из девчат сейчас же и демонстративно ушли Черная Зоя и Лина Г. Остальные остались и постановили союз. Союз решил самоуправления не признавать и выработать свой устав, которому и подчиняться. Обязательное здорованье и вставанье отменить. В лаборатории, и в аудиторию, и в залу можно ходить, кто хочет, в шапке, а кто хочет — без шапки. В остальном действовать по уставу, который выработать поручили Сережке Блинову и еще ребятам.

Мне сразу стало жить очень весело. Кстати, и мое учкомство кончилось.

5 декабря.

В школе теперь две партии: «школа» и «союз». Оказалось, что за шкрабов довольно много народу. Сегодня у «школьников» было общее собрание для выборов нового учкома, и на этом собрании было половина школы. У нас, «союзников», тоже было собрание, приняли «устав союза». По этому уставу никто никому не подчиняется, только устанавливается самодисциплина. Всякие пустяки, вроде обязательного здорованья, отменяются, но каждый из «союзников» обязан следить за собой в смысле поведения. Так, например, драться и шуметь во время занятий нельзя. Для сношения со шкрабами и со «школьниками» выбран «комиссар иностранных дел». — Сережка Блинов.

Первым долгом, Сережке было поручено, чтобы он добился от шкрабов, чтобы Алешку Чикина доставили из коллектора в школу. Потом был митинг, и все произносили речи.

Потом Сережка отвел меня в сторону и сказал, что так как Никпетож меня любит, то чтобы я к нему пошел и спросил, как он думает насчет «союза», а также и другие шкрабы. Я, конечно, согласился, только мне непонятно, при чем тут мнение шкрабов: они — сами по себе, и мы — сами по себе. Все-таки я пошел. Никпетож мне сказал следующее:

— Я считаю ваш опыт интересным. По-моему, вы скоро сами убедитесь, что без дисциплины жить нельзя.

Я ответил, что у нас вводится самодисциплина.

— Самодисциплина — палка о двух концах, — сказал Никпетож. — С одной стороны, она как-будто хороша, так как устраняет насилие, а с другой стороны, она гораздо тяжелей, чем внешняя дисциплина; ведь подумать только: все время приходится следить за собой, чтобы как-нибудь не проштрафиться. Это очень быстро надоедает.

Тогда я спросил, как смотрит на это дело Зинаидища.

— Вы ее не дооцениваете, — ответил Никпетож. — Вы считаете, что она поддерживает в школе насилие и, следовательно, является общим врагом всех учеников. На самом деле это не так. Она всех ребят очень любит, а если принуждена поддерживать дисциплину, так этоответстве смвыгтжбшрц ответственность. А на ваш «союз» заведующая смотрит так, чтобы вам не мешать: «Пусть, — говорит, — сами убедятся в нелепости своих поступков».

Я все это рассказал Сережке, он меня выслушал, но ничего не сказал. Домой из школы я сначала провожал Сильфиду, потом она меня провожала, и по дороге мы с ней разговорились насчет союза. Она говорит, что не верит, чтобы союз долго продержался, а вошла в союз по-товариществу, и что сейчас ей очень весело жить. Я сказал, что мне тоже. Мы даже руки потрясли друг другу на прощанье, чего никогда не делали.

6 декабря.

Все, как-будто пришло в порядок. Шкрабы делают вид, будто не замечают союза, а мы — словно не замечаем шкрабов. Так как в союзе постановлено никаких издевательств над «школьниками» не производить, то мы их и не трогаем, тем более, что там больше маленькие, а кто из старших, — те принципиально думают иначе, чем мы.

Я изо всей силы гоню с зачетами, чтобы погулять во время зимнего перерыва. Никпетожу сдал за ноябрь. Самое трудное для меня — математика и естественная.

7 декабря.

Ванька Петухов в школу не пришел, и я пошел к нему на квартиру. Оказывается, он весь лежит избитый. А избили его беспризорные, потому что подумали, будто он на них донес, и потом была облава. Они у него и лоток с папиросами отняли. Он теперь думает поступать на фабрику, тем более, что подростков стали принимать больше, чем раньше. Я спросил его: — «А как же с ученьем?», а он говорит, что подростки работают только шесть часов, и им всякие льготы для ученья. У него дома все плачут, потому что он почти что один содержит всех. Мне стало очень тяжело, и я ушел.

12 декабря.

Сегодня пришлось мне расставаться с милым моим товарищем — Ванькой Петуховым. Он пришел в последний раз: поступает на фабрику. Я, было, стал ему рассказывать, как у нас в школе дела, но видно, что его уже это не интересует. Синяки у него зажили. Получать он будет двадцать три рубля шестьдесят копеек. «На папиросах,—говорит,—больше не наработаешь». Мне страшно жалко, что он уходит от нас. Во-первых, он товарищ хороший, прямо таких поискать, а потом, он умный парень и очень добрый. Я так думаю, что дружить с парнем, это совсем не то, что дружить с девчиной. хотя бы с такой умной, как Сильва. Я, правда, с ней говорю обо многом, но все же не обо всем: ведь, она многого и не поймет. Да потом, разве с ней пойдешь к беспризорным? Она-то, может, и пошла бы, но, ведь, ее измордуют, а защищаться самостоятельно она не может. Потом, вот, например, девчата в футбол не могут играть, как следует, как ни стараются. Потом у них глаза часто на мокром месте... В общем и целом, как ни верти, а много есть препятствий к настоящей дружбе. Другое дело — дружба с парнем. Жалко мне Ваньку... Конечно, мы будем с ним видеться, а все-таки, это уже не то.

13 декабря.

Сегодня из-за союза произошел новый прецендент. Сильфида Д. пошла сдавать за ноябрь Алмакфишу, а он ее засыпал, хотя она говорит, что ответила на все вопросы и доказала все теоремы. Тогда она ему сказала:

— Это вы потому меня засыпаете, что я в союзе.

Алмакфиш разозлился страшно, назвал ее «дрянной девчонкой» и выставил из лаборатории. Вся группа страшно возмутилась, и мы отправили

делегацию к Зинаидище, чтобы Алмакфиш извинился перед Сильфидой. Я входил в делегацию, и когда мы пришли в учительскую, там был и Алмакфиш. Он услышал наше требование и говорит:

— Хорошо, я извиняюсь, я погорячился, но пусть Дубинина раньше извинится передо мной, что она подозревает во мне какие-то посторонние мотивы.

Я тогда сказал:

— Я не знаю, были ли посторонние мотивы, но вся школа знает, что вы Дубинину терпеть не можете и преследуете.

Тогда Алмакфиш взбеленился, начал кричать, что я дерзкий и грубый парень, и если меня не уймут, то он уйдет из школы, потому что нет никакой возможности заниматься. И он швырнул книжку на стол и ушел из школы. Зинаидища меня оставила в учительской, и начала со мной говорить. Она мне доказывала, что если так пойдет дальше, то не будет никакой возможности учиться, и что мы все увлеклись союзом и забываем главную и единственную цель — учиться. А я ей ответил, что я с этим согласен, но что не только мы забываем, а и шкрабы забывают, что мы — такие же люди, только молодые, и, может, не такие опытные, как они. Например, нельзя нас называть «детьми», «грубыми и дерзкими парнями», «дрянными девчонками» и тому подобное, и это всегда будет вызывать прецеденты. Тут мне Зинаидища сказала, что нельзя говорить «прецендент», и что нужно говорить «инциндент». В общем, мы решили, что завтра я извинюсь перед Алмакфишем, и повлияю на Сильфиду в этом же смысле.

А на собрании ячейки было постановлено предложить шкрабам и «союзу» создать согласительную комиссию для ликвидации конфликта. Сережка Блинов протестовал, но представитель центра его спросил, неужели он хочет постоянного разделения школы на две партии, после чего Сережке пришлось замолчать.

14 декабря.

Согласительная комиссия с участием представителей ячейки постановила отменить обязательное здорованье и вставанье. Права учкома расширены: так, например, дела, касающиеся только учеников, будут теперь разбираться только учкомом: в шкрабиловку и в школьный совет пойдут только дела, касающиеся и шкрабов и учеников.

«Союз» кончился.

18 декабря.

Сегодня была общая радость, потому что в школу из коллектора привели Алешку Чикина. Мы долго кричали «ура» и его качали. Потом было собрание учкома, которое постановило отправить его к отцу, а с ним вместе для переговоров меня и Сережку Блинова. Алешка очень худой и бледный, и все молчит. Должно быть, ему жилось не сладко что в беспризорных, что в коллекторе. После занятия мы его повели к отцу. Приходим — отец трезвый, сидит и ковыряет шилом сапог, а мать шьет. Мать, как увидела Алешку, сейчас же завыла. А Сережка говорит отцу:

— Вот, гражданин Чикин, мы привели к вам вашего сына. Школа берет за него ручательство на себя, что он будет учиться и вообще вести себя хорошо. Только школа требует, чтобы вы его не били.

Чикина отец положил шило и говорит:

— Никакого полного права вы не имеете мешаться в мою жизнь. Захочу — убью, захочу — живым оставлю. А только он в вашей школе воровать начал, значит, вы его и обучили.

— У нас в школе воровать не обучают, — отвечает Сережка, — а если он проштрафился, то этого больше не будет. Только вы имейте в виду, гражданин Чикин, что, если вы его хоть пальцем тронете, вы будете иметь дело со всей школой, и, кроме того, попадете под суд.

Мы, когда вышли, нарочно постояли с Сережкой под окном: видели, как мать Алешку кормила, а отец с ним разговаривал, как-будто, ничего. Мы успокоились и ушли.

19 декабря.

Шел в школу и на улице встретил Лину Г. Вот она подходит ко мне и говорит:

— В последний раз тебя спрашиваю, будешь ты со мной разговаривать — или нет?

— В последний раз тебе отвечаю, что так же, как со всеми девчатами.

Она сейчас же откатилась. Вот дуреха-то. Никогда в жизни она меня не спрашивала, а теперь вдруг прилезла «в последний раз». Она сама от меня отсела, и теперь вдруг разговаривай с ней. Это, должно быть, на нее Черная Зоя влияет. Нет, некоторые девчата есть — просто сумасшедшие. А в школу пришел — там все сидят по лабораториям и зубрят. Я стал ходить по ребятам и расспрашивать, как дела. Оказывается, у громадного большинства зачеты за декабрь не готовы, как и у меня. А у половины, по крайней мере, и за ноябрь еще не сданы. Тогда я набрал ребят, мы пошли в уборную, курили и обсуждали один проект.

21 декабря.

Я сегодня просижу хоть до пяти часов утра, но постараюсь все записать, как было.

Дело в том, что мы еще третьего дня решил покончить с Дальтоном, и вчера почти весь день приготовлялись. Сегодня, когда ребята стали собираться в школу, на всех стенах были развешаны надписи и просто записки:

— Долой Дальтона!

— Ко всем чертям буржуя Дальтона!!

Ребята, конечно, были все очень рады. Мы сейчас же к пианино разучивать новую песню. Ее сочинил я.

Пусть кровь наша стынет
И слышится стон:
«Да сгинет, да сгинет,
Да сгинет Дальтон!»

А когда стали подходить шкрабы, их встречали этой песней. Шкрабы словно ничего не замечали, разошлись по лабораториям, но никто сдавать за декабрь не пошел, хотя у некоторых было приготовлено. Вместо сдавания, все ребята выскочили на двор. Там уже мы приготовили чучело из соломы, в драной шляпе, и на шее у чучелы висела надпись: «Это лорд Дальтон». Чучелу поставили посредине двора, так, чтобы из окон было видно, и принялись плясать вокруг него и петь «Карманьолу». Потом чучелу подожгли. Прибежал дворник, но, когда увидел, что опасности нет, он тоже с нами смеялся. Чучело полыхало ярким огнем, с треском и блеском. А мы пели. Потом мы запели еще песню:

Ты буржуй, проклятый лорд!
Уходи ж, паршивый чорт!!

И с пением ввалились в школу. Там нас все шкрабы ждали в зале, и Зинаидища спросила нас, хотим ли мы общее собрание, или мы так уж настроены, что лучше разойтись по домам. Хотя некоторые маленькие и кричали, чтобы по домам, но мы захотели общее собрание. Тогда дали звонок на общее собрание.

Перед собранием я пошел в уборную, и вдруг, вижу, в коридоре валяется записка. Я ее поднял и прочел:

«Так и знайте все, что мы, две девочки, больше жить не хотим. Какие этому причины, а вот: во-первых, нас все обижают и придираются. Потом одна из нас хочет скорей переселиться в загробную жизнь, а другая из-за несчастной любви. Мы всем прощаем. Просим нас похоронить по церковному обряду. И мой сегодняшний завтрак пусть возьмет Костя Рябцев. Я ему тоже прощаю. Кто эту записку прочтет, тот пусть никому не показывает. И пусть похоронят нас вместе, в одном гробу. А если самоубийц нельзя хоронить по церковному обряду, то пусть похоронят так, только чтобы панихиду отслужили. Прощайте.

П. С. А если хотите найти наши мертвые тела, то ступайте в физическую лабораторию.

Лина Г.
Зоя Т.»

Я взволновался и бросился обратно в залу, как вдруг вижу, что на стене приколота еще записка. Я ее сорвал и прочитал:

«Прощайте, все, все, все, родители и ребята, вся школа. Прощайте. Наши тела — в физической лаборатории. Лина и Зоя».

Я вбежал в залу, там уже началось общее собрание, я закричал:

— Скорей! В физическую лабораторию! Там девчата собрались самоубиваться. Может, еще успеем.

Все сорвались с места и понеслись в физическую лабораторию: — и шкрабы, и ребята. Я ворвался один из первых, но... там никого не было. Сейчас же все бросились рыться по шкафам и полкам, точно они там могли спрятаться. Как вдруг из аудитории раздался чей-то голос:

— Они здесь. Обе.

Конечно, все — в аудиторию, и там, верно, были они обе, и обе живые. Они сидели за партами и ревели в три ручья. Ну, их сейчас же оттуда вытащили, а у меня горло отошло. Я только тогда заметил, что все время, как их искали, меня словно кто-то душил.

Лину и Зою повели в учительскую давать валерьянки, а меня обступили шкрабы и ребята, и давай расспрашивать, как я узнал. Я, конечно, показал обе записки и рассказал, как их нашел. Тогда Зинаидища и говорит:

— Это безобразие, записки были нарочно подкинуты. Они ничего и не собирались кончать с собой, а все для того, чтобы обратили на них внимание. Придется им со школой расстаться.

Когда она это сказала, у меня на сердце стало очень легко, и я сразу заметил, что никто из ребят не стал опровергать Зинаидищу. Потом пришел из учительской Никпетож и говорит, что он их спрашивал, каким образом они хотели покончить с собой, и они сознались, что хотели угореть. Для этого они закрыли вьюшки в печке раньше времени, а в физической лаборатории открыли отдушник и стали там сидеть. Я и верно заметил, что в физической чуть-чуть попахивало дымком.

— А почему же они ушли из физической? — спрашивает Зинаидища.

— Испугались, — ответил Никпетож с улыбкой, и все захохотали.

Тогда Зинаидища нас спрашивает:

— Какой же самоубийца станет раскидывать записки, да еще с адресом, по коридору, а главное, пришпиливать к стене?

Все ребята согласились, что это правда.

— Значит, тут несомненное притворство, да и прекрасно они знали, что раньше, чем они угорят, кто-нибудь войдет в физическую лабораторию,— говорит Зинаидища. — Придется вызвать родителей.

А тут стоял Алмакфиш и говорит:

— С философской точки зрения, количественно — это изобилие эпохи, а качественно — находится по ту сторону добра и зла.

Я это от него уж сколько раз слышал: твердит, как граммофон.

Тут Никпетож поднял руку и говорит:

— Прошу меня выслушать, ребята. Мы строим новую, свободную школу. Вы и читали, и слышали, что раньше школа была совсем не такой, как сейчас. Конечно, на пути постройки новой школы могут быть всякие трудности, как и во всяком новом деле. Вот, вы выступили сегодня против Дальтон-плана. Вам не нравится этот способ работы. Неужели вы хотите, чтобы вас гнали из-под палки, как в старой школе? Чтобы тянули ваши мозги к свету против вашего желания. Спору нет, по Дальтону заниматься трудно, может, и ошибок много в нашем построении Дальтон-плана, но ведь эти ошибки можно изжить. Кто не ошибается, тот не работает. Новая школа растет не спокойно, как хотелось бы, а бурно, и с препятствиями. Вот вы выступали и против самоуправления, и против Дальтона: — все это препятствия. И мы их совместно с вами мало-по-малу преодолеваем. Девочки эти хотели поставить нам новое препятствие, но это — по глупости, несозна-

тельно, и очень хорошо, что вы хотите их простить. Но я другого и не ожидал от вас, от новых, свободных людей, людей, которые растут из революции, из бурной, но молодой эпохи. Наша заведующая, Зинаида Павловна, как будто, не согласна простить этих девочек. Я присоединяюсь к вашей просьбе: я думаю, что и родителей не нужно вызывать, и особенно — из школы исключать не следует. Я думаю, что мы с вами, ребята, так сумеем на них повлиять, что они бросят всякие мысли о самоубийстве и придут вместе с нами к сознанию, что в новой, свободной школе нет и не может быть места мраку, отчаянию и самоубийствам. Так вот, Зинаида Павловна, мы с ребятами просим вас Зою и Лину простить.

Зинаидища что-то хотела сказать, но тут мы все завопили:

— Простить! Повлияем! Простить! Прости-и-ить!

Так что Зинаидища даже уши зажала.

Дождалась, когда кончили орать, подняла руку и говорит:

— Эти девицы, конечно, должны быть исключены. Я думаю, так посмотрит и отдел народного образования. Но я, со своей стороны, согласилась бы не придавать этому делу большого значения и даже взять на себя поручительство за них, если школа согласится выполнить одно маленькое условие.

Мы насторожились:

— Какое условие?

— А условие такое, — говорит Зинаидища: — отнестись сознательно к Дальтон-плану, и не срывать его бессмысленными выходками. Согласитесь сами, что сегодняшняя выходка была бессмысленна. Вы, во всяком случае, можете доказать трудность Дальтон-плана, а не его бесполезность. Да и то, уж если что-нибудь доказывать, то — разумным порядком, а не сжиганием чучел. Итак, вот мое условие.

Мы все молчим, а Никпетож говорит:

— Что ж, ребята, это условие можно принять. Во всяком случае, перед нами есть возможность разумного обсуждения Дальтон-плана. Если до сих пор такое обсуждение не было устроено, — в этом виноват недостаток времени и другие трудности. Так что же, ребята, — принимаем?

Смотрю: — кругом все подняли руки. Поднял, скрипя сердцем, и я.

— В таком случае, — говорит Зинаидища, — я Зою и Лину прощаю, и переговоры с отделом народного образования беру на себя.

— Урррра! — заорали мы так, что даже в ушах зазвенело. — Качать Никпетожа! Кач-чать!

И Никпетож полетел высоко в воздух.

Женское движение в Турции.

(Письмо из Ангоры).

К. Юст.

Когда, на пятом году Гиджры, Мохаммед женился на Зейнаб и вечером отправлялся в спальную комнату, слуга Энисс, молодой и красивый парень, хотел, как это бывало раньше, войти в комнату и помочь Мохаммеду раздеться. Однако Мохаммед, заметив взгляды, которыми обменялась Зейнаб с Эниссом, прогнал Энисса, опустил перед ним занавес и изрек нижеследующий «айет»: «Отныне воспрещается проникать в комнаты жен пророка; когда вам понадобится что-либо спросить у них говорите, держась за занавесом; эта мера принята для (соблюдения) чистоты сердца как мужчин, так и женщин».

Таково было первое предписание Корана об ограничении свободы мусульманской женщины, и именно с этих пор жены пророка, а за ними и многие миллионы женщин Ислама, стали избегать мужчин и носить «чар» при выходе из дому, по слову одного из следующих стихов Корана: «О, пророк, скажи женам своим и всем мусульманским женам: пусть закрывают они лицо и все тело, когда им приходится выходить из своего дома».

Еще и сейчас многие турецкие деятели, стремясь вообще «согласовать» великие реформы возрожденного тюркизма с душеспасительными наставлениями Корана, пытаются доказать, что Мохаммед, мол, вовсе не хотел сделать из мусульманской женщины лишь покорный и бесправный инструмент наслаждения мужчины, и что указанные стихи Корана продиктованы совсем не животной ревностью начинавшего стариться пророка. В доказательство своих слов они указывают, что арабы в те времена носили примитивную одежду, «рэд», которая не закрыла тела и позволяла видеть, особенно при движении, многие сокровенные его части. С другой стороны, благодаря острому климату и отсутствию каких-либо иных наслаждений, доисламская Аравия смотрела, мол, на женщину только как на об'ект похоти. Дети женского пола живыми зарывались в землю, а девушки и женщины продавались голыми на базарах. В этих условиях введение «чар» и ограничение свободы женщины должно было являться лишь предохранительной и, в конечном счете, прогрессивной мерой. Тем более потому, мол, что пророк не запретил женщинам, напр., учиться, торговать, наследовать после мужа, предписал

арабам относиться к ней с уважением, регламентировал положение женщины в семье и т. д. и т. п.

Если бы даже сторонникам этой точки зрения удалось связать концы с концами, и если бы они доказали, что Мохаммед сильно поднял значение женщины, по сравнению с доисламистской Аравией и что на первых порах Ислам играл прогрессивную роль в женском вопросе, то, все равно, общее значение Ислама, как тяжелейших цепей, не должно было бы измениться, и как раз в женском вопросе. Речь идет не о том, играл ли Ислам прогрессивную роль в этом отношении в начале своего возникновения. Положение таково, что за четырнадцать веков своего существования исламизм, сделанный непогрешимым и исчерпывающим толкователем всей жизни мусульманина, жесточайшим образом препятствовал развитию и прогрессу исламитян. Если мужчина Ислама был рабом падишаха, халифа, имама и ашара, то женщина, в дополнение к этому, находилась еще и в ярко выраженном половом рабстве, на положении гаремного животного, долженствовавшего учиться лишь науке любви. На-ряду с этим Ислам узаконил и полигамию.

У первобытных турецких племен женщина, пастух и скотовод, обладала почти такими же правами, как мужчина. Принятие турками Ислама и, с другой стороны, влияние Византии быстро ликвидировали этот порядок вещей. Занятие турками Бруссы, Адрианополя и затем Константинополя явилось для турецкой женщины началом такого же рабства, в котором уже находились ее персидские, арабские и другие сестры. Этому великому рабству суждено было продолжаться вплоть до наших дней, и цепи начинают спадать с турчанки одновременно с снятием всякого рода иных цепей, в которых Ислам веками держал анатолийских турок. Правда, отдельные женщины, в качестве знатных «валидэ», играли немалую роль в истории султаната (вернее, дворцовых переворотов). Кое-какую свободу женщины получили при Иттихаде, и европейцы с восторгом отмечали, как прежний густой чаршаф заменялся, в крупных городах, вуалью, все более и более прозрачной, и как гаремные «аншантэ» (Лоти) постепенно проникали, теоретически, в премудрости европейской цивилизации. Но так было только в гаремах султанов, пашей и феодалов.

Сколько-нибудь заметное раскрепощение женщины начинается только сейчас, после того, как кемалистская революция прошла целый ряд этапов. Кемаль не может не знать слов Фурье, что степень цивилизации народа определяется тем, какое положение занимает в нем женщина. Строить режим буржуазно-демократической республики, при условии оставления в рабстве женской половины Турции, было бы чудовищным недомыслием. Тем более потому, что экономические условия существования давно уже ликвидировали возможность таких курьезов, как многоженство, и последнее, несмотря на санкцию закона, сохранялось лишь у богатых султанов, визирей, пашей и отдельных купцов и мулл. Турецкая революция не могла не подумать о женщине, и она думает, чем дальше, тем больше. Уже вскоре после первых успехов в вооруженной борьбе Ангоры с греками турчанка получила долгожданное право учебы в университете и других высших учебных заведениях. В даль-

нейшем ей стали разрешать посещение вместе с мужем или братом всякого рода общественных мест (театр, кино, кафе). В январе 1925 года специальная комиссия ВНСТ разрешила женщинам быть чиновниками (после опыта войны, когда поневоле приходилось звать женщин на замену мужчин). В том же 1925 году женщина получила возможность бывать самостоятельно в обществе, ходит без чаршафа и чадры. Наконец, новые кодексы, принятые недавно меджлисом, официально ликвидировали многоженство, уравняли женщину в семейных правах с мужчиной и даже разрешили ей свободу выбора мужа, вне зависимости от того, к какой религии принадлежит избираемый ею муж.

Совершенно естественно, что эти новшества являются покуда лишь первыми шагами, направленными к раскрепощению турецкой женщины. Еще до сих пор турчанка не только не пользуется пассивным избирательным правом (об активном и говорить нечего), но и не может быть членом правящей народной партии. Ей нет доступа в магистратуру. Ее роль в общественной и политической жизни еще очень мала. Но все те права, которыми она сейчас еще не пользуется, будут даны ей завтра, и это вне всяких сомнений.

Дневник обнаженного сердца.

Д. Горбов.

«Родился в 1888 году на Волге, в Саратове. 7 лет увезли оттуда, 14 — ушел из семьи. В Ирбите, на Урале прохворал два месяца и удрал в Нижний, из Нижнего в Северо-Западный край... В 1906 году был присужден к 4 годам каторжных работ. Отбывал в Зерентуе. В начале 1909 года после каторги бежал за границу с поселения» и т. д.

Таков стиль автобиографии Соболя. Таков стиль его жизни. Эта жизнь рассказана им однажды на полустраничке в одну 32-ю листа, — в каких-нибудь 20 строках, скупых и сдержанно-напряженных [1]). Но вместить в эти короткие строки такой калейдоскоп местностей, охватывающих чуть ли не полушарие, превратить свою писательскую автобиографию в сухой и стремительный итинерарий, мог только А. М. Соболь, писатель-путник, писатель-странник.

«Увезли», «ушел из семьи», «удрал», «бежал», «вернулся», «уехал», «скитания» — вот единственные определения, которые одни оказались существенными при составлении жизненного итога. Саратов, Ирбит, Нижний — эти четкие географические значки могли удовлетворить только ребенка и юношу. Зрелость приносит другие черты — все более широкого, областного, а затем континентального — охвата: «Северо-Западный край» (в этом к р а е... служил суфлером опереточного театра), Зерентуй (каторга), годы эмиграции — «в е с ь З а п а д», далее Сербия и — война вторгается в географическую номенклатуру — Кавказский фронт и фронт Северный (комиссарство 12-й армии). «После Октября» — опять «скитания по России».

Мы готовы плениться этим стремительным динамизмом, этой неукротимой «водовертью», этим настойчивым порывом вперед — всегда, при всех обстоятельствах, владевших писателем. Мы невольно говорим себе: есть люди, которым дано ходить по земле, но отказано в счастьи подняться над ней, чтобы одним взглядом обнять расширенные дали; а вот человек, который мыслит в больших масштабах: даже суфлером опереточного театра он принадлежит целому краю (чем опереточный суфлер Соболь меньше губернатора

---

[1]) См. сборник «Писатели». Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Под ред. Вл. Лидина. Изд. «Современные проблемы». М. 1926 г.

или наместника?); эмигрантом говорит просто и лаконично — «Весь Запад»; и после Октября не сменяет своего первородства на чечевичную похлебку писательства: нет, он — скиталец «по России». Видно, этому человеку дано счастье совпасть внутренним своим ладом с бегом аэроплана, победившего закон тяжести, и радио, стирающего пространство. Верно, легко ему, вольному путнику, свободному от груза наследственной собственности и всех отягощающих связей, плыть в кипучей водоверти и выйти на новый берег одним из первых.

Но... вольное странствование оборвано внезапно и трагически, вместе с жизнью писателя. Водоверть перехлестнулась через голову пловца, — он пошел ко дну. И больше того... Мы узнаем, что это уже не в первый раз он уступил волнам, что и раньше расслабляющий соблазн погрузиться в пучину одолевал в нем волевое стремление к тому берегу.

А. Соболь был подлинным художником. А разгадка всех противоречий личности и судьбы художника — в его творчестве. К тому же это был художник редкой интимности, творчество которого было непосредственным — мучительно-взволнованным и болевым — самораскрытием его внутреннего «я». Установка на личное переживание очевидна в каждой странице, оставленной нам этим писателем-суб'ективистом. И подлинную, исчерпывающую разгадку трагедии Соболя могут нам дать его произведения, этот подлинный «дневник обнаженного сердца».

Уже при поверхностном ознакомлении с лучшим, что осталось нам от А. М. Соболя в его литературном наследстве[1]), перед нами отчетливо намечаются две главные линии, по которым шло его творчество, две основные темы, властвующие там. Первая — динамична. О ней говорят даже заглавия многих вещей: «Люди прохожие», «Последнее путешествие барона Фьюбель-Фьютценау», «Мимоходом», «Салон-вагон». Это — тема движения, более или менее стремительной смены. Содержание привлечет сюда целый ряд других повестей и рассказов, делая эту группу господствующей в творчестве писателя... Путешествие, смена обстановки — одновременно властная внутренняя потребность, движущая героями Соболя, и категорический императив, тяготеющий над ними. Дальше, дальше — вот единственный выход (столь часто оказывающийся призрачным) из трагического положения, в которое они поставлены автором. Присмотримся к этой динамике внимательней: «Мы улетаем. Мы засыпались. Ничего не поделаешь, это закон». (Письмо летчика-белобандита в «Китайских тенях».) «Вези, вези, куда хочешь... Как хорошо... Будто крылья за спиной. Все равно, куда, но вези. Устала я»... (Слова актрисы в «Когда цветет вишня», бежавшей с офицером-атаманом зеленых из голодной красной Москвы.)

«Подобно бешеному наскоку непобедимой Красной армии, выскочил упомянутый Серж наружу, настиг меня и, потрудившись надо мной не больше двух минут,... истерзав мою личность до кровопускания, втолкнул сперва

---

1) Это лучшее отобрано самим писателем и сгруппировано им в 4 томах его «Собрания сочинений», выпускаемого теперь изд. «ЗИФ».

в переднюю, а затем и дальше, клеенчатой дверью прищемив мне ногу». («Мемуары веснущатого человека».)

Мы раскрыли один из 4 томов Собрания сочинения Соболя наудачу. Мы не отыскивали примеров. Эти три выпали случайно из серии множества других. При всем разнообразии обстоятельств, которые сопровождают приведенные здесь перемещения, последние имеют одну неоспоримо общую черту: все они невольны, вынуждены. В лучшем случае, это — рывок из безысходности, притом чаще всего неудачный. Ибо траектория падения почти всегда кончается здесь «ущемлением ноги». Развязка большинства повестей и рассказов Соболя — катастрофа.

«Люди прохожие» — арест подпольщиков и две разбитые женские жизни. «Цыганский барон» — любовная измена заглавного действующего лица и полная безысходность для героини. «Последнее путешествие барона Фьюбель-Фьютценау», «Любовь на Арбате», «Собачья площадка», «Обломки» — трагедии обездоленных революцией обломков старого общества, кончающиеся полным уничтожением героев, физическим большею частью и всегда моральным. «Погреб», «Мимоходом», «Княжна», «Человек за бортом» и т. п. — длинный ряд эпизодов из эпохи гражданской войны, выбранных писателем, как яркие иллюстрации страшных нравственных падений, внутренних и внешних предательств, в которых герои Соболя принимают участие то активное, то страдательное.

Проблема ренегатства вообще глубоко интересовала писателя, — не менее, чем проблема нравственного перерождения. Мы вправе сказать, что та и другая были для него двумя формами внутреннего динамизма: пробегом взмятенной в «верхнюю бездну» души по предназначенной ей кривой и обратным отражением этой кривой в «бездне внизу». Такие произведения Соболя, как «Человек за бортом», «Китайские тени», «Княжна», «Человек и его паспорт» — это подлинные трагедии отречения, напряженнейшего слома в развитии внутреннего мира действующих лиц, перегиба их душевной линии под прямым углом, в условиях великой по-октябрьской проверки. Человек взят здесь Соболем в тот момент, когда ему надлежит сделать выбор между двумя роковыми решениями, между двумя мирами. Он поставлен автором на великом рубеже истории, возведен им на высокую гору, откуда открывается целый мир. И тут писатель подходит к своему двойнику (а таким двойником является почти каждое центральное действующее лицо его повестей и рассказов) с искушающим вопросом. И вот белошпион, бывший царский офицер уже проникший в красную Москву, стреляется накануне почти обеспеченной удачи («Человек и его паспорт»); эсер Игорь, уже пробравшийся из большевистской Москвы к своим, на Украину, заявляет, «что все азбуки прахом... все переплеты в мусорный ящик» и «тянется исступленно... к ним... к конквистадорам московским, к черному хлебу ихнему — добыче российской, — минуя все калачи, растегаи» («Человек за бортом»). И председатель прифронтовой Чека кидает в реку свою возлюбленную — товарища по работе, получив телефонограмму о том, что она шпион в пользу белых. И остается в Москве, идя на верный расстрел, «бывший поручик» и

настоящий белобандит Дмитрий Смоляков, который «заставляет Москву руки поднимать, деньги отдавать, а у самого поручика ноги из глины: подкашиваются»; подкашиваются они оттого, что слишком высоко на гребень истории взнесен поручик на глиняных ногах и уже не может не видеть: «какие они умницы, что таких железом каленым выжигают. Это из газеты, из декрета, но это веление настоящее. Какие умницы». («Китайские тени».)

А. Соболь с мучительно напряженным вниманием всматривается в столь резко им обнажаемый внутренний мир своих зажатых в тиски истории героев и с жадностью следит его взвихренную динамику. Но в его изображении она раскрывается, как динамика предельного смятения, а не активного порыва, и кончается срывом, — не победой.

«Гиляров вышел из комнаты, спотыкаясь в коридоре о ящики, наугад побрел к выходу, в одной комнате запутался, в другой опрокинул столик и, наконец, добрался до крыльца, где, некоторое время спустя, подпоручик нашел его сидящим на верхней ступеньке». («Салон-вагон».) Вот поступь героев Соболя, по-своему осуществляющих принцип наибольшей действенности в кратчайший промежуток времени. Но таков и самый стиль Соболя,— его художественная поступь, торопливая, сбивающаяся с шага, то-и-дело возвращающаяся вспять и вновь стремящаяся к прерванному повествованию, минуя сказуемые и второстепенные части речи, чтобы только наверстать потерянное, но в поисках кратчайшего расстояния до цели вынужденная карабкаться через горы перечислений, столь поспешных, что предметы мелькают перед растерявшимся читателем, как телеграфные столбы в окне экспресса.

Но поэтика А. Соболя — поэтика расточительного динамизма — имеет свои законы. В пределах этой импульсивной, резко-импрессионистической, глубоко-суб'ективной поэтики оправданы всякая длиннота, всякое вторичное прохождение по однажды пройденному пути, если только эта длиннота и это самоповторение с полной непосредственностью знаменуют тот или иной изгиб внутреннего ритма, заложенного в основу всего произведения. И, наоборот, здесь был бы неуместен, звучал бы оскорбительной фальшью всякий намек на обдумывание общей соразмерности и тщательный промер частей. Ибо стиль Соболя есть раскрытие сознания, катастрофически сдвинутого с своих основ, кинутого в водоверть и пытающегося отстоять себя в отчаянной борьбе со стихией.

Такова одна из двух тем, господствующих в творчестве А. Соболя. Она образует верхнее течение этого стремительного потока.

«Москва. Вдоль и поперек, слева и справа, по диагонали радиусами перерезают ее скоропалительные, стремительные — время-деньги; рукопожатия отменены; кончил дело — уходи, — вывески трестов и синдикатов и вывески менее броские, более скромные уполномоченных Юга, Севера, Дона, Туркестана — хлопок; черное золото — жидкое; терпкая влага крымских погребов; меха собольи; кета амурская. И далее — нищий слепой флейтист на бульваре, щиты райкомов, автомобили у Профинтерна и Коминтерна, индусы, японцы, бухарская девушка, разучивающая политграмоту по складам, и радио-телеграфист с Шаболовки, щекочущий острием радио-приемника

королей и премьер-министров. Это — верхнее течение в повести «Китайские тени».

Посмотрим, что делается в нижних ее слоях. Они струятся плавно и, если испытывают бури, то лишь отраженные: «А в самой почти сердцевине московской лежит островок: омывают его со всех сторон московские хляби, а захлестнуть не могут и троеручицу за синими огоньками лампадки не тревожат. Синь, синь огонек — и в сонной заводи кукует смешно и ласково деревянная кукушка на пороге своего деревянного домика, откуда струится сонное, мирное, непотревоженное время». Этот островок — маленький особняк.

Вот этот старый московский особнячок, задвинувшийся от современной «водоверти» «рыжим брандмауером» или пятиэтажным доходным домом, глубоко запрятавшийся в переулки арбатские, то-и-дело всплывает в повестях Соболя. Не только в «Китайских тенях», но и в длинном ряде других повестей — «Последнее путешествие барона Фьюбель-Фьютценау», «Любовь на Арбате», «Собачья площадка», «Человек и его паспорт», «Человек за бортом» — он является главной ареной действия или, по крайней мере, местом его завязки или разрешения. Эти особняки служат приютом всевозможным «обломкам» великого крушения, — старым профессорам — искусствоведам и эсерствующей молодежи, «единственным уцелевшим особям» в древнем роду какого-нибудь мальтийского рыцаря, девушкам из театральной студии, с сердцем тургеневских героинь, славным когда-то прокурорам — «златоустам московским». Эти особнячки помнят севастопольскую кампанию, «у себя в зальце с белыми колонками принимали они Масальских, Щербатовых, Волконских», и в одном из них «еще до сих пор у крайнего овального окна стоит кресло, в котором приезжий заграничный гость, великан с серебристой бородой, рассказывал о прекрасном голосе приятельницы своей Виардо». («Собачья площадка».)

Если бы мы не знали жизни еврея-революционера и эмигранта Андрея Соболя, бурной жизни бунтаря и скитальца, рассказанной им кратко в «Автобиографии» и с прекрасной полнотой и убедительностью в «Записках каторжанина», — мы могли бы принять его за поэта «домов с мезонином», уютного interier'а, жизни тихой и мирной, с посещением лекций любимого профессора и вечерами, посвященными Шопену и Григу, так сладко звучащим под пальцами любимой девической руки. Но — мы знаем — этой идиллии Соболь был лишен. Ветер огромных пространств России еще в детстве подхватил его и понес, играя как осенним листом. А. Соболь — бунтарь поневоле. В другое время и в другой стране в нем свободно проявилась бы его подлинная душевная стихия. Мы можем быть уверены, — она оказалась бы безбурной. Слишком многое в нем, как в художнике, настойчиво твердит об этом.

Рожденный в стране, для которой не было другого исторического пути, как окунуться в омывающую все скверны водоверть, Соболь не мог не отдаться потоку: его положение еврея-пария в царской России толкало его на это, его чуткая совесть вела к тому же. Но природа звала не туда. В ряды

культурной, честной, не склонной углублять вопроса о социальных противоречиях, но искренно желающей «родине» добра «особняковой» интеллигенции тянуло эсера-эмигранта Соболя.

Скитальчество и бури, вся героика, взятая на себя Соболем под директивой его чуткой социальной совести, в окружении оскорбительной для нее общественной обстановки царской России, была для писателя тяжким подвижничеством, суровой аскезой, выполняемой безропотно, но беспрестанно опротестовываемой требованиями его подлинной природы. Тоска по дому, родине и мирному оседлому труду ярко звучит уже в первом крупном произведении А. Соболя — романе «Пыль». Автобиографические повести «Люди прохожие» и «Салон-вагон» обнажают этот внутренний лейт-мотив писателя с предельной четкостью. «Люди прохожие», по замыслу автора, должны были быть апологией скитальчества: «так прошли они мимо меня — люди прохожие, но я знаю, я помню: надо так, прямо в глаза всему», — говорит автор о героях повести, революционерах-подпольщиках Зыбине и Тихоходове. Но в них самих, этих скитальцах, созданных по образу и подобию создавшего их, не все благополучно.

«Митя, на земле-то много бродяг. А до сих пор не могу понять: плохо это или не плохо?».

Уже лежа в постели, Тихоходов раздумчиво говорил Зыбину:

«Кто его знает, плохо или не плохо? Прохор говорил: душа болит за людей, потому и бродим. А так ли это? Болит ли у нас душа? Ведь мы все уходим, да уходим, а людей оставляем. Если любишь, можно уходить? Если болеешь, можно оторваться? Люди остаются, а мы уходим. Кому легче? Если нам, то не грош ли цена нашей боли? Миша, трудно ответить. Вот оставил я Зину — жену свою. Говорю — идет строительство новой жизни, и в него ухожу. А неподалеку от меня человек мучается, а я не остался с ним. А, быть может, вся святость в том, чтобы одну душу облегчить, одной помочь, в одной раствориться, а не витать — я не с насмешкой употребляю это слово, — над людьми, живыми людьми, у которых и желания живые и боль живая. Кто ответит, какая дорога верная? А ты можешь ответить?

«Зыбин молчал: Тихоходов обернулся к нему: долго ждал ответа, не дождался и заснул».

Исход резкого конфликта между любовью к дальнему и любовью к ближнему был предрешен не только для героев А. Соболя, но и для него самого. И хотя Зыбин с Тихоходовым не остались в особняке на Плющихе, ушли в даль (точнее — были уведены, так как арест застал их за устройством их семейных дел), хотя жизненный путь А. Соболя прошел мимо всех особняков Арбата и Плющихи, но художественное творчество, которое не может лгать, обнажило истинную природу писателя от надетой им на себя подвижнической схимы, и природа эта, художественным творчеством раскованная, сказалась мучительными стонами о навсегда утраченном покое.

«Я уже шесть ночей не ложилась. Все сидя дремала, то на одной скамейке, то на другой. Как странница, без места, без ночлега. Я и есть такая. Тучки небесные, вечные странники» («Салон-вагон»). Генерал-губернатор-

ской внучке Тоне, превращенной волею обстоятельств в «актрису», можно мечтать о покое, ведь она болеет только своей болью и ей так мало нужно: «Вот я опять в голубеньком. Вот я опять с ним. Как все странно. Революция, война, а я все-таки с ним. Это настоящее чудо. Боже, значит, на земле еще есть чудеса. А если одно пришло... может, ведь, и другое притти, и я отдохну. Может? Опять с голубеньким...». Но «алхимик» Гиляров, бывший ссыльно-каторжный, бывший террорист, бывший эмигрант, бывший студент, а ныне комиссар, особо-уполномоченный и т. д., видел многое». Да, в царской России А. Соболь видел многое, слишком многое. Одного он не видел там себе— покоя. У него не было там «голубенького вагона», да, если бы и был, он не поселился бы в нем, рядом с губернаторскими внучками; т.-е. губернаторскую внучку он не осудил бы (ибо кроток и милостив сердцем был этот террорист), но себя скорей дал бы искалечить поезду, шагая по шпалам, чем разделил бы с ней сладкую участь ездить в салон-вагонах и жить в особняках.

И он, действительно, был жестоко искалечен триумфальным поездом самодержавия. О том, как тяжело он был болен, он рассказал нам в ряде повестей. Ведь это о себе говорит он, повествуя обо всех замордованных малых сих в рассказах: «Ростом не вышел», «Горбатый», «Мемуары веснущатого человека», «Погреб», «Обломки» и т. п. Пусть существовали они сами по себе, все эти социальные калеки: Петьки, с малых лет битые и обижаемые за свой малый рост, горбатые учителя словесности, которых «одна могила исправит», евреи Пузики, несущие «три креста, тройную тяжесть: был он евреем, торчала у него на носу катастрофическая бородавка с хвостом до губы и была фамилия, — за первое били, над вторым издевались, от третьего житья не стало». Пусть все это — реалистические, взятые из действительности образы. Но острое сочувствие этим социальным недоросткам, горбунам, веснущатым, углубленное сопереживание чувству их общественной неполноценности, вызванной каторжными условиями их развития, дано писателю сердцем, сочащимся кровью, и мыслью, истонченной страданием, смысл которого социально тождественен.

За последние годы писатель подарил нам несколько произведений, которые указывали на некий перелом в его внутреннем мире. В «Рассказе о голубом покое», «Мемуарах веснущатого человека», «Когда цветет вишня» резко бросается в глаза расцвет красочного, жизненно-разнообразного мастерства. Внутреннее напряжение, находившее выход в болезненно-нервной скороговорке (которую так легко было принять за импульсивно-стремительный, волевой напор речи) и в максимализме тематической установки, — сменилось большей приверженностью внутреннего ритма писателя к ритму мира внешнего. Быть может, постепенное угасание всепожирающего внутреннего огня социальных скорбей было тому причиной. Как бы то ни было, взгляд Соболя на окружающее стал спокойнее и шире. Великое разнообразие и игра жизненных форм приоткрылись ему, до этого времени поглощенному одним стремлением, одной болью. Он создает первую свою подлинно-радостную вещь — «Рассказ о голубом покое», обнаруживая здесь новый облик —

ласкового мистификатора, устроителя человеческой судьбы, связывателя разошедшихся концов в узел любви и единения. До этого поглощенный одним собой, он не боится наполнить небольшую по об'ему повесть множеством разнообразнейших и колоритнейших фигур, с возросшим мастерством указуя каждой из них подобающее место в действии и развязке. Полное мягкого гуманизма и тонкой иронии, произведение это знаменует подлинное возрождение в творческом пути Соболя, после того как он выбился из-под мрачных сводов средневековья, где протекала его непосильная борьба со старым строем. Не менее замечательно и мастерское владение сказовой формой, впервые великолепно обнаруженное писателем в «Мемуарах веснущатого человека»; и здесь смена отправной точки (бытовая конкретность образа взамен эмоциональной напряженности писательского «я») — открывает дорогу оригинальной колоритности языка, острому комизму положений и характерности образов. Наконец, в повести «Когда цветет вишня», во многом еще отмеченной прежними особенностями писательской манеры А. Соболя, ему удалось передать этнографический областный колорит, белую пену вишневого цвета, как живую благоухающую конкретность, в пределы которой вдвинута и разрешена обычная для писателя за последние годы тема гражданской войны.

Эта резкая смена писательской манеры не могла быть случайной. Несомненно, на наших глазах выпрямлялось еще хрупкое дерево, примятое, но, казалось, не сломанное тяжкой колымагой прошлого. Выздоравливал человек, отравленный ядом навсегда раздавленной змеи. Но... колымага оказалась слишком тяжелой: не только смяла, но и надломила. Яд оказался из тех, которые действуют не сразу, но верно: человеку и его окружающим кажется, что он избег опасности, без последствий остался проклятый укус. «Дешево отделался», — говорит он себе... со смертью в сердце. И умирает, готовясь начать новую жизнь...

Борис Пастернак.

А. Лежнев.

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, шум и клекот.

Так сказать может только большой поэт. Когда мы читаем эти удивительные строки про степь:

Столетняя полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Мы невольно вспоминаем о Тютчеве. Здесь та полнота и напряженность ощущения, что свойственна поэтам тютчевского масштаба и складки.

Можно выписки продолжить. Можно вырвать не одну и не одну строфу, которые вас поразят, ранят, повернут к вам вещи новой, невиданной стороной — будет ли это гроза, «моментальная навек»:

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Или летний дождь:

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий, —
Топтался дождик у дверей
И пахло винной пробкой.

Или тягостный разрыв любви:

О, ангел залгавшийся, — нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и как время,
Смеясь, убиваешь за всех, перед всеми!

Еще не отдавая себе отчета, по первому впечатлению, вы чувствуете, что здесь перед вами подлинная поэзия, «художественный продукт высокой

квалификации». Откуда же эти споры вокруг имени Пастернака? Почему в то время, как одни считают его величайшим мастером современности, другие — и их гораздо больше — находят его темным, вычурным, непонятным, бессмысленным? Для того, чтобы это понять, нам надо внимательно приглядеться к поэту. Возьмем не изолированную строфу, а какое-нибудь целое стихотворение. Остановимся на следующем:

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.

Я их, как-будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме - кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шопот реял на брезгу?
О, мой ли? - - Нет, душою -- твой,
Он улетучивался с губ
Воздушней капли спиртовой.

Как в неге прояснилась мысль!
Безукоризненно! Как стон!
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

Обычное, «классическое» стихотворение строилось на развертывании одной определенной идеи, идеи-мысли или идеи-чувства. Соответственно этому развертыванию имелось нарастание, апогей и спадение эмоциональной волны. Если бы это изобразить графически, получилась бы кривая, напоминающая кривую пульса [1]). Образцом такого строения может служить «Пророк» Пушкина: волна нарастает до слов: «Как труп в пустыне я лежал» — откуда начинается катарзис, разрешение, нисходящая фаза волны, — или есенинское «Памяти Ширяевца» (нарастание до строфы «Счастлив тем, что целовал я женщин», представляющей апогей стихотворения; последние две строфы — спадение). Нарастание и спадение эмоциональной волны могут сочетаться и иным образом. Так в пушкинском «Я помню чудное мгновенье» апогей приходится на конец стихотворения, а низшая точка на середину. Но важны не эти различия, а то, что во всех случаях мы имеем единство идеи и волнообразность эмоции. По совершенно другому принципу построены стихотворения Пастернака: по принципу сцепления ассоциаций и линейности.

[1]) Вернее, ериод повторения, изолированную волну кривой.

Я сейчас поясню, что понимаю под этими выражениями. Если у классиков стихотворение являлось развертыванием одной идеи, то у Пастернака оно состоит из ряда звеньев, соединенных между собой путем какой-либо ассоциации. Гете говорит, что стихотворение тогда хорошо, когда оно сохраняет свою значительность и в прозаическом пересказе. Попробуйте последовать этому совету и пересказать пушкинского «Пророка» или «Я помню чудное мгновенье». Вам это удастся, хотя пересказанные произведения и потеряют значительную долю своего поэтического достоинства. Но попытайтесь пересказать цитированное мною выше стихотворение — и вы сумеете только воспроизвести ряд отдельных моментов: ночь, уставшую сиять; антресоль; шопот, улетучивающийся воздушнее спиртовой капли; мыс, внезапно озаренный в полночь пеной и т. д., — т.-е. ряд представлений и ощущений, сцепленных воспоминанием или сходством. Совет Гете, сводящийся к выслушиванию основной идеи, здесь явно не применим. И это не потому, что Пастернак плох, а потому, что его произведения построены по другому принципу: не одной основной идеи — большой темы, а множества сцепленных ассоциацией коротких тем.

С этим связана и другая особенность Пастернака, которую я назвал линейностью. Вернемся к нашему стихотворению. Эмоциональный тон его дается первой же строфой. Он звучит в дальнейшем ровно, не усиливаясь и не ослабляясь. Он не имеет под'емов и опусканий, изменения скоростей и интенсивности. Его графическим изображением была бы не волнообразная кривая, а горизонталь. Это и понятно: волнообразное нарастание и спадение может быть лишь там, где развертывается одна тема-эмоция, а не там, где пересекается множество тем-ощущений. В последнем случае мы можем иметь лишь короткие и случайные под'емы.

Сцепление по ассоциациям и линейность свойственны огромному, подавляющему большинству стихотворений Пастернака. Так построены его лучшие и наиболее популярные вещи, например, известное (и действительно прекрасное) стихотворение, приведшее в восторг Эренбурга: «Сестра моя жизнь и сегодня в разливе». Здесь целый ряд коротких тем — брюзгливые люди в брелоках, жалящие как змеи в овсе; лиловые в грозу глаза и газоны, пахнущий сырой резедой горизонт; расписание поездов, которое читаешь в мае в купе — и оно кажется грандиознее святого писания; третий звонок, уплывающий сплошным извинением; степь, рушащаяся со ступенек к звезде, дает, пересекаясь, в сумме одно общее и цельное впечатление (его всего точнее можно выразить начальными строками вещи: «Сестра моя жизнь и сегодня в разливе — расшиблась весенним дождем обо всех»). То, что это впечатление цельное, не может, однако, заслонить основного факта: это все-таки впечатление, а не идея (поэтому его и так трудно формулировать) и достигнуто оно пересечением разных тем, а не развитием одной. Даже в тех произведениях Пастернака, довольно немногочисленных, которые построены не по принципу сцепления ассоциаций (например, «Разрыв»), принцип линейности остается в силе. Поэт здесь начинает с очень высокой ноты («О, ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б»)

и на той же высокой ноте кончает. Степень напряжения не изменяется. Эта та же горизонталь, только выше поднятая.

Уже само по себе строение стихотворения по принципу сцепления ассоциаций значительно затрудняет понимание его. Вместо одной отчетливо развивающейся идеи, вы имеете целый ряд коротких, пересекающихся тем, уводящих то в одну, то в другую сторону. Ни одна не успевает овладеть вами до такой степени, чтоб вы в нее «вчувствовались». Но затрудненность понимания увеличивается еще одной особенностью Пастернака: опусканием того или иного ассоциативного звена.

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гнилостными.

Будешь — думал, чаял,
Ты с того утра виднеться,
Век в душе качаясь
Лилиею, праведница.

Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,
— Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.

Или еле-еле
Как сквозь сон овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече Офелином.

Ночью бредил хутор:
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью
Осторожных капель... и т. д.

Нетрудно в этом отрывке увидеть зияния на месте опущенных ассоциаций. Они находятся между каждыми двумя строфами: в особенности они заметны между 3-ей и 4-ой строфой, где получается настоящий смысловой разрыв. Такой же смысловой разрыв и внутри 4-ой строфы («Луг дружил с замашкой — Фауста, что ли, Гамлета ли»), где, впрочем, мы имеем дело скорее не с опущенной, а с недостаточно развернутой ассоциацией. Самое усердное и внимательное чтение здесь не поможет читателю. Он не догадается, почему от праведницы, которая должна век качаться в душе лилией, поэт переходит к лугу, и что значит, что луг дружил с замашкой

Фауста или Гамлета [1]). Ключ к этим тайнам у поэта. Ему достаточно восстановить ассоциацию для того, чтобы темное место стало обычным и понятным. Почему же он этого не сделал?

Потому, что и строение стихотворения по ассоциациям, и опускание ассоциативных звеньев есть у Пастернака с о з н а т е л ь н ы й п р и е м. Нельзя, конечно, думать, будто «ассоциативность» Пастернака обусловлена особым типом его мышления. Она есть свойство всякого мышления. Не следует также рассматривать пастернаковские стихи, как наивно-суб'ективную запись поэтом своих ощущений в том самом виде, в каком они возникают у него — запись, без оглядки на читателя, непосредственную и обнаженную. Механизм ассоциативных сцеплений обычно нами почти не замечается. Нужно упорное самонаблюдение и анализ, чтобы открыть его. Поэтому запись, в которой наши ощущения представлены в виде цепи ассоциаций, будет всегда в т о р и ч н о й, результатом анализа, разложения первоначального материала ощущений и чувств. И стихи Пастернака являются, таким образом, — уже по своему строению — не более, а менее непосредственными, чем стихи классического типа. Это не значит, что они надуманы или книжны. Но это значит, что та их особенность, которая на первый взгляд кажется следствием их полной обнаженности и творческой наивности, на деле есть сознательный конструктивный прием.

Прием — для чего? Каков его смысл и цель? Какова его социальная обусловленность? Ответить на этот вопрос полностью можно будет лишь после того, как мы рассмотрим другие особенности поэзии Пастернака, находящиеся в тесной связи с этим приемом. Пока же я ограничусь вот чем:

Несомненно, что опущение ассоциативного звена есть такой же сознательный прием — и по тем же причинам — как и строение стихотворения по сцеплению ассоциаций. Но опущение ассоциативных звеньев приводит, как мы уже видели, к смысловому затемнению, к затрудненности понимания. Стало быть, когда мы говорим, что это ощущение есть прием, то мы, в сущности, высказываем мысль, что Пастернак пользуется смысловым затемнением, как фактором эстетического порядка, что его пресловутая непонятность есть для него средство так или иначе повысить эстетическую ценность произведения, что она вовсе не самопроизвольна и нечаянна, а вполне сознательна. Пастернак пишет непонятно, потому что хочет писать непонятно.

Но почему он хочет писать непонятно?

---

[1]) Разве только по чисто-внешней ассоциации: лилия — луг. Что же касается «замашки» луга, то здесь быть может следует видеть намек на сцену из «Фауста», где Маргарита обрывает ромашку (любит — не любит), и на сцену из «Гамлета», где Офелия появляется украшенная цветами (это находит, как будто, подтверждение в следующей строфе). Но, во-первых, такая ассоциация уж слишком сложна, запутана и неопределенна, а, во-вторых, тогда следовало бы говорить не о замашке Фауста или Гамлета, а Маргариты и Офелии.

Стихотворения Пастернака построены не на развитии одной темы, а на сцеплении нескольких коротких тем. Каков же характер этих тем?

При всей их множественности, у них есть нечто общее, что я бы назвал психофизиологизмом. Для того, чтобы пояснить свою мысль, обращусь к одному из прозаических произведений Пастернака, к его повести «Детство Люверс». Это интересная и по-своему замечательная вещь. Она не имеет действия и вся состоит из очень тонкого психологического плетения, при чем элементами, складывающими это плетение, являются не чувства в собственном смысле, не развернутые эмоции, а ощущения, стоящие на границе между элементарными, «чисто-физиологическими» ощущениями — прикосновения, давления и т. д. — и более сложными «душевными» движениями, — ощущения от вещей, комнат, деревьев, света и запаха, ощущения атмосферы дома, улицы, весеннего коридора и т. д. Они иногда выражаются просто в тонком описании предмета; ощущенье от предмета входит в описание предмета. Это — своего рода микроскопия чувства, дальнейшее утончение того психологического анализа, который мы находим, например, в ранних произведениях Л. Толстого.

«Детство Люверс» в известном смысле является ключем к лирике Пастернака: многие ее особенности выражены здесь яснее, определеннее и подчеркнутее. Это относится и к психофизиологизму (к нему в особенности). Темы стихов Пастернака — это не темы — эмоции, а темы — ощущения:

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был, как бред...

...в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

...в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

И песни колотой куски.
Жар наспанной щеки, и лоб
В стекло горячее, как лед...

Установка на ощущение есть то, что придает стихам Пастернака характер необычайной свежести (вещи кажутся повернутыми новой, невиданной стороной), и то, что вызывает их строение по ассоциациям. Пастернаку важен не об'ект, а та эмоциональная окраска, которая вносится в об'ект человеком, та суб'ективная атмосфера, которой окутываются им предметы. Он сливает об'ект и эмоцию от об'екта в одно целое — ощущения. В этом целом эмоция доминирует, она деформирует предмет, суб'ективное впечатление раздавливает об'ективную данность. Пастернак делает нечто аналогичное тому, что сделали импрессионисты в живописи. Подобно им он лучший колорист, чем рисовальщик. Он разлагает предметы — эмоции на простейшие психо-физиологические компоненты, и вещи, воссозданные вновь их сочетанием, кажутся обмытыми и молодыми, как будто с них сняли долго покрывавшую их пыль и плесень.

Понятно, что волнообразное строение стихотворения, естественное и необходимое при развертывании единой темы-эмоции (так как оно является следствием волнообразности самого чувства, т.-е. развернутой эмоции), не уместно там, где имеется короткое ощущение, лишенное характера волнообразности. Наоборот, строение по ассоциациям здесь прямо подсказывается. В самом деле, каков смысл пастернаковского разложения эмоционального материала на простые элементы ощущений? Стремление дать как бы первоначальность впечатлений, дать осязаемый, видимый, слышимый мир в таком виде, в каком его воспринимают наши чувства в тот момент, когда они воспринимают. Показать наше сознание не в его конечных результатах, а в его начальных и промежуточных фазах. Строение по ассоциациям усиливает этот характер непосредственной первоначальности, который поэт хочет придать своим стихам. Она как бы имитирует самопроизвольность простейших реакций организма, их независимость и ненаправляемость сознанием, подчеркиваемую причудливостью сцеплений. Я говорю «имитирует», потому что, как я уже выше показал, строение по ассоциациям может быть только вторичным.

Если в разложении эмоционально-предметного мира на простые компоненты ощущений Пастернак проявляется как импрессионист, то в смещении этих элементов он выступает как футурист. Он ставит рядом элементы, расположенные в разных смысловых или ассоциативных плоскостях. С самым простым примером этого смещения мы познакомились уже раньше, в начале статьи:

> С к о р е й со с н а, ч е м с к р ы ш, скорей
> Забывчивый, чем робкий,
> Топтался дождик у дверей.

По этому принципу построено анекдотическое:

> Шел дождь и два студента.
> Один в унынии, другой в калошах.

Тот же прием, только в менее подчеркнутой форме.

> Оно грандиозней святого писанья
> И черных от пыли и бурь канапе.
>
> Так пахла пыль. Так пах бурьян.
> И, если разобраться,
> Так пахли прописи дворян
> О равенстве и братстве.

Смещение смысловых плоскостей проявляется в сущности и в такого рода сравнениях:

> ...как убитые спят снега.

Другой род смещений дается опущением ассоциативных звеньев (см. выше).

Смещения еще более усложняют и без того сложную конструкцию пастернаковских стихотворений, этот контрапункт коротких тем. Но усложнение идет у Пастернака рука об руку с тематическим обеднением.

Установка на ощущение сама по себе связана с тематическим обеднением, являясь, конечно, не причиной его, а скорее следствием. Выпадают более сложные чувства, в особенности эмоции социального порядка. Поэзия Пастернака сводится почти исключительно: к пейзажу, натюр-морту, interieur'у и любовной лирике, которая, в свою очередь, на ¾ сводится к пейзажу, натюр-морту и interieur'у. В сборнике «Избранные стихи» из 32 стихотворений только одно — «Петербург» — да еще, пожалуй, отчасти: «Любимая — жуть. Когда любит поэт» — выходят за круг этих тем и имеют — хотя и не слишком интенсивную — социальную окраску. То же соотношение существует и в других книгах Пастернака. Социальные связи, связи с общественностью обрублены почти начисто. Вопрос поэта:

Какое, милые, у нас
Тысячелетие на дворе?

можно без большой натяжки поставить эпиграфом к его книгам. Огромные события последних лет — а поэзия Пастернака возникла и развилась между 1914 и 1924 г.г. — проходят мимо, ничем не отразившись в его стихах, — и если бы под ними не было дат, вы никак не могли бы сообразить, что они написаны во время войны и революции. О том, «какое тысячелетие на дворе», мы можем у Пастернака узнать только по деталям техники и транспорта: трамвайные рельсы, велосипед, расписание поездов — ну, значит, наша эпоха. Конечно, можно узнать и по форме стихов: футурист чувствуется в Пастернаке, хотя и не очень сильно, — можно узнать по их атомистичности, распыленности на ощущения, по смещению плоскостей, по установке на затрудненность, но нельзя узнать по их содержанию. Лишь редко-редко встретим мы у него такие прорывы в современность:

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать — не доигрались насыто.
За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Не наступивший этот год
Возьмется сызнова воспитывать.

Но они не получают дальнейшего развития. Из всех крупных поэтов нашего времени Пастернак наиболее далекий от общественности, гораздо более далекий, чем Маяковский, Есенин, Асеев, Тихонов.

Для поэта до известной степени характерны те вещи — обстановки, материального оформления жизни, — которые встречаются в его стихах, вещи, которые его окружают, с которыми он свыкся, которые проникают в его метафоры, вечный аккомпанимент поэзии. У Пастернака получим

следующий ряд, довольно показательный: бронза, запястья, трюмо, гостиная, зала, канапе, пианино, люстра, муслин, кисея, сторы, тюль, резеда, газон, парк, сад, пруд, вагон, купе, линейка, дача[1]). Я понимаю, что подобные перечни не всегда убедительны. Во-первых, возникает подозрение, насколько всякий такой ряд характерен, не подобран ли он искусственно. Во-вторых, надо его уметь прочесть, даже если он составлен вполне об'ективно. Одни и те же слова произносятся с разной интонацией, одни и те же вещи могут быть и точкой отталкивающей, и центром притяжения. Надо знать эмоциальную окраску ряда. Если бы простой предметный реестр был так специфичен для поэта, то не было бы ничего легче, как расшифровать его творчество: для этого было бы достаточно короткой выписки. Так, впрочем, у нас и полагают иные люди, которые заменяют литературный анализ справкой о движимом и недвижимом имуществе писателя и путают работу критика с работой фининспектора. Вопрос о «социологическом эквиваленте» какого-либо явления искусства решается — в основном — не этими справками, а исследованием содержания и формы. Но известное значение — рядом с таким исследованием — имеет и определение вещного мира художника. Мы уже видели, что поэзия Пастернака отличается преобладанием ощущения над эмоцией, ограниченностью тематики, разрывом общественных связей, замыканием в пейзаж, натюр-морт, interieur. Вот на фоне этих данных произведенный мной перечень получает конкретный смысл и окраску. Его нельзя уже считать случайным (что, впрочем, ясно и без доказательств всякому, читавшему Пастернака: гостиная, сад, дача — обычная обстановка, где развертывается действие его стихов), его нельзя считать нейтральным или отрицательно-заряженным. Вещный мир стихов Пастернака подчеркивает камерность его поэзии, он показывает также ту материальную основу — спокойной, комфортабельной, культурной и обеспеченной жизни — на которой она выросла. Пастернак не отталкивается от своей среды, как отталкивался от нее Маяковский. У него нет отрицания и протеста. Наоборот, то, что вещный мир Пастернака переходит в его метафоры, то, что поэзия intérieur'а занимает такое видное место в его творчестве (несколько стихотворений — «Зеркало», «Девочка» — посвящаются им, например, отражению сада в трюмо), доказывает, что эта среда — по крайней мере, в ее вещном оформлении — близка ему и понятна. Но поэтизация вещей невозможна без известной поэтизации уклада жизни. Отдельные отрицательные высказывания поэта о среде, — например:

Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются,
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, паюсной... и т. д. —

не меняют дела. Они слишком редки и случайны. Это бутады. Смысл их сводится к тому, что: я, поэт, выше вас, мещан. Но вряд ли вы найдете

[1]) Ряд далеко неполный: его можно, продолжая в том же направлении, удлинить в несколько раз.

поэта, который бы так не говорил. Это и не удивительно: поэт, как идеолог, большей частью действительно умнее, образованней, дальновиднее, шире массы своего класса. Здесь заложены данные для конфликта. Но конфликт этот часто не серьезен, поверхностен, не затрагивает глубоких социальных корней. Таков он и у Пастернака. У него лишь отдельные вспышки, тонущие в массе intérieur'ной поэзии. Между Пастернаком и его средой нет разлада. Это — не берег, от которого он оттолкнулся, а почва, из которой он вырос.

Любопытна вещность сравнений и метафор Пастернака: «Степь, как парашют», «грудь, под поцелуй, как под рукомойник», «у капель тяжесть запонок», «песни колотой куски». Про возлюбленную он говорит:

Вошла со стулом
Как с полки жизнь мою достала
И пыль стряхнула.

Такая вещность имеет двоякое значение: с одной стороны, она материализирует до последней степени сравниваемый об'ект, конкретизирует его и упрощает, с другой стороны — снижает. Особенно отчетливо эта конкретизация (а отчасти и снижение) проявляется в родственном типе метафор: «горе в проказе», «сердце в экземе», «нательная болезнь души», «печаль, гремящая, как ртуть в пустоте Торричели», где первым членом сравнения является эмоция, — а второй заимствован поэтом из арсенала патологии или физики.

Вещность сравнений роднит Пастернака с футуристами (и имажинистами). Но он резко отличается от них двумя свойствами: перегруженностью культурой и живым ощущением природы, свойствами, которые на первый взгляд кажутся противоречащими друг другу. Насыщенность культурой, живая и интенсивная связь с прошлым, литературные, музыкальные и прочие реминисценции сразу бросаются в глаза даже при беглом чтении Пастернака (если только такое чтение его, вообще, возможно). Байрон, Эдгар По, Киплинг,. Лермонтов, Бах, Бетховен, Ракочи, Шекспир, Торричели, Ватто, Фауст, Вертер, Маргарита, Мефистофель, Изольда, Тристан, Гамлет, Офелия, Дездемона, Антей, Аталанта, Калидон, Троя, Елена, Спарта, — вряд ли у какого-нибудь современного поэта можем мы встретить на пространстве нескольких десятков страничек такое богатство и разнообразие — имен собственных, попавших сюда в силу какой-либо литературной, музыкальной или иной ассоциации «культурного» типа. Сюда еще надо прибавить: амфоры, вакханок, фатаморганы, Эоловы арфы, арумы, бумеранги, зурны, Дарьялы, Ганги, Анды, пустыни, мамонтов и т. д. и т. д. — и мы получим некоторое представление о том налете книжности, который покрывает стихи Пастернака и до такой степени резко контрастирует со свежестью их эмоционального тона, что этот контраст свежести ощущения и почти гелертерской перегруженности культурным балластом составляет, быть может, самую характерную в своей неповторяемой странности черту поэта. Не-

сомненно, что Пастернак наиболее культурный из наших поэтов. Увлечение музыкой и философией, немецкими и французскими лириками явственно сквозит из его стихов. Для него культура прошлого — не мертвые знаки, а живой и внятно говорящий смысл. Он ясно ощущает свою преемственную связь с ней, — и через века и десятилетия перекликается с Шекспиром и Гете, Лермонтовым и Ленау. Это ощущение культурной преемственности отличает его от футуристов, с которыми обычно его об'единяют в одну группу. Футуристы старались оттолкнуться от всей культуры, созданной прошлым, — при чем скорее в силу чувства, чем знания: они ее знали плохо. Пастернак не заставил бы, подобно Маяковскому, Льва Толстого и Руссо прислуживать Вильсону, — во-первых, потому, что он их читал, во-вторых, потому, что он их понимает.

Другой особенностью, отличающей Пастернака от футуристов [1], является, как я уже указывал, развитие и даже преобладание в его творчестве пейзажа. В этой области футуристы не дали ничего значительного. Для Маяковского природа — только повод поострить, порассуждать, покаламбурить. Ощущение природы у него слабо и бедно. Наоборот, у Пастернака все лучшее в стихах связано с пейзажем. Он ощущает природу остро и своеобразно.

Как картины импрессионистов образованы рядом красочных пятен, которые, если мы отойдем от них на некоторое расстояние, образуют, сливаясь и налегая друг на друга, впечатление целого — так и пейзажи Пастернака состоят из комплекса ощущений, которые накладываются одно на другое с тем, чтобы дать общий эмоциональный тон. Техника пятен у Пастернака сохраняется. Пейзажи его трудно даже назвать пейзажами.

Это — не описания природы, а — ощущения ее. Об'ективная данность исчезает за суб'ективным моментом, растворяется в нем. Если лирика Пастернака пейзажна, то и пейзаж его лиричен. Больше того: суб'ективен, деформирован, распылен на ряд атомов — ощущений. Если продолжить аналогию с живописью, то Пастернака надо будет сравнить не с первыми импрессионистами — типа Моне, — сдержанными, обузданными уздой реалистической логики, — а с импрессионистами поздними, с «пламенеющим» импрессионизмом далеко шагнувшей деформации и огромной гиперболизированной яркости красок:

> Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
> Целовал вас, задохнувшись в охре, пыльцой.
> Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
> За плетень, вы полям подставляли лицо
> И пылали, плывя по олифе калиток,
> Полумраком, золою и маком залитых.
>
> Это круглое лето, горев в ярлыках
> По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,
> Сургучом опечатало грудь бурлака
> И сожгло ваши платья и шляпы.

---

[1] Исключение составляет Хлебников, но это наименее урбанистический из футуристов.

Это ваши ресницы слипались от яркости.
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.

Не менее характерен, чем солнечный пейзаж, для Пастернака другой ряд: ночь, дождь, гроза, рассвет. Здесь он интимнее, задушевнее, проникновеннее. Здесь он больше всего приближается к Тютчеву. Но между ними остается огромная разница. При всей своей проникновенности, Пастернак в восприятии природы все же дачник. Он видит природу в саду, в парке, на даче, из окна вагона. Для Тютчева гроза была прорывом в хаос, скрытый за внешней видимостью вещей, и зарницы вели между собой беседу, как демоны глухонемые. У Пастернака —

Снявши шапку
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Хаос и кодак — вот характерное противопоставление. В дачном образе Пастернака — острое ощущение горожанина, старающегося перевести природу на свой эксцентрический язык. Могут, конечно, сказать, что в «принижающей» конкретности Пастернаковского сравнения и проявляется торжество материалистического воззрения на природу: мир движется по «неизменным и железным» [1]) законам — и нет никакого хаоса за внешней видимостью. Что ж, это правильно: хаоса, действительно, нет, равно как не существует демонов — ни глухонемых, ни с нормальным слухом и речью. Но все же в таинственном и глухом говоре Тютчевских стихов есть своя внутренняя правда. Его хаос — хаос внутреннего мира человека, проэцированный в природу. Для Тютчева природа — мир не только ощущенный, но и прочувствованный. Не комплекс ощущений, но какое-то целое, язык и смысл которого он хочет угадать. Поэтому в его картинах природы есть та грандиозность, которой не достает великолепному, но дачному пейзажу Пастернака.

—

Я попытался установить ряд особенностей и приемов Пастернака. Теперь следует ответить на вопрос, поставленный в первой половине статьи: каков же их социальный смысл и взаимная зависимость?

Попробуем из отмеченных особенностей выделить такую, которая являлась бы центральной, обуславливающей остальные. Ее найти нетрудно: это — ограниченность тематического поля, разрыв социальных связей, камерность.

Разрыв социальных связей в поэзии соответствует разрыву или ослаблению социальных связей в реальной среде, ее породившей. Камерная лирика возникает там, где меньше всего ощутим пульс классовой борьбы. Для

[1]) Выражение Гете.

того, чтобы расцвела поэзия intérieur'а, нужны известные материальные предпосылки: обеспеченность, комфорт, культурная обстановка. Ее не могут создать те, что вынуждены бороться за существование, отдавать большую часть дня физическому труду, жить в грязных и темных жилищах. Но и обеспеченность не является достаточным условием ее развития. Буржуазия, непосредственно «делающая жизнь», буржуазия торговая, спекулирующая, играющая на бирже, владеющая фабриками и заводами — служит плохой питательной средой для нее; для этого она слишком активна и слишком мало культурна. Настоящий субстрат камерной поэзии — та часть интеллигенции, которая сумела завоевать себе достаточно видное и почетное место в обществе, та верхушка ее, которая перетерпела буржуазное перерождение. Она обладает нужной степенью материальной обеспеченности и в культурном отношении значительно превосходит буржуазию, на которую поэтому представители ее часто смотрят с пренебрежением, сверху вниз. Она распылена, атомистична; социальные связи слабы внутри этой группы, они слабы также между ней и другими группами. Она не чувствует себя чем-то целым или частью целого. Она в стороне от непосредственного «делания жизни».

Богема тоже в стороне от «делания жизни», она тоже распылена. Но она только добивается того, чего эта группа уже добилась. Поэтому она является гораздо более революционной: она отрицает, бунтует, ненавидит. Ее бунт против общества не слишком серьезен: он не грозит буржуазии гибелью или даже просто опасностью. В нем больше молодой зависти, чем классового сознания. Но все же это бунт. У Пастернака бунта нет. Пастернак — выразитель высоко-культурной интеллигентской верхушки, «потомственной» интеллигенции, на которую господствующий класс наложил неизгладимый отпечаток.

Когда тематическое поле ограничено — поэт уходит вглубь, — прежде всего, вглубь себя. Психологический анализ (вернее самоанализ) доводится до предельной тонкости, до неразложимого эмоционального атома, до ощущения, в котором психологическое содержание сведено к минимуму. Последовательно развиваясь, психологизм Пастернака приходит к самоотрицанию.

Но переход от эмоции к ощущению можно представить себе и как следствие иного причинного ряда. Тот интимно-камерный материал, который остается у поэта в результате тематического ограничения, слишком уж не нов, если угодно «затаскан». Разбивка на ощущения освежает этот старый материал, показывает его с неожиданной стороны, служит как бы приемом обновления. Разумеется, существование этих двух причинных рядов не является противоречием. Мы можем их разграничить лишь чисто теоретически. Для поэта — в его сознании или подсознании — они сливаются в одно.

Переход к ощущению вызывает, в свою очередь, как мы уже видели, строение стихотворения по ассоциациям и эмоциональную линейность. Есть, таким образом, взаимозависимость и внутренняя логика в развитии приемов Пастернака: один из них обуславливает другой, подымаясь вверх,

мы доходим до одной исходной точки. Но к сказанному следует внести некоторое дополнение. Ограниченность тематики толкает поэта к углублению в «личные» темы, она создает возможность утонченного, аналитического психологизма, доведенного до предела, до самоотрицания. Но для того, чтобы возможность эта перешла в действительность, для того, чтобы довести анализ до ощущения, — нужно действие дополнительного момента: суб'ективизма. Он есть следствие того же социального бытия интеллигенции; ее распыленности, когда изолированный человек начинает рассматриваться как самодовлеющее целое, а потом и как единственная реальность. Такой крайний суб'ективизм возможен, конечно, только в эпохи застоя, реакции[1]); именно в такую эпоху зародилась поэзия Пастернака. Не только эмоция распылена на ощущения. Весь мир представлен как сеть, как комплекс ощущений, где исчезает граница между миром об'ективным и внутренним миром человека — и самый вопрос о существовании об'ективного мира кажется праздным. Пастернак выражает в поэзии то же самое, что Мах выразил в философии. Для об'яснения этого факта вовсе не нужно допустить прямое влияние философа на поэта и даже знакомство его с Махом.

Дальнейшим развитием суб'ективизма является у Пастернака опущение ассоциативных звеньев и смещение смысловых плоскостей. Отчасти они являются следствием строения стихотворения по ассоциациям. Но только отчасти. Ни пропуск ассоциаций, ни смещение плоскостей не могут быть выведены из установки на ощущения целиком. Они производятся слишком часто и слишком охотно, чем это требуется такой установкой. Причина, как мне кажется, лежит здесь все в той же ограниченности пастернаковского материала, который нуждается для своего освежения в ряде приемов, создающих эффект неожиданности. Смещение плоскостей и опущение ассоциативных звеньев приводит к смысловому разрыву, к затрудненности понимания. Та же вещь, которая прозвучала бы обыденно или банально, приобретает характер новизны и значительности, когда вам приходится ее разгадывать, когда то, что должно быть показано, видно только отчасти, краем. Пастернак играет смысловым разрывом и кажущейся алогичностью как приемом.

Но почему он выбрал как прием для освежения материала именно смысловой разрыв («непонятность»)? Ведь есть и другие приемы. Почему он остановился на смещении плоскостей? Смещение плоскостей — общий прием футуристической школы, это — не личная особенность Пастернака. Он порожден суб'ективизмом, свойственным интеллигенции, как группе, и обостренным в эпоху возникновения футуризма, в предгрозовый и закатный период буржуазной культуры.

Но чем об'яснить обаяние Пастернака? То, что он стал в известном смысле центральной фигурой нашей поэзии, от которой расходятся силовые линии во все стороны? Сущность этого обаяния как будто ускользает от анализа. Попробуем все же ее определить. Во-первых, большую роль играет мастерство Пастернака, его рифма, его синтаксис, очень своеобразный.

---

[1]) Все реакционные эпохи суб'ективны — говорил Гете.

Пастернак, как и Хлебников (по выражению Маяковского) — скорее поэт для поэтов, чем для широкой публики, для которой он слишком труднопонятен. Его приемы растаскиваются («популяризируются») поэтами поменьше, но побойче — и в читательскую массу проникают уже через их посредство. Но одним мастерством дела не об'яснишь, тем более, что Пастернак меньше всего является мастером-техником (т.-е. поэтом, замкнувшимся в «мастерство», в технику).

Пастернак открыл если не новый мир, то новый элемент для поэзии: ощущенье. Вещи, раздробленные на ощущения и вновь созданные их соединением, показались уже другими вещами, никогда не виденными. Какой-то помолодевший мир выглянул из стихов Пастернака. Он был не широк, этот мир, он был ограничен стенами комнаты и решеткой сада, но он был полон каким-то напряжением. Я не разделяю общепринятого взгляда на динамичность Пастернака: я думаю, что ее сильно преувеличивают. В его стихах чувствуется другое: как бы предгрозовая напряженность, готовая вот-вот разрядиться. Я только думаю, что не надо эту напряженность (и даже динамичность) ставить в прямую связь с революцией — и отсюда выводить о революционности Пастернака. Это слишком незамысловатый силлогизм: революция — движение, в стихах Пастернака — движение, значит стихи Пастернака революционны.

Вот эта свежесть и напряженность Пастернака, думается, и есть то главное, что составляет обаяние его стихов, о которых Эренбург говорит, что ими можно дышать перед смертью, как кислородом подушки. При своем высоком мастерстве Пастернак не поэт-техник, а подлинный поэт с яркой кровью и с сердцем, способным не только биться, но и чувствовать. По своему складу это поэт — фетовско-тютчевского типа — и даже, отойдя несколько далее вглубь времени, типа немецких романтиков. Поклонник Скрябина, воспитанник Марбургского университета, человек, от которого музыкальная, философская и литературная культура заслонила собой реальную борьбу человечества, — разве не похож он на друзей из «Серапионов братьев» [1]), на этих умных, талантливых, тонко-чувствующих людей, вовсе не равнодушных, вовсе не эгоистов, но ограничивших свой мир любовью и искусством, — старыми книгами, сказками Гоцци, симфониями Моцарта?

В последнее время Пастернак старается разорвать камерный круг своей поэзии. Он пишет поэму о 1905 годе. Пока то, что он делает в этом направлении, далеко от совершенства. Его стихи все еще разбиваются на ряд самостоятельных строф, описания природы доминируют и, по выражению одного поэта, Пастернак говорит о море и о восстании одинаковым тоном. Но перейти от камерной установки к социальной — никому не удается сразу. Особенно Пастернаку — поэту честному до конца, который может или писать искренно на все 100%, или вовсе не писать. Но зато люди такого склада, ступивши на новый путь, доходят по нему до конца. Человек — пластическая глина — и время лепит из него то, что времени нужно.

---

[1]) Гофмана.

«В общем и целом».

(Летний фельетон).

А. Воронский.

«Окружиша мя тельцы тучны, мнози».

1.

Уважаемые граждане и не менее уважаемые гражданки!

Мне скучно. Мне скучно и огорчительно.

Еще недавно, пользуясь языком классиков, жизнь моя текла на эмпиреях и в прелестях неиз'яснимых.

А теперь?

«Разочарованному чужды все обольщенья прежних дней».

Согласен — причины моей скуки и моих огорчений лишены мирового масштаба и даже ничтожны; согласен — скучать и огорчаться не полагается. Я не оправдываюсь, я только об'ясняю, пытаюсь понять.

Начнем по порядку.

Бесспорно, на меня дурно повлияло лето: дачи, поезда, дары природы. Говорят, что лето обычно не для меня.

Мне памятно, как тащился я на-днях 6 верст от полустанка до своей деревни в обеденную пору. Опаляемый немилосердным солнцем, обвешанный болтающимися кульками, свертками, узлами, пакетами, воплощая, таким образом, как бы живой и подвижный «Мюр и Мерилиз», обливаясь едким изнурительным потом, я созерцал, ежели опускал глаза долу, вылезший изо рта на добрую четверть аршина свой лиловый язык; он свалился на правую сторону, болтался безнадежно и немощно. Я мог бы подивиться его непомерной величине, но я был занят другим.

Не скрою и каюсь: несмотря на изнеможение и на красные пятна в глазах, я роптал. Я роптал на дружеские посещения, на несвоевременные ссоры, на свою строптивость, на странных редакторов, на скоропалительность товарищей и еще на многое.

Я говорил себе: — когда же, наконец, ты утихомиришься, когда перестанут непристойно поносить тебя на всех перекрестках кому не лень, когда ты постигнешь вещую и высшую премудрость золотой середины? Вспомни завет отцов твоих: ласковое теля двух маток сосет.

Я попытался настроить себя на бодрый лад стишками: «И вечный бой! Покой нам только снится», но стишки прозвучали фальшиво и дрянно.

Поднимая густую и желтую пыль, с ревом мчался на меня автомобиль. Всем своим пренебрежительным, уверенным, нервным и горячим существом он будто говорил мне словами одного Лесковского героя:

— И что ты, прости господи, как какая-нибудь Спиноза, промежду ног путаешься!

Я успел разглядеть клином подстриженную бородку и легкий газ, бодро трепыхавшийся через женское плечо.

Мысли мои приняли еще более мрачное направление.

— Эх, — вспоминал я, — и ты когда-то носился на автомобилях и пожирал, так сказать, пространства. Около тебя тоже покачивалась эдакая русая или каштановая самоотверженная головка, задорно и обещающе дразнила тебя кисея. — Правда, как только садился я в автомобиль, лицо мое надувалось и глупело, но все же, бывало, приедешь в учреждение с полным сознанием ответственности и трудности предстоящих задач и, натурально, распорядишься, облагодетельствуешь, одним словом. И все довольны, и всё благоденствует. Трифелия Нарцизовна, советская гражданка, личная секретарша с мелкими кудряшками и всасывающими глазенками, подкладывает тебе на стол одну бумагу за другой, а ты без раздумий, величественно, но демократично полагаешь твердой, неукоснительной рукой: «к сведению», «предложить», «оставить без последствий», «согласовать», «передать в комиссию», «в архив». И опять все довольны, и всё благоденствует. А ты уже спешишь, хватаешь портфель, делаешь эдак ручкой гражданке Трифелии, говоришь «пока», садишься опять в автомобиль с убеждением, что вполне заслужил кожаную подушку, и уже распоряжаешься на новом поприще в состоянии божественного административного оголтения.

Где ты, незабвенное время?

«Голова ж ты моя удалая, до чего ж ты меня довела!»

... Дома случились неприятности. Торжественно разложил я на столе колбасу, мясо, огурцы, воблу, редиску и прочую снедь, все было добро зело, но меня подвел проклятый чеснок.

Мадам развернула кулек, нашла в нем 50 головок, всплеснула руками, пронзительно посмотрела на меня:

— Ты это к чему же купил столько чесноку, ведь на пять лет хватит?

— Солить огурцы и про запас, — хладнокровно и вполне нахально ответил я.

Мадам безнадежно махнула рукой, напомнила о людях, способных пожертвовать лбом, ежели их заставить молиться. Она сказала, конечно, не «люди», а даже совсем иначе, но я из уважения к своему редакторскому званию и ради поддержания субординации среди попутчиков передаю это место приблизительно и вольно.

Я уединился, извлек из портфеля рукописи и здесь огорчился вновь. Из гигиенических соображений я положил мясо в портфель; дорогой бумажная обертка порвалась, кровь и жир запачкали поэму, две повести и тетрадь

со стихами. Я убедился, что поэма, повесть и стихи не отличаются высокими достоинствами, их надобно возвратить, но возможно ли показать их авторам, если на них запеклась кровь и расплылись жирные пятна? Невозможно.

— Скажу, что меня обокрали беспризорные на вокзале, или, еще лучше, напали бандиты в лесу. Будут выражать соболезнование, слава же моя возрастет.

Остановившись на этом решении, я предался отдохновению и созерцанию красот природы. Увы, и здесь мне не повезло. Крадучись вдоль забора, прошмыгнул старый, облезлый кот, лениво проплелась собака с отвислым гноящимся ухом, огненным злым драконом жгло солнце. Стаи мух облепили мое бренное тело, я не успевал с ними справляться. Ночью назойливо лезли комары, под окном орал петух, гоготали под утро гуси, визжал поросенок, блеяли овцы, мычали коровы, опять напали мухи. Но мне ли состязаться с классиками, сравнюсь ли я с ними в изображении родных флоры и фауны, смогу ли я прибавить что-либо новое? Нет, не смогу. Но если втуне мне состязаться с ними, то не лучше ли по-военному «отставить», отослав читателя к непревзойденным страницам? Безусловно лучше. Скажу только: «в общем и целом» — нехорошо мне было и даже дрянно.

Утром я поспешил в город. Дорогой занимался резиньяциями на тему: «как дошел ты до жизни такой?», опоздал купить через то билет и уплатил штраф в тройном размере во благо и преуспеяние тов. Халатова.

2.

В редакции меня преследовали огорчения. Пришел Жиц, Федор Жиц. Его почти одновременно почтили вниманием «Комсомольская Правда» и журнал «На литературном посту». Жиц, Федор Жиц, являл собой вид невинно-умученный, но гордый и независимый. Он еле подал мне два пальца, бросил вскользь несколько фраз о поседевших в литературных боях, заявил, что отныне он рецензий и статей больше не пишет, а только «труды» подобно профессору Карееву, закончил же об'яснение патетически:

— Чем ночь темней, тем ярче звезды!

Я полюбопытствовал: о каких звездах идет речь? Федор Жиц загадочно помолчал; помолчав же, напомнил, что высшая добродетель ума — рассматривать вещи под углом вечности. С ледяной вежливостью он изысканно дотронулся до шляпы, выплыл из редакции с отменным, пышным и многоопытным видом. Мне почему-то вспомнился Гомер и Гектор: «ей отвечал благородный, шеломом сверкающий Гектор».

Жица сменил поэт. Он принес стихотворение в 24 строки, требовал незамедлительного ответа. В конце стихотворения «потешусь» рифмовалось с «повешусь».

— Вы решили повеситься? — деловито, но по возможности участливо осведомился я.

— На крючке, — кратко, тоже деловито и с готовностью ответствовал поэт.

— Причины?

— «В общем и целом», но есть и частности. Написал повесть в стихах «Погибель», ни один редактор гибнуть не желает. Кроме того, меня с'едает печаль по полям, лесам и по родной крапиве.

— Позвольте, — заметил я, — вот уж сколько лет вы жалуетесь на эту печаль и тоску и в стихах и в прозе. Что же, собственно, мешает вам насладиться до-сыта, до-отвала долами, нивами и дубравами?

— Не могу, — отвечал поэт, — тогда пропадет вдохновение, я не напишу ни единой стоющей строки. Нет, удавлюсь.

— Не давитесь, — уговаривал я.

Удавлюсь.

— Не давитесь.

— Удавлюсь.

Разговор наш был прерван появлением нового поэта. Он держал цигарку в зубах, вид имел экстатический и распространял вокруг себя столь спиртуозный и махорочный дух, что я по привычке критика и по преступной приверженности к классикам невольно вспомянул о философах Гоголя из «Вия». — «От них, — писал Гоголь, — слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух».

Поэт об'явил, что он — единственный и неповторимый, что все иные прочие — шваль, что он страдает от всеобщего равнодушия, от непонимания читателей, друзей, критиков, редакторов, — стукнул волосатым кулачищем по столу, потребовал аванса. Не получив же, успокоился, полез умиленно целоваться.

Засим любезнейший и тишайший Сергей Антонович Клычков осчастливил меня открытием — тоже в стихах — относительно нового очажного беса. Попутно он рассказал, что в марте деревья в лесу ходят, танцуют и водят хороводы. За все это предложил уплатить ему пока один единственный червонец... Я же утверждал, что после успеха «Сахарного Немца» и «Чертухинского Балакиря» ему не пристало брать в редакциях меньше 300 рублей, в единственном же червонце отказал. Тогда Сергей Антонович заявил, что нет правды на земле и что никто не смеет вмешиваться в его личную и тем более в семейную жизнь, с чем я согласился.

Гурьбой ввалились пролетарские поэты. Один из них, тонкий как лоза, принес превосходные стихи, но держал себя до того неприступно, что далеко оставил после себя Федора Жица. Он не ходил, а шествовал, не шагал, а ступал, — он носил себя, как носят сосуд, до краев наполненный божественной влагой. К тому же одет он был с явным буржуазным уклоном. Я осторожно заговорил о комчванстве. Поэт осерчал, я поспешил «взять слова обратно».

Пришли прозаики, народ, как известно, положительный и осведомленный. Прозаики смотрели на меня странными глазами, как бы созерцая пустое место.

— В чем дело?

— В том дело, — об'явили мне, — что вы перестали существовать.

Пораженный столь диким и необычайным происшествием, я надевал очки, ощупывал себя, щипал, я, наконец, возражал.

— Ничего не значит, — говорили мне, — ничего не значит. Вы — существо, но существо уже ирреальное. Вы ведете эфемерный и мэт-эмпирический образ жизни. Вы — дым и пепел, призрак, мираж, тень. Вы — порождение лишь вашего собственного воображения.

Напор прозаиков был велик и могуч, я сдался и мало-по-малу уверился в своем собственном небытии.

Вы желаете, бессомненно, знать, какое состояние я пережил тогда? Вы ожидаете открытий, психологических углублений, гносеологических изысканий? Ничего подобного я представить не могу. Удивление вскоре миновало, мне стало скучно. Только и всего. Я думал: — вот руки мои и вот ноги мои. Зачем мне отказывать в авансах, ожидать самоубийств, тащиться в жару в поисках тихого семейного счастья и добродетельного образа жизни, ежели меня нет? Глупо, очень глупо. Словом, ничего сложного.

Уверившись в своем небытии, я начал уверять в том же и других. Получилась кутерьма, кавардак, ерунда, нелепость. Утверждая свое небытие, я ссылался на моих приятелей, но вскоре явились новые приятели — поэты и прозаики. Они доказывали, будто они слышали от первых приятелей, которые якобы слышали от меня, что я перестал существовать, правда ли это? Я попал в новый порочный и уж совсем призрачный круг, понес явный вздор, дрянь, заврался, сквернословил и, запутавшись, совсем обессилел.

Из этой двойной и тройной перепутаницы к чувству реальности возвратил меня наш счетовод Виссарион Казанский. Он поведал, что по случаю режима экономии он переименован в технического редактора. Я поздравил его. Но, выслушав поздравление, он присовокупил, что денег нет и не будет, если я не приложу каких-то героических усилий. Я решил приложить. Я звонил в «сектор» к Якубсону. Якубсон утешил меня заявлением: в других редакциях дела будто бы обстоят куда хуже.

Как раз в это время об'явился Алексей Толстой. Он вкатился, запыхавшись, в пальто на-распашку, с развевающимися фалдами, в шляпе на затылке, он явно спасался от фининспектора. От него я узнал, что он провел бессонную ночь: персонажи «Гиперболоида» у него все перепутались, был ужасный момент, когда автору неведомо стало, что с ними делать. Но снизошло осенение, роман распутался, герои покорно заняли подобающие им места; расправы с ними будут жестоки, беспощадны и колоссальны; роман закончится в сентябрьской книжке (читайте, читайте!), деньги нужны до зарезу.

— Уважение сему, — провозгласил я, поклонившись, следуя древнему китайскому обычаю, но денег не дал.

Из-за спины Толстого выглядывал необ'ятный Павел Щеголев. Он просил только совета: годится ли он, Павел Щеголев, быть в высших органах представителем мощного деревенского середнячества? Я попытался узнать, как обстоят дела с издательством «Былое». Он ответил туманно. Я посоветовал ему заказать поддевку из синего тонкого сукна, сапоги бутылкой,

остричь в кружок волосы. На вопрос, сколько пудов он весит, Павел Елисеевич скромно и двусмысленно заметил: «от девяти до пятнадцати». Я заверил, что он имеет шансы пройти в мощные середняки. Тогда он предложил мне «выгодное дельце»: издать 120 листов неизданной художественной прозы графа Салиаса. Я отказался, чем несказанно его огорчил.

Опять приходили писатели, требовали гонорар и авансы. — Недостает только Бабеля, — промолвил я про себя, с тоской поглядывая на дверь. В углу приглушенно, но проникновенно бормотал стихи синеокой девице В. В. Казин. Рассевшись на столах и стульях, писатели толковали «о нутре», о конструкции, о сюжете и бессюжетности, кто-то дробно сыпал рифмами.

Я улучил момент, выскользнул в дверь, стал пробираться согбенно и поспешно к трамваю, рискуя прослыть за уличного воришку. На одной из остановок мальчишка оглушительно орал:—самая веселая газета «Пушка».— Скопческого вида мастеровой пробормотал под нос: «газеты веселые, а жизнь скучная — дела!».

Я посочувствовал ему «в общем и целом».

3.

Вечером по предложению одного ответственного работника я старательно выписывал все ругательства по моему адресу из «На литературном посту» и из других журналов. Работа была гигантская. Я исписал 12 страниц, но тема оказалась далеко не исчерпанной. Я дошел до того места, где тов. Малахов в стихах отмечал, как чей-то грязный кулак отпечатался на моей физиономии, утомился, отложил работу в сторону и попытался отдать себя во власть «текущей литературы».

Время было проведено отнюдь не без пользы.

Из статейки Фатова в № 2 «На литературном посту» я узнал, что тов. Ленин в вопросах пролетарской культуры был «с нами», т.-е. с Фатовым. Я не мало подивился этому. Никто даже не знал, что тов. Ленин был во время оно с Фатовым. Открытие, несомненно достойное внимания тов. Каменева и Сорина, как руководителей Института тов. Ленина. В памяти всплыло из басни Крылова:

Ба, ты, косой, пожаловал отколе?
Тебя никто на ловле не видал.

Но я убоялся Юрия Либединского, его обличений и его «демократической жилки». Убоявшись, я благонравно задумал восполнить мои пробелы в марксистском литературоведении, углубился в его статьи. С первых же строк мне пришлось поникнуть в недоумениях, сомнениях и размышлениях.

На столе, рядом с достославными статьями несравненного марксиста Либединского лежала в красной обложке книжка стихов восторженного провинциального поэта. На титульном листе было начертано чернильным карандашом: «Вождю русской литературы А. К. Воронскому автор». От Либедин-

ского же я только что узнал, что я, напечатавший «гнусный документ», — разбитый «ликвидатор, которому осталась лишь ошалелая ругань».

Я задумался.

Задумавшись, я припомнил статью Степуна, напечатанную в зарубежных эсеровских «Современных Записках». В ней Степун советовал мне, отнюдь не дружески, перестать заниматься критикой и поступить в красные расстрельщики.

«Приняв все это во внимание», я в непродолжительном времени сбился с толку: вождь, ошалелый ликвидатор, расстрельщик.

Я попытался подыскать «социологический эквивалент» и воспользоваться марксистской методологией. Получалась чепуха и преестественный вздор. — Хорошо, — говорил я себе, — хорошо, будем отправляться от непреложного. Непреложное суть Юрий Либединский. Поверим ему: я — ошалелый ликвидатор, я — барин. Но почему, но почему тогда Степун изображает меня красным вурдалаком и ехидно предлагает сменить перо критика на маузер? Или вот: восторженный провинциал, наименовавший меня вождем, должен быть выразителем буржуазных, либо, по крайней мере, мелко-буржуазных и, во всяком случае, ликвидаторских интересов. Ничуть не бывало. Правда, он не принадлежал к испытанной ново-напостовской когорте, но все же законно считался не плохим коммунистом; в стихах его не содержалось ничего «идеологически невыдержанного».

Как же быть?

В своих недоумениях я не винил, разумеется, марксизм и не посягал — упаси боже — на непогрешимость Юрия Либединского. — Очевидно, — размышлял я, — очевидно, мешает суб'ективизм: трудно подыскать социологический эквивалент, если речь идет о своей рубашке и штанах.

Я вспомнил о моих утренних огорчениях в редакции. Вспомнив, я увидел, что и здесь отрицают мое подлинное существование; отрицает поэт, отрицает краса и гордость ново-напостовцев, отрицает глубокодумный Степун. В самом деле, существую ли я в природе и если существую, то в каковом именно качестве? Одно я знал твердо: я — не вождь, не ликвидатор, ГПУ в моих услугах не нуждается.

Я — не вождь. Хозяин моей дачи пьет еженедельно запоем 5 суток В первые дни моего поселения у него он бубнил за тонкой досчатой перегородкой, не стесняясь дачников. Но однажды он прочитал мою фамилию в «Прожекторе» и мгновенно сгинул. Обличительные и поучительные речи за перегородкой прекратились. Хозяин переселился в сарай, пить не перестал («двадцать три годика пью и все запоем»), но речи он произносит теперь на дворе, адресуясь почти исключительно к своим домашним животным. Я вижу: стоит он у телеги в разодранной и исполосованной синей рубахе, без пояса и без шапки, вращает мутными, как у мертвого судака, глазами.

— Молчать, — орет он хрипло, надсадно и грозно на петуха, голосящего победно на весь двор, — молчать, христопродавец, подлец ты эдакий! Не мешай заниматься интеллигенции. Молчать, в суп попадешь, стервец! Они

нас уму-разуму учат, стараются для нас, ночей не досыпают. Не понимаешь, дурак, они — отцы, а мы — их дети.

Потом он гоняется за визжащим поросенком, обличает корову, гусака, собаку Борзика. И от них он требует не мешать интеллигенции.

Иногда он не находит ни Борзика, ни поросенка Ваську. Тогда он сетует на одиночество.

— Куда вы все запропастились? — вопрошает он. — Н-никого не видно. Одна Т-т-танька, — икание, — показала зад и убежала; другие ничего не показали. Интеллигенция, — кивок в сторону моего окна, — тоже ничего не показала. Почему ничего не показывают?

Памятуя старания моего хозяина, речи об интеллигенции, об отцах и детях, я мог бы, пожалуй, с известными натяжками, признать себя в некотором роде и вождем. Но дело в том, что слова: «не мешай интеллигенции», «они — наши отцы» и т. п., он произносит со сдержанным, но явным ехидством и злорадством. Я убежден, будет некогда день, моему хозяину наскучат речи пред петухом, курами и свиньей, ворвется он ко мне и попытается учинить мордобой с соответственными пяти-этажными словоизлияниями.

Нет, сомнительно уважение моего хозяина и его старания, и какой же я, право, вождь?

Я — ликвидатор? Но почему я, собственно, должен оправдываться в ликвидаторстве? Потому что об этом прописано у Юрия Либединского? Поистине, мнение это необязательно даже и для Либединского. Брань на вороту не виснет. Один назовет тебя ликвидатором, другой фальшивомонетчиком, третий пауком, четвертый крокодилом. «Поди и доказывай, что ты — не верблюд». Не хочу доказывать, тем более, что решительность выражения Либединского обратно пропорциональна его успехам в качестве писателя: чем хуже он пишет, тем забористее выражается. Затем, он не точен. Например: написано им: «всегда Воронский был достаточно чужд марксизму». Всегда! Прибавьте: с 1904 года! Это станет точней.

Степун одержим белыми галлюцинациями. Ему представляется: сидит в редакции эдакий заплечных дел красный мастер с маузером в руках и «обрабатывает» еле живых писателей.

— Кррови жажду, — рычит он звереподобно. — А подать мне сюда этих, как они там прозываются, писак разных! Как? Что? К стенке!

И пьет кровь страшный, красный вурдалак, и гибнут Леонов, Бабель, Иванов и Клычков в нечеловеческих муках, и бессильны защитить их даже гостеприимные «Современные Записки».

Какой кошмар!

Утомившись от размышлений и анализа, я попытался развлечься. В одиночестве, противным и гнусным фальцетом, но с чувством я затянул: «Позарастали стежки-дорожки, позарастали мохом-травой». Но удовольствия от своего голоса не получил. Умаявшись, я затосковал ни об чем, лег спать.

Во сне мне приснилось, будто гоняется за мной с ножом булатным Юрий Либединский в распояску, глаза горят мрачным изуверским огнем. Позади его группа «На литературном посту». Меня хватают за шиворот, тащат. Либединский раскладывает преогромнейший костер из своих произведений, бросает меня в огонь. Я радуюсь тому, что горят евонные рукописи и книги, но ужасаюсь своей погибели. Ново-напостовцы устраивают вокруг костра дикий победный каннибальский танец, медленно поджаривая меня на огне. Неожиданно появляются Лелевич, Вардин и Родов. Вардин приводит с собой персидский отряд старых напостовцев; Родов — во главе тунгузов, бурят и якутов. Лелевич предводительствует, он — начпоарм. Меня спасают. Взявшись за руки, мы идем по улицам и орем коммунэры Родова, Вардин восхищенно цитирует самые попутнические места из моих статей, я же помимо исполнения коммунэр жарю целыми страницами из книг Лелевича. И никто нам не препятствует, наоборот, народ венчает нас листвою винограда и льет на наши головы благовония.

Утром я бежал в деревню, оставив позорно на произвол печальной судьбы писателей, рукописи и редакцию.

4.

Итак, существую ли я и, если существую, то в каковом качестве?

Я возвратился в деревню. Был розовый вечер, небеса говорили о вечности. Подробности у классиков. Я размышлял о своем бытии.

Маленький бесенок в короткой юбочке, в матроске, с пионерским галстухом, с'ехавшим в сторону, с бронзой на щеках, на плечах, ногах и руках, постучался настойчиво в дверь.

— Товарищ, я принесла вам любимую вашу траву. Нюхайте.

Бесенок положил на стол куст полыни, отер рукой капельки пота, лукаво посмотрел на меня, скрылся.

Ответы на «проклятые вопросы» — просты. Как в любимой Л. Н. Толстым притче-загадке. Некто увидел сон. Плывет он в лодке с двумя женщинами. Одну он любит, но она равнодушна к нему. Другая любит его, но он равнодушен к ней. Неожиданно поднялась буря, опрокинула лодку. Женщины стали тонуть, он один умеет плавать, но он не может спасти одновременно обеих. Что делать?

Ответ: проснуться.

Мне тоже нужно было проснуться. Я безуспешно искал решения вопроса — кто я. Меня запутали. Меня возводили в вождя, низводили в ликвидаторы, изображали вурдалаком, даже отрицали мое существование.

Ответы на проклятые вопросы не только просты, но часто и нечаянны. Ламеттри в «Системе Эпикура» рассказывает: «известен случай с художником, который никак не мог изобразить покрытую пеной лошадь; цель была достигнута, когда он в отчаянии бросил свою кисть на полотно и получил необыкновенно удачное изображение пены».

— Товарищ.

Этот веселый чертенок нечаянно и просто вывел меня на прямую дорогу.

«В общем и целом» я — товарищ. Но я — товарищ, полной грудью вдыхающий сейчас горький, но бодрый, родимый и здоровый запах полыни.

Все распуталось.

Мне уж не скучно и не огорчительно.

Прошу мой фельетон почитать летней шуткой.

Если можете.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

УЗЕЛ.

Борис Пастернак. Избранные стихи. — **М. Зенкевич.** Под пароходным носом. — **Павел Антокольский.** Запад. — **Павел Радимов.** Телега. — **София Парнок.** Музыка. — **С. Федорченко.** Пять ветров. — **Бенедикт Лившиц.** Патмос.— **Сергей Спасский.** Земное время. — **Вера Звягинцева.** Московский ветер.

Время, такое еще недавнее, когда стихи составляли три четверти книжной продукции, отошло безвозвратно. С авансцены литературы они постепенно перешли на задний план, а потом и вовсе почти скрылись за кулисами. В 21-м году их издавали много, в 24-м их издавали мало, в 26-м совсем перестали издавать. Двери издательств наглухо закрылись перед оперившимися поэтами. Лишь для немногих счастливцев осталась лазейка. Но для того, чтобы попасть в их число, надо сперва умереть. Такая перспектива улыбается не всякому. Нет поэтому ничего удивительного, что полтора десятка поэтов объединились с тем, чтобы издавать свои произведения еще при жизни. Эта героическая — по нынешним временам — попытка заслуживает всяческого уважения. Я не знаю, окажется ли «Узел», завязанный поэтами, достаточно прочным. Я даже думаю, что из десятка выпущенных этим объединением книг половина могла бы преспокойно лежать в портфеле редакции. Но все-таки и оставшегося довольно для того, чтобы оправдать его существование. «Узел» показывает поэтов, произведения которых мы сравнительно редко встретим на страницах наших журналов, а книг не найдем на полках магазинов. Они пишут мало и скупо, печатают их еще скупее и меньше. Имена их не пользуются широкой популярностью. Между тем среди них есть интересные и своеобразные поэтические индивидуальности, ярко окрашенные, а некоторые оказывают сильное влияние на современную поэзию.

На первом месте надо, конечно, поставить Пастернака. О нем я подробно писал в своей статье и здесь повторяться не стану. От Пастернака прямая линия ведет к Антокольскому. Это линия не только преемственности, но и ученичества. Антокольский — ученик Пастернака, хотя и преломивший приемы учителя довольно своеобразно.

Он произвел театрализацию Пастернака. Застенчивый, интимный и косноязычный Пастернак в стихах Антокольского задекламировал, приобрел эстрадный блеск и светскую развязность, полированную гладкость антитез и шумную пышность риторики, театральный романтизм и ростановскую эффектность. Он ростанизировался. Недаром в одном из его лучших стихотворений («Ночной разговор») читаем:

> «И в железные скрепы вцепившись,
> дугой перегнулись над пропастью тот
> и другой.
> И гроза озарила им сцену».

Именно — сцену. Это не случайная обмолвка. Поэмы Антокольского разыгрываются на сцене. Их персонажи — действующие лица драмы или — еще лучше — актеры. Они в гриме и костюмах. Вся глубина и задушевность Пастернака исчезла в этих стихах. Они внешни и блестящи. Нельзя отрицать их достоинств, их торжественной стремительности (это не contradictio in adjecto, хотя и имеет видимость такового), их яркости и звона.

— Кто позвал меня?

Буря громовых рулад... И орлы как бывало на флагах крылят в поднебесьи когда-то орлином. И как черное пиво, как липы в грозу, прошумело:

— Ты слышишь? Уже я грызу кандалы под бетонным Берлином...

Кто познал меня?

Прытче вагонных колес по витью нескончаемых рельс пронеслось:

— Кто дает мою страшную цену?

И в железные скрепы вцепившись, другой перегнулись над пропастью тот и другой.

И гроза озарила им сцену.
Я позвал тебя. Думаешь — тот.
Персонаж философского действа.
Ты на кукольный сон не надейся.
Я реален, как сток нечистот.

Ты же сам мне солгал, обещав,
Что на черных конях непогоды,
Что в широких как юность плащах
Мы промчимся сквозь версты и годы».

В противоположность Пастернаку, Антокольский весь обращен к общественности. В «Западе» нет ни одного любовного или, вообще, «чисто-лирического» стихотворения. Темы стихов: приближающаяся гибель западной культуры, глухой голос революций, пробивающийся сквозь джаз-бандовский шум. Иногда Антокольский напоминает Эренбурга:

И сквозь кайенский вкус дождей,
Асфальтов гарь седую
Кочевья призрачных людей
В костры напрасно дуют.
Стрельчатых арок и стропил
Обуглен черный остов.
Пиратов и апашей пир
Покончен на погостах...
Застыла пышная постель
На ледниковых скалах,
В кресте рекордных скоростей,
В кольце блокад усталых.

Чаще, чем эти ноты безысходности, звучит ожидание революции:

Эй, сторонись, города!

— Рано иль поздно, — но я ударю.

Но всюду Антокольский остается верен себе. История разыгрывается как бы на подмостках. «Взвивается занавес века».

Совершенно иной тип поэта представляет собой З е н к е в и ч. Он, в основном, сложился еще до революции. Он находился на крайней левой акмеизма, далекий от камерности Ахматовой, экзотики Гумилева, эллинизма Мандельштама. В книжке Зенкевича, изданной «Узлом», нет некоторых характерных черт, свойственных автору «Дикой порфиры»: тяготения к физиологичности, «научной поэзии»; меньше подчеркнута любовь к технике, роднящая его с футуристами. Но по-прежнему у него — крепкая реалистичность письма (переходящая иногда в натурализм), несколько жесткая мужественность, сильно осложнилась своеобразная, иногда искусственная рифмовка (помимо обычных рифм и ассонансов, — рифмы типов: мама — мимо, взвыть — звать, попробуй — пробой, где то общее, что при совпадении согласных не совпадают ударные гласные). У Зенкевича нет лирических арий, нет и той свободной, лирической струи, которая льется в стихах Есенина. Лиризм просачивается у него между строчек и слов тяжелыми, медленными каплями. Его муза хмурая и смотрит исподлобья. В нем сказывается тяготение к трагическим, сумрачным, «свинцовым» темам («На Титанике», «Наводнение в Ленинграде», «Бухгалтерская баллада», «Лунная соната», «Отходная из стихов», «Крещенское купание», некоторые стихотворения из «Декабристов»). Лучшими стихами в сборнике являются: «Пушкин», «Наводнение в Ленинграде», «Декабристы».

Каховский, ты? Здорово, брат!
По-прежнему в усердьи пылком
Все жаришь до ста раз под-ряд
Из пистолета по бутылкам?
Из темного угла не ты ль,
Сморгнувши выстрелом осечку,
Вдруг пулей загасил — в бутыль
Пустую воткнутую свечку?
Его скорее уберем,
Не то испортит всю пирушку,
И взбрендит спьяна, что с царем
Играет будто бы в кукушку.
А он, разлив стакан с вином,
Оцепенел и в ночь без цели
Прицелом глаз, уже в ином
Столетьи, сумасшедше целит.
И брошен на пол пистолет
Совсем разряженный. Что в этом?
Ведь долго ждать: через сто лет
Ударит пуля рикошетом.

Поэзии Зенкевича свойствен широкий кругозор, большой диапазон тем. Наоборот, Р а д и м о в замкнут в узком бытовом кругу. Это — поэт крестьянства, — пожалуй точнее — зажиточного кре-

стьянства. Вся его поэзия — жанровая, бытовая, «фламандской школы пестрый сор». В неторопливом течении гекзаметров и пентаметров развертывается каждый раз небольшая жанровая картинка, почти идиллия, где человек характеризуется не прямо, а косвенно, посредством вещей. Здесь — Радимов несомненно мастер. Но так как область его тем очень узка и ограничена, а подход больше внешний, то мастерство его получает характер однообразия.

В этих четырех книжках (Пастернака, Антокольского, Зенкевича, Радимова), — то положительное, что дал «Узел». Любопытна еще, пожалуй, сказка С. Федорченко «Пять ветров» (имитация народного творчества), — хотя и не представляет ничего значительного. Стихи С. Парнок («Музыка») могли бы и не появиться без большого ущерба для читателя, которому незачем в десятый раз слышать повторение Анны Ахматовой. При большом желании он может обратиться к оригиналу. Спасский и Звягинцева не имеют еще (или уже) собственного лица. А Бенедикт Лившиц является почти зеркальным отражением Мандельштама с его эллинизмом.

А. Лежнев.

Леонид Завадовский. В р а ж д а. Рассказы. Литературно-художественная библиотека «Недра». Издательство «Новая Москва». М. 1926 г. Стр. 151.

Прекрасная книжка Леонида Завадовского особенно заметна на фоне нашей, так наз. «деревенской», литературы, в конечном итоге довольно-таки серой, убогой и неправдивой. По значительности затронутых тем и по глубине, силе их проработки, книжка несомненно заслуживает пространного статейного разбора. Но нам, ограниченным размерами обычной библиографической заметки, придется удовольствоваться лишь кратким перечислением ее достоинств и тех незначительных недостатков, какие можно заметить при повышенной требовательности, которую мы вправе предъявить к Завадовскому.

Одним из особенно ценных качеств книжки является полная конкретность, реальность в изображении людей, обстановки и действия. Достигается это очень простыми приемами и свидетельствует о подробном, окончательном знании деревни, пейзажа, крестьянского быта и всего вообще уклада деревенской жизни. Завадовский организует и подает материал по-крестьянски. И это насквозь крестьянское восприятие среды, материала, темы, совмещенное с честностью подхода, со стремлением к объективности — наполняет рассказы Завадовского, кажущимся на первый взгляд мрачными, безотрадным, воздействием на читателя.

В этом смысле очень убедителен рассказ «Никитино счастье», в котором описывается, как бывший землевладелец и приспособившийся к Советской власти кулак отбирает принадлежавшую ему когда-то лошадь у бедняка Никиты. В рассказе показывается и произвол местного волисполкома, где секретарствует сын кулака Митрофан, и забитость Никиты, понимающего незаконность подобной «реквизиции», но не решающегося восстать против нее, и деревня, которая не умеет справиться с Митрофаном, а гнет перед ним шапку... Словом, «ужасы» нагромождены один на другой. По способу, сплошь и рядом практикующемуся в нашей «деревенской» беллетристике, автор, любящий без толку кричать ура и трезвонить в колокола, мигом расправился бы с этими ужасами, превратив реальную, сурово и сложно растущую деревню в идиллическую пейзанию: не трудно представить себе, как волей подобного автора мужики на протяжении 2—3 страничек становятся умными и сознательными, как арестовывают (обязательно!) Митрофана и как приводят обратно добродетельному, торжествующему Никите отобранную лошадь... И рассказ бы погиб, прошел бы мимо читателя, не оставив в душе у него ничего, кроме ощущения фальши и лжи. Завадовский же оставляет порок безнаказанным, — он безнаказанностью явного незакония придает особую трагичность концу и — добивается сильного впечатления: читатель возмущается, негодует, протестует против Митрофанов и готов к борьбе с ними за то н а с т о я щ е е «Никитино счастье», которому волей Митрофанов придается иронический смысл...

Тем же способом «от противного» приводят к революционному воздействию и большинство остальных рассказов. Впрочем тут, кроме отмеченных уже причин, виновна и та любовь, тщательность, с которой выписаны персонажи рассказов. Мужиков Завадовского читатель не может не полюбить. Зачастую забитые и не осознавшие своих послереволюционных правовых возможностей, показаны они с такой сложностью характеров, многообразием и органическим здоровьем, какие мы нечасто встречаем в современной литературе. В «Корне», например, прекрасно дается упорная и жаркая тяга мужика к земле, к труду на земле, к лошади, во «Вражде» — своеобразная тонкость этических запросов и богатство эмоциональной стороны мужицкой жизни...

С тою же любовью и тщательностью обработан и пейзаж, что придает некоторым пейзажным и охотничьим сценам вполне зрелую и мастерскую законченность.

Язык книжки прост, богат синтаксически и словарно, очень выразителен. Образы и эпитеты почти всегда имеют прямую связь с темой рассказа. Так, например, в рассказе «На белом озере» из северного, таежного быта, про женщину сказано — «она белая и извилистая, как горностай», в «Буруне», где вместо героя фигурирует сибирская лайка, говорится «льдины, как белые собаки, бежали друг за другом, грызлись и визжали». Очевидно, над языком и вообще над формой своей Завадовский много работает.

Но тем досадней выглядят отдельные промахи: почти превращающиеся в манеру неуклюжие перестановки слов — «не отрывая глаз от изодранных в клочья штанов об наст», «размокли от таявшего снега на потных горячих ногах»; или такое, например, неясное строение фразы: «собака с широкой грудью, мощной шеей, забронированной густой шерстью, как щитом, тонкими резвыми ногами»... Нехорошо также называть овец, коров и лошадей — «коровками», «лошадками», «овечками». Это придает языку оттенок некой сусальности, в то время как именно сусальности и слащавости враждебна самая сущность творчества Завадовского.

Борис Губер.

«Лемех». Литературно-художественный сборник группы Лемех. М. 1926 г. 185 стр.

Не знаю как кому, а мне неприятно в отношении начинающего писателя быть прокурором, а не защитником. — Я готов простить дебютанту всяческие недостатки, если я вижу, что в нем бурлит молодое и значительное косноязычие: — был бы огонь, форма найдется. Но если новичек развязен, боек и безвкусен, как опытный поставщик массовой «художественной» литературы, он резко и безжалостно от себя отталкивает. — Относится это замечание, главным образом, к Виктору Бабушкину, который представлен в сборнике двумя вещами. — В «Репьях» он рассказывает о пролетарских детях, которым приходилось, в недоброе старое время, с ранних лет начать трудовую жизнь, полную побоев, матершины, голода, бессердечия. — Хозяин груб и жаден, хозяйка развратна и не скрывает этого, мастера хлещут водку и беспрестанно сквернословят. — Не люди, а сплошная карикатура на человека. Эта атмосфера коверкает, уродует Витю, от имени которого ведется повествование, гибнут в подобных условиях и товарищи его, Митя и Вася. Казалось бы, что читатель должен проникнуться жалостью к гибнущим детям, желанием вывести на свежий воздух весь этот грязный и полупьяный мирок маленькой слесарно-механической мастерской. Но остаешься холоден и безучастен. Потому, что трагическая по существу тема трактуется разудалым тоном стиля «братишка», из которого гуманные, человеческие нотки вытравлены, как предрассудки «буржуазной культуры», и ничего, кроме брезгливого чувства, все эти большие и маленькие «герои» повести не возбуждают. О художественных достоинствах вещи и говорить не приходится. — Их и под лупой не сыскать. — Автор не умеет прочно и экономно распоряжаться тематическим материалом, пользуется он невыразительным, первым попавшимся под руку словом, глаз его лишен аналитической остроты. И поэтому — много имен и нет живого человека с его типическими особенностями. Невнимательность тов. Бабушкина к своим персонажам доходит до того, что маленький

Витя ничего детского, любопытного не обнаруживает. — Попав в новую для него обстановку, он начинает сразу пользоваться рабочей терминологией, как заправский мастер. — Котел, шлак, заклепки, шерманки (переносное горно) для него такие же мертвые, лишенные образности, слова, как для состарившегося в мастерской рабочего. Завершает список недостатков повести — матершина. Ругаются в «Репьях» все без исключения, по всякому поводу и во всяком положении. И как ни старается автор этой педалью усилить выразительность произведения, «Репья» остаются бледной и бесталанной вещью.

Неудачна и повесть «На островке» — повесть о том, как на случайную зимовку попал волжский буксирный пароход в глухое село Усовку. — Здесь и князь безумный, и дочь его распутная, целый выводок мечтательных контр-революционеров и «первобытных» пильняковских мужиков. В этом темном царстве единственный светлый луч — коммунистка Нюра, приехавшая на партийную работу. Вначале девушке приходилось туго:

...«Нюрочка, засучив рукава, вцепилась в жирные тугие внутренности мужиков и теребила их.

Раскачивался мужик, зверем медвежьим заревел, покой его нарушили сонный»...

Но потом дела пошли лучше... И вдруг, именно вдруг возникла образцовая комячейка, растаяли, как дым, контр-революционные настроения, прозрели мужики и над дремотной глушью восторжествовала коммунистка Нюра, постную святость которой Бабушкин оскоромил на протяжении всей повести единственным любовным свиданием с пароходным рабочим Владимиром. Идеологическое наполнение не спасло повести, написанной отчасти в стиле «братишка», отчасти в стиле «художественных» изысков, образцом которых является приведенный красноречивый отрывок. Лучше вещей Бабушкина рассказ Колоса «Али-Ахмет», тоже стоящий, впрочем, вне сколько-нибудь занимательных явлений литературы. Рассказ отдает шаблоном партизанщины и ничего нового к этой полосе гражданской войны, освещенной Вс. Ивановым и другими, не прибавляет. Несколько живописных красок Востока, вкрапленных в рассказ фигурой бесстрашного татарина и его семьи, оживляет картину. Если автор более внимательно и строго будет работать над языком, он сумеет, вероятно, дать в дальнейшем и более ценные произведения.

Как скромное обещание могут быть приняты и четыре главы из романа Андриевского «В переплете», тоже из эпохи гражданской войны.

Обойдя молчанием наивную и не выразительную по форме поэму Амелина «На смену павшему», придется констатировать, что наиболее значительной вещью сборника является повесть А. Гольдберга «Бум-компания». Автор отлично знает еврейский быт и четко, властно, как настоящий художник, оформляет его метким, упругим словом. Одно то, что он не поддался соблазну работать «под Бабеля», заслуживает похвалы. Рядом с типичными фигурами евреев хорошо показаны немцы, в период оккупации юга России. Сюжетно запутав свою работу, очевидно для занимательности, Гольдберг от сочных бытовых зарисовок перешел к неоправданной авантюрности и этим попортил повесть. Но ссадина лбу упавшего ребенка не помеха для дальнейшего его роста.

Федор Жиц.

Борис Губер. Шарашкина контора. Рассказы. Изд. «Земля и Фабрика». 1926 г. 198 стр.

Зная Губера, как автора зрелой вещи «Новое и Жеребцы», напечатанной в последнем альманахе «Перевала», нельзя отнестись к его дебютной книге без некоторой доли «историзма». — В «Шарашкиной конторе» перед нами не законченный мастер, а лишь подмастерье, правда, с хорошими задатками. Автор — усердный ученик Бунина. От своего мэтра он взял любовное отношение к слову, графическую медлительность в описаниях деталей, холодок созерцательного и несколько жесткого живописца, но он не овладел пока бунинской планировкой вещи, четкой скупостью композиции, умением увязывать части произведения в единый целостный организм. Желание сказать сразу слишком много, стремление в одну стра-

ницу вложить всю свою несомненную наблюдательность приводит Губера часто к тому, что он забывает мудрое чеховское правило: если в первом действии на стене висит ружье, в последнем оно обязательно должно выстрелить. Детали, боковые мотивы заслоняют у него нередко основную сюжетную линию, разрыхляют ее действенность и, таким образом, вместо акомпанимента превращаются в глушителя центрального задания автора или, просто-на-просто, фашистски узурпируют права сольной партии.

Самая значительная вещь сборника — «Шарашкина контора». В ней на первом плане — трагедия женщины, физически обобранной, смятой и брошенной грубым мужем, — кулаком-скотопромышленником, бессердечным плутом и эксплоататором деревенской бедноты. Такова цель автора. Но она рассосалась в целом ряде отличных жанровых картин. С художественной выпуклостью сделана сценка рождественского катанья, отлично описана ярмарка в Веселой, метко обрисован наполненный дешевой безвкусицей дом Миши Конского, безжалостно вобравший в себя молодость и нежную неопытность Зины. Человек же остался в тумане, жизнь Зины до конца не выявлена, не показана. Эпизод с попыткою изнасилования Зины, когда она гнала с работником стадо в Москву, и неожиданно наскочившим мужем на эту омерзительную сцену, неряшливо газетен, слащава и не мотивирована связь Зины с ничтожеством Птичкиным. Вероятно, потому случились эти провалы, что в первой своей книге Губер больше пейзажист и жанрист, чем портретист. — Фон к человеку живее и ярче самого человека. Чрезмерная детализация в описаниях о б с т а н о в к и давит, затирает его персонажей.

Значителен, с теми же достоинствами и недостатками, что и в «Шарашкиной конторе», — «Совхоз Кривякино». В этой вещи автору удалось показать разоренное дворянское гнездо и подымающиеся ростки нового, деревенского быта. Запоминается тихо и скорбно дотлевающий в усадьбе помещик Федор Андреевич, убедителен в своей жизнерадостности «зеленый шум» новой жизни.

Не задевает «Зачатие» — рассказ о сельско-хозяйственной выставке, устроенной в уездном городке, но коробит концовка с нужником. Кому нужен этот «эффект», дорогой Губер?!

Рассыпчат и тускл «Космолист». Отдельные удачные моменты никакого отношения к «рабкоровской» трагедии Леньки не имеют. В заключение необходимо сказать, что настоящую рецензию можно было бы написать значительно «добрее», если в лице Губера я не видел бы человека, на которого можно возлагать хорошие надежды, как на подлинного художника.

Федор Жиц.

А. Бибик. К ш и р о к о й д о р о г е. Роман. Изд. 5-е. «Новая Москва». 1926 г. Тир. 5.000. Стр. 360.

Бибик — старый пролетарский писатель не в метафизическом, а в прямом смысле этого слова. Юность в мастерской, подпольная работа в рабочей среде, тюрьма и ссылка — все это дало ему материал для хорошего автобиографического романа. Бибик — писатель одной книги: в свой роман «К широкой дороге» он вложил все свое внутреннее содержание; все то, что он писал до и после него, мало что прибавляет к облику Бибика, как художника и общественника.

Принадлежность к интеллектуальной рабочей верхушке усложнила и драматизировала его отношения с рядовой рабочей массой, но не могла лишить писателя большой любви к ней и прекрасного знания рабочей среды, отразившегося и в рецензируемой книге. Среда эта навсегда осталась единственной, органической родной Бибику-художнику средой. При попытке изображения жизни другого мира («На черной полосе») он потерпел неудачу. Действие «К широкой дороге» развертывается между началом 90-х и 1905-м годом, на крупном заводе южного города.

На фоне постепенного роста рабочего движения, завершившегося наконец 1905-м годом, дана история Игната из Новоселовки — рабочего-интеллигента. Развитый интеллект, обостренное чувство личности, постоянно оскорбляемое фабрикой и семьей, очень быстро приводит Игната к революционной работе. Хорошо

и правдиво изображен Бибиком душевный рост рабочего подростка, сложные переживания Игната, внутренний разлад в нем. Игната волнуют вопросы личной и общественной этики, мысли об отношении человека к природе, о неумолимости ее законов, о дальнейших путях рабочего движения, о том, что сделает рабочий класс после победы и «на чем будет гореть его вера» в случае поражения. Он постоянно колеблется между любовью к товарищам и ужасом пред косностью и пред «копотью» их жизни. Все эти вопросы и сомнения, несомненно, волновали в то время и всю рабочую интеллигенцию.

В романе нет ни тенденциозности, ни идеализации, но в нем прекрасно изображены все оттенки рабочей среды. Нарисованы Бибиком здесь и фигуры отдельных старых рабочих, вроде Журбы, примкнувших к революции, и фабричных карьеристов, и незаурядных революционеров, вроде Артема, которые, пройдя через школу эмиграции и нелегальщины, разочаровываются в борьбе, в рабочем классе, в целом мире, и кончают самоубийством.

«Звериные тропы» кропотливой работы после мучительного пути приводят к «широкой дороге» массового движения. На этом кончается роман. Весь роман проникнут лиризмом, даже публицистический диалог не кажется скучным в нем, так как за этим диалогом всегда чувствуется биение тревожных исканий.

Бибик любит природу и часто рисует ее. Пейзаж его всегда психологичен и эмоционален, хотя своих слов и красок для изображения природы у Бибика нет; хороши и живо сделаны в романе жанровые сценки малороссийской жизни.

Содержательность, искренний, серьезный тон и литературные достоинства справедливо сделали роман одной из самых популярных книг подобного типа.

М. Полякова.

Русские и мировые классики. Под редакцией А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова. **Н. С. Лесков.** Избранные рассказы. Редакция Л. П. Гроссмана. ГИЗ. М.—Л. 1926. Тираж 7.000. Стр. 241.

План задуманной Госиздатом широкой библиотеки мировых: русских, западноевропейских и античных классиков следует, конечно, всемерно одобрить. Потребность в выдержанном, критическом издании лучших произведений мировой художественной литературы, несомненно, весьма значительна. Привлечение к работе по изданию этих классиков лучших русских литературоведов заранее гарантирует большую ценность и значительный, успех этого в высшей степени полезного начинания.

И действительно, уже первые выпуски этой серии, в частности сборник рассказов Лескова, показывают, что серия сможет успешно выполнить свою задачу серьезного и настоящего ознакомления нашего нового читателя с шедеврами мировой литературы. Следует очень приветствовать, что редакция серии сочла нужным посвятить особый выпуск произведениям Лескова. И доселе этот писатель в широких читательских кругах либо совершенно неизвестен, либо пользуется весьма и весьма незавидной репутацией третьестепенного сочинителя сугубо-реакционных романов. Эта традиционная квалификация нуждается в изменении и дополнении. Лесков — автор реакционных романов — далеко еще не весь Лесков, и не в них главная сущность его творчества.

Творчество Лескова чрезвычайно своеобразно и во многих отношениях очень небезынтересно. Основной социальной почвой, на коей вырастало творчество Лескова, является российская патриархальная провинция, главным образом, патриархальное мещанство и купечество. Такие произведения Лескова, как «Полунощники», «Воительница», «Зимний день кухарки» и некоторые другие, дают богатый материал по изучению патриархально-мещанской психологии и фольклора «приживальщиков». Такие произведения, как «Чёртогон», «Расточитель», «Леди Макбет Мценского уезда», «Котин доилец и Платонида», дают очень много характерного из быта и психологии российского патриархального купечества. Такова вторая сторона творчества Лескова. Однако и ею оно далеко не исчерпывается. Кроме этих вещей, имеющих все же чисто историческое значение, у Лескова имеется немалое количество страниц, в коих он очень близок нашей эпохе, кои представляют и

в настоящее время живой интерес для широкой читательской массы.

Лесков сумел выйти за пределы отображения не только консервативных тенденций того времени, но он далеко не был замкнут и в круг изображения мещанско-купеческого быта и фольклора. Как и большинство идеологов мещанства, Лесков, на-ряду с политическим консерватизмом, был в социальном отношении весьма демократичен, временами он мог быть весьма чутким и близким настроениям самых широких классовых слоев тогдашнего общества. Не принадлежа к дворянско-помещичьему классу, Лесков умел тонко подмечать отрицательные черточки дворянско-помещичьей Руси. Вот почему, как совершенно справедливо подчеркивает редактор рецензируемого сборника Л. П. Гроссман, — «мы находим у этого «реакционера» и сочувственные зарисовки передовых деятелей его поколения, и восторженное описание героических борцов за независимость, и, в частности, зачерченный с глубокой симпатией образ Герцена, и живой интерес к тогдашнему пролетариату, и, наконец, органическое влечение к крестьянству. Жуткие рассказы о крепостной охоте, о трагическом «житии одной бабы», о бесчеловечности воинских присутствий николаевской эпохи, о жестокой системе крестьянских переселений — сохраняют все значение и для современного читателя». С этим замечанием Л. П. Гроссмана нельзя не согласиться, тем более что произведения этого рода, в противоположность формально-слабым реакционным романам, с внешне-формальной стороны, являются высоко-художественными.

Настоящий сборник и посвящен произведениям этой категории. В него включены: «Продукт природы», «Зверь», «Тупейный художник», «Человек на часах», «Левша», «Чужой человек». Кроме того, приложены три публицистические статьи: «Последняя встреча и разлука с Шевченко», «О рабочем классе», «О наемной зависимости». Особенно надо рекомендовать «Тупейного художника» — это превосходное повествование о трагической судьбе русских крепостных актеров. Публицистические статьи очень ценны для изучения идеологии патриархальных мещански-буржуазных слоев, в частности, статьи Лескова помогут во многом отчетливее уяснить идеологию так называемого «почвенничества», с коим он имеет так много общего, недаром к Лескову был так внимателен глава «почвенников» Ап. Григорьев.

Комментированы рассказы очень тщательно. Помимо вступительной статьи редактора, — «Лесков - писатель», приложены: «автобиография Лескова», «биографические даты», биографическая справка Венгерова из «Нового Энциклопедического Словаря», «примечания к отдельным произведениям» и, наконец, дана библиография Лескова.

В заключение вновь подчеркнем, что любители русской литературы получили очень приятную книжку.

Арк. Глаголев.

Поэтика. Временник Словесного Отдела Гос. Института Истории Искусств, I. Изд. «Academia». *Ленинград* 1926 г. 162 стр.

Временник Г. И. И. И. предназначен для «статей программного и реферативного характера, представляющих изложение результатов, достигнутых авторами в своих работах». Тем больше ответственности берут на себя его участники, долженствующие дать представление о «различных сторонах исследовательской работы Отдела», превращенного в 1921 году в Слов. Разряд Науч.-Иссл. Ин-та. — Из всех статей наиболее программным и ответственным характером отличается статья пр. Б. Казанского — «Идея исторической поэтики». Если официальные вожди ленинградской школы «формалистов» предпочитают, как известно, уклоняться от формулирования своих научно-философских предпосылок, то ученый секретарь Слов. Разряда Б. Казанский впервые, если не ошибаемся, попытался подвести научный фундамент для «единственной всеобъемлющей, универсальной поэтики формального метода». Это придает его статье [1]), составленной в чисто академическом духе, актуальный, почти боевой характер и заставляет рецензента уделять ей больше всего внимания. — Как же решается столь сложная и ответственная задача? — Идея исто-

[1]) Актовая речь, произнесенная в 1925 г. в открытом заседании Института.

рической поэтики, возобладавшая в научном сознании В. Шерера и А. Н. Веселовского, как протест или даже восстание «против спекулятивной, философской, догматической теории», сохранила для нас, по словам автора, лишь центральную линию первоначального движения — «специфичность, системность и эволюционность». — Наступила пора осознать и другие тенденции этого движения: эмпиризм, функциональность, генетизм». В этих забытых тенденциях автор вполне справедливо усматривает связь «с наступлением нового, позитивного, и конце концов — материалистического научного сознания». Казалось бы, очередная задача — осознать эти забытые тенденции исторической поэтики, как материалистические. Не даром же они так часто уводили В-ского из пределов чисто литературной имманентной эволюции «в психо-физическую основу, социально-историческую среду и т. д.». Но осознать материализм и социологизм великого ученого — это было бы почти что равносильно тому, чтобы стать на точку зрения... социологического метода в поэтике. Поэтому наш уважаемый автор стремится всячески обезвредить эти опасные тенденции и истолковать их в духе, несравненно более популярного среди «формалистов» метода так называемой «слуховой филологии» проф. Сиверса, известного создателя в Германии «поэтики чувственных качеств слова». Согласно с учением проф. Сиверса, современная поэзия «просто переводится» автором в «категорию устной словесности», а так называемая «устная народная словесность» квалифицируется, как поэзия литературная. — Поэтому, стремясь обезвредить вышеупомянутые тенденции исторической поэтики и приспособить их к модной теперь «поэтике звучащей речи и восприятия», автор строит для этого такого рода силлогизм. Прежде всего выдвигается, как основное, то положение, что единственным материалом для исторической поэтики может служить исключительно так называемая «народная словесность», и то лишь постольку, поскольку «биографическая, генетическая и хронологическая квалификация» здесь пока еще невозможна. Наоборот, как только выясняется личность автора «безымянного» произведения и «состав народной словесности может быть квалифицирован как литературный или возведен к литературному оригиналу», этот материал из распоряжения «историч. поэтики» неизбежно должен войти в «систему всеобщей истории литературы», наряду с произведениями заведомо личного творчества. — Второе основное положение автора заключается в том, что «народная словесность» в действительности менее «народная», чем литературная поэзия, напр., Лермонтова или Блока, и что поэтому основная (!) задача «исторической поэтики» — выяснение личности автора произведения «народной» поэзии и «отправление его по этапу на место первоначального жительства», т.-е. в систему всеобщей истории литературы. Из этих двух основных посылок делается тот вывод, что историческая поэтика, как особая самостоятельная наука, существовать не может и единственная ее роль — служить «сортировочным, распределительным пунктом при Главн. Управлении Поэзией». — Но такого рода ничем не обоснованное решение вопроса способно вызвать самые серьезные недоумения и горячие возражения. Можно было бы еще, пожалуй, допустить логическую последовательность такого построения, если бы основные посылки его были хоть сколько-нибудь доказаны. Автор же принял за аксиомы такие положения, которые едва ли не являются парадоксами и во всяком случае еще нуждаются в веских доводах.— В самом деле, по твердому убеждению пр. Казанского, стремление А. Н. В-ского изучать литературные факты независимо от личности поэта-художника мыслимо исключительно в пределах так называемой «безымянной устной народной поэзии», каковая и может быть поэтому единственным предметом исторической поэтики. Но если В-скому действительно всего лучше удалось разработать именно примитивную и так называемую народную поэзию, то такое случайное явление еще отнюдь не означает, что она-то и составляет единственный предмет историч. поэтики. Помимо того, имеются документальные данные, что ее основоположник не придавал этому факту никакого принципиального, а тем более решающего значения. — Наконец, нашему

автору не может не быть известным, что как раз главное отличие, напр., того же социологического метода в литературоведении в том и заключается, что его представители стремятся так же, как в свое время непонятый основатель исторической поэтики, — изучать независимо от биографической квалификации автора — не только так называемую «безымянную» поэзию, но и **всякое произведение** художественной литературы. Поэтому нет решительно никаких оснований считать историч. поэтику лишь «сортировочным, распределительным пунктом при Главн. Управлении Поэзией», а единственным ее предметом — «устную народную словесность». Самая мысль — подобным «отводом» историч. поэтики, как самостоятельной науки, превратить теоретич. поэтику «синкретического слова» — «единственную, универсальную, всеобщую» — в своего рода «Главн. Управление Поэзией» — есть мысль в высшей степени опасная. Ее последовательное методологическое применение вернуло бы нас к теоретической поэтике печальной известности немецкого проф. Готтшеда (1700--1766 г.г.), искренно верившего в возможность построения такой поэтики, при помощи которой можно было бы «создавать» поэтов и «управлять» Поэзией... — Несравненно менее принципиальный характер носят остальные статьи сб-ка: В. Виноградов — Проблема сказа в стилистике; С. Бернштейн — Звучащая худ. речь и ее изучение; А. Астахова — Из истории и реплики Хорея; Г. Гуковский — О сумароковской трагедии; Лидия Виндт — Басня сумароковской школы; Р. Томашевская — К вопросу о французской традиции в русской эпиграмме; Ю. Тынянов — Пушкин и Тютчев; Н. Колпакова — Неизданный Фет; С. Балухатый — Этюды по истории текста и композиции чеховск. пьес. — Тесные рамки рецензии не дают возможности остановиться на них хотя бы бегло. — В статье В. Виноградова трактуется в духе специальных изучений Bracher'a, Os. Walzel'я, K. Friedemann'a, Goldstein'a и др. вопрос о роли рассказчика в технике худ.-лит. творчества. Самое понятие «сказа» строится не на «слуховой филологии», а на почве филологии «синкретической». В конце концов, автор приходит к выводу, что «новая структура объективно-данной художественной речи, сохраняющей сияние творческой индивидуальности и воплощающей нормы общего языка, возникнет, когда пройдет нынешняя эпоха литературного «шандеизма». — Любопытную сторону исследовательской работы Отдела отражает ст. С. Бернштейна, в которой экспериментально решается проблема «звучащей худ. речи». Конечная цель подобной экспериментальной работы, по словам автора, — из описания лучших образцов художественной речи создать «нормативную теорию — теорию декламации и теорию ораторской речи». Из остальных статей заслуживает особого внимания ст. Ю. Тынянова. — В сборнике читатель найдет и подробный отчет о научн. деят. Слов. Отдела Г. И. И. И. — В общем «Временник» показывает, что ленинградцы лучше умеют научно сорганизоваться, нежели московские литературоведы, которые добрую долю своей творческой энергии расходуют на литературные распри и методологические дискуссии.

Якобсон.

П. Виноградская. Фердинанд Лассаль. Гиз. 1926. Стр. 249. Тираж 5.000.

Лассалю и лассальянству до сего времени в русской литературе было отведено очень небольшое место. Правда, в наши годы кое-что сделано в смысле восстановления литературного наследства Лассаля, а в связи с 100-летним юбилеем его рождения появились несколько работ, посвященных ему (наприм., книжка т. Заславского). Но этого все же мало. Лассаль и лассальянство еще нуждаются в детальнейшем изучении. Это необходимо потому, что германская социал-демократия наших дней провозглашает его имя и созданное им политическое течение своим знаменем, под которым она намерена продолжать свой современный политический путь. Социал-либералы из германской социал-демократической партии одевают Лассаля в ярко-красные социалистические одежды, творят вокруг него легенды и превозносят его до небес, как великого революционера, творца социалистической мысли на германской почве, патриота и прозорливого политика.

Тов. Виноградская ставит своей задачей на основании «исторически объективного изложения всех относящихся к деятельности и биографии Лассаля фактов» выяснить, с точки зрения революционного марксизма и ленинизма, роль и значение его. Несмотря на то, что рецензируемая книга является, по заявлению автора, только конспективным изложением основных моментов большой книги о Лассале, подготовляемой ею к печати, т. Виноградская свою задачу безусловно выполнила. Перед нами предстает во всей своей полноте не только жизненный путь Лассаля, полный всяких искривлений и зигзагов; Лассаль отображен широкими критическими мазками, как экономист, как философ и социолог, наконец, как политик, тактик и организатор партии.

«Каков бы ни был Лассаль в отношении личном, литературном, научном, как политик он, несомненно, был одной из самых значительных личностей в Германии», — писал Маркс Энгельсу спустя несколько дней после смерти Лассаля (4/IX—1864 г.). Действительно, нельзя отнять у Лассаля пальму первенства, как крупнейшего политика того времени. Ему также должно быть отведено почетное место и в истории германского рабочего движения, как одному из блестящих организаторов последнего. Только сочетание этих двух талантов — политического и организаторского — при лассалевской экспрессивности позволили ему с большим успехом завершить борьбу с мелко-буржуазной стихией, овладевшей германским рабочим движением, на первых ступенях его развития. В этом, собственно говоря, и заключается основная историческая заслуга Лассаля.

Было бы, однако, ошибочным эту заслугу, как и некоторые другие положительные черты Лассаля, отмечаемые автором, возводить в какую-то степень. При всей его близости к рабочему классу, при всей «героичности» его фигуры, он был от него далек, он не был связан с рабочим классом органически. «Лассаль был одним из тех вождей, которые не умеют жить с массой, прислушиваться к ней, опускаться до нее, чтобы поднимать ее до себя. Это, — правильно замечает автор, — умел делать Маркс, войдя в практическое движение; великим мастером этого был Ленин. Лассаль же смотрел всегда на массы сверху вниз, считая, что он осчастливил их, взявши их дело в свои руки» (123). На примере процесса графини Гацфельд, которому он отдал 8 лет своей жизни, на факте его чрезвычайно двусмысленной политической игры с Бисмарком, на ряде других примеров можно убедиться в безусловной верности этого положения. «Отсутствие у него революционного критерия, умения отличать личное от общественного, частное от общего, мелкое от крупного и, наконец, его неразборчивость в средствах при достижении своих целей приводили к тому, что он часто концентрировал свою могучую энергию на совсем незначительных делах» (59). Понятно, что, при таких обстоятельствах, Лассаль временами впадал в чрезвычайно большое противоречие с основными принципами рабочего класса; больше того: его политика в таких случаях становилась для пролетариата определенно вредной (например, его выступление в Ронсдорфе и призыв к рабочим откликнуться на «ласковые обещания» прусского короля, при чем неверие в эти обещания он склонен был считать «оскорблением его величества» (стр. 127). И Маркс и Энгельс неоднократно подчеркивали это (в особенности они осудили шовинистическую прусскую точку зрения Лассаля, изложенную им в брошюре «Итальянская война и задачи Пруссии») не только во взаимной переписке, но и в личных письмах Лассалю.

Лассаль как экономист «остался на полпути от английских классиков к Марксу, не обнаружив к тому же ни достаточного терпения к изучению экономических вопросов, ни большой склонности к абстрактно-аналитическому методу исследования». В результате этого, по правильному указанию автора главы «Лассаль как экономист» (133—150) т. Преображенского, взгляды Лассаля в области теоретической экономии являют собой «эклектическую смесь положений английской классической экономии с некоторыми основными моментами марксовой политической экономии, плюс все то, что вызывалось требованиями популяризации и пропаганды» (150). Точно так же в области философии и в области социо-

логии он «застрял в идеологической философской концепции Гегеля» (151), оставшись до конца своих дней «на фихтевско-гегелевской ступени идеалистического понимания истории» (247).

Таков Лассаль без всех тех облачений, которые на него старательно напяливают современные германские социал-соглашатели. Такова же и сущность лассальянства, впитавшего как губка все характерные черты своего вождя.

Нужно все же отметить два недочета в этой хорошей и чрезвычайно интересной работе. В своем марксистско-критическом анализе Лассаля и лассальянства т. Виноградская местами впадает в чрезвычайно резкий тон, в результате чего получается ограниченная и, подчас, искаженная трактовка отдельных исторических фактов и моментов, связанных с этой крупной исторической личностью (например, характеристика лассальянства, как «либо воспроизведение идеалистической идеологии эксплоататоров, либо эклектики» (стр. 248). Вторым недочетом мы считаем отсутствие сведенной воедино главки, которую мы бы назвали «Маркс и Лассаль» (об этом, кстати сказать, упоминает Энгельс в письме к Марксу от 23/I—1868 г., выдержку из которого т. Виноградская взяла эпиграфом к своей работе). В этой главке должны были быть собраны в одно целое все те многочисленные разногласия, резко отделявшие Маркса и Энгельса от Лассаля, о которых т. Виноградская часто упоминает в отдельных главах своей книги.

Однако эти недочеты не изменяют общее, безусловно научное значение рецензируемой книги. Тому, кто хочет понять сущность социал-соглашательства и корни современных извращений революционных основ марксизма, мы настоятельно рекомендуем работу т. Виноградской.

Издана рецензируемая книжка образцово.

И. Браславский.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Номер был уже закончен, когда получилось известие о смерти тов. Дзержинского. Некролог, посвященный его памяти, будет помещен в очередной сентябрьской книжке.

СОДЕРЖАНИЕ

От земли и городов

За рубежом

Литературные края

Критика и библиография

Объявления